

1990 № 2 (38)
ФЕВРАЛЬ

РОДНИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА



РОДНИК

«АВОТС» («РОДНИК») ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЛКСМ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС
(главный редактор)
ЯНИС АБОЛТИНЬШ
ВИЛНИС БИРИНЬШ
(ответственный секретарь)
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС
ГУНТАРС ГОДИНЬШ
(редактор отдела)
МАРИС ГРИНБЛАТС
ЭДВИНС ИНКЕНС
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ
(заместитель главного редактора)
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
ПЕТЕРИС КРИЛОВС
ЮРИС КРОНБЕРГС
АНДРЕЙ ЛЕВКИН
(редактор отдела)
ЯНИС ПЕТЕРС
БАЙБА СТАШАНЕ
АДОЛЬФ ШАПИРО
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЦОВА
ЛАЙМА ЖИХАРЕ
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА
НОРМУНДС НАУМАНИС
ЭВА РУБЕНЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

КОРРЕКТОР

ЛИДИЯ БИРЮКОВА

ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

САРМИТЕ МАЛИНЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

ЛИТЕРАТУРА

Айварс Тарвидс. «Нарушитель границы» (1)
Евгений Федорович Сабуров. Стихи (8)
Айварс Клявис. «Я зову — отзовитесь!» (10)
Тимур Кибиров.
«Жизнь К. У. Черненко» (18)
Дж. Д. Сэлинджер.
«Знакомая девчонка» (21)
Олег Дарк.
«Подполье Юрия Мамлеева» (27)
Юрий Мамлеев. Рассказы (28)

КУЛЬТУРА

Хелена Демакова. «Интерференции, или В городе искусств, окруженном Востоком» (32)
Георгий Михайлов.
Фрагменты дневника (42)
Андрей Левкин. «Дневное размышление о величии ночного света» (49)

ПУБЛИЦИСТИКА

Айварс Клявис.
Интервью с председателем
Народного фронта Дайнисом Ивансом (52)
Петерис Цимдиньш. «Экологический фатум или борьба за выживание» (56)
Виктор Франк. «Ленин и русская интеллигенция» (60)
Михаил Глобачев.
«Горе наше сексуальное» (64)

ЛИТЕРАТУРА

Петр Белкин. «Выстрел» (71)
Борис Дышленко. Из цикла «Жернов и общественные процессы» (75)
Вадим Лурье.
«Анекдоты о поручике Ржевском» (80)

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС см. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

АЙВАРС ТАРВИДС

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ

РОМАН

... они заполнили весь огромный Дом офицеров. Медики идут и идут. Вот старшие коллеги, выдавшие лучшие времена. Об этом свидетельствуют осанка и украшения мирного времени. Как знать, кое у кого из этих седых господ на полке, может быть, еще хранится корпорантская фуражка. Следующая поросль, только что дослужившиеся до пенсии. Они сидели в холодных послевоенных аудиториях, цитировали Иосифа Виссарионовича и по утрам на лекциях замечали, что ряды студентов опять прорежены, как свекольные полосы на полях только что созданных колхозов. И, наконец, основная масса врачей, родившихся и жаждущих умереть при социализме. А настоящих украшений мало, бросаются в глаза приколотые к одежде национальные флажки. Медики идут и идут, они хотят восстановить свое общество, и энтузиастов в вестибюле встречает бодрый генеральный секретарь на портрете. Вереницей висят картинки со всеми предшественниками на этой должности. Рангом ниже выстроились лица маршалов и генералов. А врачи нескончаемой процессией, приветствуя знакомых, кланяясь и пожимая руки, движутся по извилистой лестнице в актовъ зал. Он оказывается переполненным, как трамвай, коллеги наступают друг другу на ноги, завидуют сидящим впереди, тянут головы в сторону президиума и стараются расслышать сказанное оратором, потому что, оказывается, микрофоны работают еле-еле, и до последних рядов доходят лишь обрывки слов и призывов. Арнольд сидел в сторонке и высматривал в толпе знакомые лица. А люди были самые разные. Профессия, так же как национальность, объединяла не по подобию. Здесь сидели жизнью, обстоятельствами и эпохой битые и гнутые, сломанные и прирученные люди, которые, платя взносы в одном профсоюзе, прошли общую школу коммунизма. Тем временем на трибуне менялись ораторы, звучали речи о правах, престиже и обязанностях врачей. Об этом должно позаботиться Общество врачей Латвии!.. И по залу прокатились аплодисменты. Перестройка, партконференции, решения и место медицины!.. Опять потные ладони ищут друг дружку. Диктат министерства, бюрократические инструкции, жалкая зависимость рядового врача!.. Тут в стенограмме следовало бы записать: аплодисменты переходят в овацию. Необходимость установления прямых контактов с зарубежными центрами, обмена опытом и стажерами!.. Еще раз аплодисменты, потому что все как один хотят обменяться куда-нибудь подальше, где двадцатый век не только на листке календаря.

Арнольд хлопал со всеми, и в очередной раз, находясь вместе с сотнями других людей, переживая почти иррациональные недоумения, он весьма четко понимал, что, к сожалению, не может назвать себя титаном духа, который в могучем полете мысли обгоняет свою мелкую, убогую эпоху и постигает истинную свободу души где-то за обманчивой линией будущего на самом краю прогресса. Так почему же эти кружева речей кажутся ему в лучшем

случае наивными? Неужто он умнее сотен людей, с взволнованными лицами собравшихся создавать, менять, добиваться? Возможно, что он, Арнольд, спятил с ума, давно запрятался в подогреваемую собственным воображением манию величия. Почему повторяется ситуация, когда человеческая масса испытывает сладострастную тоску, а он в одиночестве и про себя лишь улыбается над происходящим. Может быть, он просто испорченный человек, который во всем видит корыстный интерес? И в этом зале, где среди сидящих немало тех, кто жаждет получить должность, почести, командировку, мужа, любовника, просто убить частичку жизни в глупой и бессмысленной болтовне и суете... Арнольд развалился в кресле. Оратор на трибуне напомнил, что общество будет интернациональным, объединит медиков всех национальностей. Слова, правильные слова, которые можно напечатать в газете, и большинство согласится, бумага ведь все терпит, только интонацию не добавишь к типографской краске, вот, она лезет в уши, немного виноватая или заискивающая. Произнося правильные слова, говорящий, кажется, считается с вездесущим чутким ухом, непосредственно связанным с карающей рукой. Иначе зачем извиняться за написанную в паспорте национальность и родной язык, звуки которого медленно поднимаются к потолку Дома офицеров? В финале дебатов собрание рассматривало устав общества, а Арнольд чуть ли не десятый раз читал красный транспарант над сценой, который скорее всего намалевал какой-нибудь солдатик, устроившийся во время службы на настоящую синектуру. Призыв обещал всяческие блага и приглашал выполнять решения съезда. Микрофоны усиливали слова о милосердии и чуткости. Смешно, подумал Арнольд, относить это как к жирному восклицательному знаку в хвосте транспаранта, так и к пафосу, рвавшемуся в микрофон вместе со слюной и эмоциями оратора. Арнольд встал и стал пробираться в сторону дверей через битком набитый проход. Чтобы выбраться, извиняющегося шепота было мало, пришлось пустить в ход локти, те самые локти, значение которых в странах капитала нельзя переоценивать.

Выбор соков в буфете Дома офицеров был широк, как в валютном баре. Арнольд тянул прохладный напиток и смотрел, как свет люстр разливается по могучей груди официантки, мелькает в стаканах и на хромированном кофейном автомате. Посетителей было маловато, надо полагать, что торчать в буфете во время страстных дискуссий в зале означало нанести ущерб репутации и порядочности участников. По помещению шастала бабенка в грязном халате и протирала тряпкой столешницы. Арнольд отодвинул стакан в сторону, прямо перед его глазами тряпка прошлась по пластмассе, оставляя капли воды и запах, характерный для солдатской харчевни. А Роберт выглядел благородно и демократично, совсем как политик новой волны на экране СВС. Он вертелся около прилавка, и от удовольствия лицо коллеги пылало, как калорифер. Арнольд постарался отвести глаза и стал разглядывать вымазанную масляной краской каменную колонку, потому что вместе проведенное в Москве на курсах время могло вылиться в заумную беседу за стаканом сока.

(Продолжение. Нач. в № 8, 1989)

— Глянь, все доктора здесь! — произнес Роберт, ставя кофейную чашку. — Интересно, кто-нибудь в больницах остался работать?

— Надо было снять зал побольше! — Арнольд отпил глоток.

— Денег не было...

— Ты начал согреть местечко в президиуме... Что это значит, денег нет? Голодранцы с красным крестом и полумесяцем. Любой бы заранее записался и отвалил по десятке. Сообща и Домский собор снять можно.

— И снимем! Это только начало. Такой наплыв людей! Ты проект устава получил?

— Получил, — соврал Арнольд. За свою жизнь он достаточно настоялся в очередях, чтобы еще раз попытаться удовлетворить далеко не жгучий интерес.

— Хороший кофе, — Роберт размешивал горячий напиток. — Ты работу подыскал?

— Нет! — ответ был и резким, и равнодушным. В этом городе у лупы зависти огромное увеличение, и у неудачника нет никаких шансов спрятаться.

— Приходи работать!

— Ого...

— У нас, в республиканской, организуется кооператив. Специалисты со всей Риги будут подрабатывать. Хватит крохоборствовать!

И Роберт стал рассказывать, как готовится заговор против предлагаемого правительством врачевания. Арнольд прислушивался к звукам его звонкого голоса и чувствовал, что Роберт не избавился от хорошесть, как, наверное, так и не залечил хронический панкреатит. В Москве у него тоже был приступ, но в памяти Арнольда сохранилось другое. Субботний вечер, по коридорам общежития кочевал голос русской женщины, распевавшей шлягер, душевые не работали, в соседней комнате организовывалась выпивка, а Роберт явился замерзший и насквозь промокший. Он стягивал грязные туфли и радовался, что всегда носит с собой паспорт. В тот день несколько слушателей курсов отправились на Красную площадь. Товарищи жаждали посетить святое для каждого советского человека место. Думал, все равно делать нечего, постою тоже эти несколько часов, говорил Роберт, укладываясь в постель. Подменявая друг друга, они с товарищами топтались в длинной очереди к Мавзолею. Хватило времени и сбегать в ближайший универмаг на другой стороне площади, там Роберту посчастливилось купить парочку флаконов западногерманского шампуня. По два в одни руки давали, рассказывал гость Москвы. Тем временем очередь дотопталась до караула у входа, теперь можно было глядеть, как струйки дождя текут по полированному граниту и накапливаются в хвое серебристых елок. Но коллеги, расспросив про покупку, пожелали посмотреть на шампунь. Руку в карман, флакон наружу, пробку долой — и дегустация началась! А экскурсия кончилась, потому что рядом на мостовой возникли две темные фигуры, строго приказавшие отойти в сторонку и тоже жаждавшие нюхать западногерманскую парфюмерию. Понохав и проверив документы, товарищи отпустили их на все четыре стороны. Только в очередь не разрешили вернуться. А коллеги, пронося зонтики вдоль собора Василия Блаженного, хмуρο взирали на Роберта, как будто он им навязывался со своим дефицитом.

— Что скажешь? — Роберт был настойчив.

— М-да, общество цивилизованных кооператоров. Политическое завещание Ленина... Помнишь, как ты Мавзолеем взрывал? — спросил Арнольд.

— А, на курсах!.. Как нас еще по военной медицине гоняли...

— Сегодня все могли бы промаршировать сюда в форме. В этом доме погоны в почете, буфетчица бы посмотрела как на людей... Не понимаю, как я в таком кооперативе буду работать! Аборт можно делать на кухне, импотенцию лечить в красном уголке, но я ведь как-никак хирург. Мне на квартире операционную устроить, или, может быть, правительство выделило вам какой-нибудь подвал?

— Пока будешь консультировать. Со временем... мы будем использовать больничные лаборатории, рентген, компьютер...

— Слушаю и диву даюсь. За компьютер заплачено несколько миллионов. Притом долларов. Вы используете государственное оборудование и без зазрения совести дерете бешеные деньги. Колоссально!

— Весь фокус в том, что государство не в состоянии загрузить аппаратуру. Сам прекрасно это знаешь. Остается пустое время, тогда и будем трудиться. Это возможность. Начнем наконец-то уважать себя.

— Идиотское государство. Лучше бы зарплату людям платили. Значит, со временем я смогу оперировать по ночам? Меня это... не привлекает.

— Тебя? Арнольд, у тебя был большой карман. Любовь к деньгам — это ведь на всю жизнь.

— Верно. Только я продавал свои руки, а тебе остается только подороже распродать чужое добро.

— Не забывай про качество. Уровень! Человеку нужен индивидуальный подход, внимание.

— Да, теплая уборная и невредное правительство, — согласился Арнольд, которому очень нравился ананасный сок, — я вижу, ты на одном фронте с шашлычниками и брючниками. Нэпманы спасут страну. Говорят, в старые времена доктора сидели в балаганах на ярмарках. Они и цирюльники пускали кровь, резали чирья, могли вырвать зуб или кастрировать солиста хора мальчиков...

— Посмотри! — Роберт хлопнул дипломатом и вывалил на влажный стол кучку заграничных каталогов. — Мир! Если не завтра, то послезавтра мы обязательно это получим.

— Неужели? — Арнольд заглянул в проспект американского аппарата искусственного кровообращения. — Видишь, заказы нужно адресовать в штат Висконсини! Отбей телекс, и янки завтра отгрузят целый пароход. Буржуи как завидят рубль, так готовы собственную маму большевикам продать.

— С нами будут сотрудничать латыши за границей, у них большой интерес к нашим переменам, подлинное желание помочь.

— Да, американцы иногда строят по госпиталю в третьем мире, они это называют филантропией.

— На Западе так много чудесных латышских врачей! Если бы молодые начали возвращаться, мы многое бы сделали...

— Ты случайно не съел что-нибудь нехорошее?.. Очень хотел бы я посмотреть на вундеркинда, вернувшегося сюда работать в сортирных условиях, да вдобавок перед каждым говном... Мы здорово бы зажили, верно. У латышей есть достижения, есть капиталы. Пусть возвращаются, пусть помогают. Строители бы строили, инженеры изобретали, экономисты планировали, доктора лечили. Соотечественники бы подпирали, присылали картофель, туалетную бумагу, стиральный порошок, конфеты, водку. Мы взамен — язык, народные песенки и социализм... Сушая рождественская сказка. К чему твои каталоги, если в больницах не хватает ваты и спирта, нет самых элементарных лекарств, зато навалом мракобесия и стафилококк...

— Ты видел, что происходит в зале? Люди хотят изменить положение. Времена разговоров прошли. Надо приступать к делу, другой возможности у латышей больше не будет.

— Откуда у тебя это добро? Я смотрю, совсем свежие издания.

— Шустер привез.

— Кто?

— Мишка Шустер. Он вернулся весной, говорит, не смог там прижиться...

— Ну, дока! — удивленно воскликнул Арнольд. Как-никак отъезд клана Шустеров был почти легендарным. Этот род повез за границу полуслепую пуделя и семнадцать контейнеров с пожитками.

— Диплом он подтвердил?



- Да. Подтвердил.
- Глупость. Подтвердить трудно. Видимо, пришлось эту контрабанду везти назад в Союз.
- У Мишки в Москве связи.
- Детеныш не заикается?
- При чем тут ребенок Шустера?
- Если заикается, жиденку в школе плохо придется. Обрезанный да вдобавок заика... Дети безжалостны.
- После перерыва начнутся выборы.
- Будем делить портфель и заграничные командировки?
- Можно подумать, тебя сюда силком затянули.
- У любопытства и зависти большая сила. Общество врачей звучит гордо. У меня тоже были связи с москалями. Профессор Стефанович, светило, чуть ли не самому Бреж-

неву клизму ставил, на коллег смотрел, как на... неважно! Так вот, попал Ефим Самуилович в Штаты. Прижился. Имя. Практика. Результаты. Стандарт жизни. И в Американское общество врачей приняли профессора, а у них устав — действительно устав, наладите контакты, сами поймете.

— Выбился в лидеры?

— Попался Стефановичу один пациент. Насколько знаю, редкая патология кишечника. Консультировался у врачей пол-Америку. Стефанович тоже обследовал и сказал, как это он тысячу раз в Москве делал: чего эти — допустим, дураки — понимают!... Узнаешь родимую Русь? А в Америке эту болтовню, этот почти что рефлекс сочли нарушением этики. Мы-то гораздо терпеливее. Под этикой подразумеваем умение правильно ножик и вилку держать

да застегнутую ширинку. Стефановича вышвырнули из всех обществ, дом пришлось продать, практику ликвидировать, теперь он клизмы ставит негритянским беднякам... А каталоги Мишка красивые привез. Любо смотреть!

— Да, — согласился Роберт, засовывая каталоги обратно. — Послушай, Арнольд, какое название тебе кажется более подходящим — Общество врачей Латвии или Общество практикующих врачей Латвии?

— Назовите просто и гордо — Общество советских врачей Латвии.

В зале заседаний, видимо, объявили перерыв. Предлинная очередь стояла к прилавку буфета, и кофейный экспресс работал на полных парах.

Роберт заторопился. Ему надо было позаботиться о ходе выборов. Всучив Арнольду визитную карточку, он поспешил организовывать и распорядиться. Арнольд пообещал позвонить на следующий день и остался сидеть. Рядом построились две дамочки в выходных платьях, они кофейничали и, казалось, представляли типовую театральную публику, после первого действия вздохом обсуждающую ход премьеры. Не глянув на визитку, Арнольд разорвал ее на мелкие клочки и выбросил в стакан. От обеих женщин пахло парикмахерской, они беседовали об урожае помидоров, детях, депортациях и ужасающих условиях труда, во время каждого приема в поликлинике проходится выслушивать тысячи грубостей. Люди были надежно прикованы к будням, и единственное утешение было в том, что крепкое стальное кольцо на шею и тяжкий труд предопределены каждому. Даже яркая, завлекающая витрина больше не будоражила. От короткого замыкания безумия их мозг охраняла надежная защитная система, поэтому, рассматривая изощрения полиграфического искусства, большинство воспринимало их как лакомство для отупевших от повседневной серости глаз, хотя на самом деле эти бесконечные *Made in USA*, *Japan* или *West Germany* означали нечто ужасное, как красочные сигнальные знаки они показывали, что целостность сознания человечества давно раскололась на две неравные части, а трещина тянется меж дулами орудий, континенты разума неумолимо отдаляются. С каждым днем трещина становится все шире и шире, потому что знания и их применение не преумножаются механически, это поистине взрыв, он придает огромное ускорение лидерам и, ослепляя последователей, отбрасывает их в еще более глубокую отсталость и всеобщее неверие.

К счастью, у большинства из них безукоризненно работают предохранительные клапаны, поэтому неполноценность разряжается не разрушительным бунтом, а совсем тихо выдыхается в тривиальной житейской зависти. И редко кто, глядя на образчики чужой электроники или фармакопеи, попытался хотя бы тихо признать, что его собственные квалификация и возможности убоги. Лучше уж пластырь зависти, надежно склеивающий тонущее самосознание и заставляющий искать причины всех недостатков в деньгах, которых вечно не хватает.

Буфет все еще был полон звуков голосов и звона посуды. При отсутствии реальных возможностей украшения у женщин заменила сверкающая бижутерия, народ, в свою очередь, вместо политики обходился эрзацем громкого, чувствительного скучивания, при котором ответственность нарастала вместе с самообманом, а пренебрежение общим шебуршанием рассматривалось чуть ли не как библейское предательство. Со слезами на глазах люди открывали чахоточные кошельки, сбрасывались складчину на пожертвования и считали, что делают святое дело. Но единственным гарантом рублей был только профиль основателя государства на водяных знаках сотенных да еще грозящая за их подделку в особо больших размерах смертная кара. К чему эти сообща выкошенные суммы, если деньжата не обеспечивались товарным покрытием, предложением умелой рабочей силы и политическим правом превратить капитал в оградительный барьер. Так на счетах собирались тысячи, а жертвовате-

лям оставалась лишь надежда, что осязаемый результат их работы не превратится в конце концов в комфортную перину для всех этих активистов, один за другим вылезавших на трибуны с обещаниями будущего и прочих благ.

В вестибюле Дома офицеров собирали членские взносы вновь создаваемого общества. На сей раз пять рублей. Купюры накапливались в сундучке, доктора заполняли вступительные анкеты и ставили подписи. *Дом последних надежд*, вспомнил Арнольд. Так это место прозвали жаждущие выскочить замуж женщины, собирающиеся здесь по субботам на танцы, чтобы подцепить какого-нибудь офицера или курсанта, затянуть его в кровать, нацепить молодцу обручальное кольцо на палец и отправиться в отдаленный гарнизон вынашивать ребенка. В тот вечер в доме последних надежд в воздухе вместо вони ваксы витали запахи медикаментов и дорогих духов, мелькание погон заменили цветные ленточки и значки, а чопорную армейскую субординацию — обычное житейское подхалимство. Над толпой виднелась высокая фигура Роберта, он размахивал плакатом проекта устава и что-то серьезно говорил. Похоже, что Роберту нравились митинги, как знать, во времена революций он перевязывал бы под прикрытием баррикад раненых бойцов. Глаза у парня сияли, словно он снова и снова читал...

... снова читал рекламы знаменитых фирм. Лежа на спине и пустым взглядом глядя в потолок, Арнольд вспоминал эти названия. Например, прибор ядерно-магнитного резонанса «General Electric» — чуткое устройство, которое, восприняв вызванные колебаниями ядер атомов водорода электрические импульсы в живых клетках, может нарисовать на мониторе контуры злокачественной опухоли, скрытой и от рентгеновских лучей, и от глаза самого гениального хирурга. Кожа пациента в созданном прибором магнитном поле неприятно зудит, а зубные пломбы противно нагреваются. Сама процедура противопоказана больным с искусственным стимулятором сердца или с осколками во внутренностях. В сутки машина делает десять обследований, и это сорокапятиминутное удовольствие стоит восемьсот долларов. Охлаждаемый жидким гелием пятнадцатитонный гигант, который на отпечатанных на меловой бумаге фотографиях и в лаконичных, адресованных профессионалам текстах должен засвидетельствовать главное: как бы ни были усердны и ловки косоглазые японцы, в каких традициях и культуре ни черпала силу старая добрая Европа, как бы ни хвастались русские быстрыми ногами спортсменов и спутниками на орбите, все равно Америка не собирается сдаваться, без громких слов и крейсерских залпов она продолжает шагать во главе интеллектуальной революции. Здесь было бы уместно улыбнуться наивности рассуждений, которые, в конце концов, основывались на знаниях, почерпнутых со страниц журналов и книг, из радиоголосов и видеокассет. Америка не продолжение России — с той ничтожной разницей, что на родине эмигрантов все больше и богаче. Звезд на флаге в пятьдесят раз больше, масло на хлеб мажут слоем потолще, моторы машин помощнее, женщины стройнее и телевизоры цветнее. Чтобы удержаться, следует отбросить этот накопившийся в сознании с годами балласт, американские жевательные резинки. Утенки Дональд, Микки-маус и их гениальный папочка Уолт Дисней, ковбои, револьверы, виски в барах и пластинки «Colombia». Джинсы «Lee», эпопеи Фолкнера и порнографические игральные карты. Фильм режиссера Формана и одноразовые скальпели, незаметно рассекающие ткани. Эйб Линкольн на марках и Ронни Рейган в Кремле. Хребет Бруклинского моста над течением Гудзона, статуя Свободы на Элиса-йленд, где раньше эмигрантов избавляли от вшей. Арнольд мог назвать тысячи подобных примет Америки, он изучал конституцию страны и, вполне вероятно, смог бы назвать чуть ли не все штаты от Аляски до Флориды. Однако он, хотя бы теоретически, представлял, как далеко эта болтовня от того, чтобы по-настоящему вжиться, вписаться в иную систему координат. Это не пересчет километ-

ров на мили, когда за окном несется американское шоссе, или перевод выпитых бутылок в пинты, когда тошнота похмелья осела в желудке.

Тут оставалось только верить, слепо и упрямо верить, что Америка — место, где отнимают иллюзии, но дают возможность. И не рассмотренную в книгах Великую американскую мечту, не сказочку о Золушке или о мальчике, превратившемся из чистильщика сапог в миллионера с Уолл-стрит. Просто там человек за свои руки и мозг получает равноценный эквивалент. Ценность за ценность. Без обещаний и рассуждений о будущих поколениях. Если случался перерасход на рынке рабочей силы, то из очереди отчислялись более слабых и тупых. Несомненно, кто-то опустившийся в омут алкоголя или наркотиков вегетировал на пособия или перерезал вены. Наверно, этот городок был достаточно справедлив, по университетским программам изучался Маркс, синие и белые воротнички не роптали на прибавочную стоимость, оседающую в сейфах эксплуататоров, империализм все еще самозабвенно загнивал, а в заокеанской компартии членом было меньше, чем в клубе педерастов в Нью-Йорке. И пока капитализм, заливая социальные язвы, подобно сифилитику агонизировал на своей последней стадии, он, Арнольд, успел родиться, пройти школу и вуз, как следует поистратить деньги и нервные клетки, стерильными руками спасти многих и угробить нескольких людей и так и не узнать себе настоящую цену. Обходясь кое-как пустыми рассуждениями, он каждый прожитый день приносил на красный алтарь социализма, стараясь не думать, что лучшие годы неуловимо уходят, оставляя вместо себя отчаяние, а иногда и тупую усталость. Под напором молодости он пытался оторваться от условий тошнотворного бытия, пока не ощутил, что человеку не преодолеть гравитационного притяжения повседневности, оно тянет его назад, еще глубже засасывает в трясины, где равнодушие, примиренчество, зависть, интриги, полные рюмки и пустые души, а над всем этим величественно поднимаются призраки страха смерти, этой ужасной мании, которой одной суждено приобрести неисчезающую ценность. Страх подстерегал непрерывно, как закоренелый террорист, он настигал в самых невообразимых местах. А смерть обитала в холодильниках, дремала на оцинкованном столе морга, на котором в девять утра покойнику делали секцию. Через живот усопшего тянулася длинная резаная рана, зашивать и Арнольду не понадобилось. Патологоанатом вспарывал труп, вытягивал кишки так же деловито, как вынимают из чемоданчика грязное белье после командировки. Как в колбасной, лежали кругами в эмалированном тазу кишки, а в прокуренных легких нашелся тромб, и медики глубококомысленно затрясли головами, мол, причина смерти недвусмысленно найдена. Несколько фраз для вежливости, и комиссия поспешила в больничный сад за глотком свежего воздуха. Лицо у завотделением выглядело смертельно обиженным, можно подумать, что он, Арнольд, ночью пробрался в квартиру шефа, надругался над несовершеннолетней дочерью, наложил кучу на пушистый ковер и подло присвоил право провозгласить себя пустым болтуном и опасным невеждой.

Насколько прилипчива такая весть, она привязывается к горю родных покойного и подталкивает искать правду в прокуратуре. После ухода комиссии Арнольд еще долго смотрел на больного, умершего под ножом. Сигарета дрожала вместе с пальцами, а патологоанатом, легендарный Екабсонс, который уже пятьдесят лет наносил на лица покойников преисполненное достоинства выражение, гримировал обожаемых актрис и важных партработников, повел его в свой кабинет и налил в мензурку спирту. Теперь выпить, выдохнуть, чтобы не обжечь слизистую горла, а вместо закуски грязно выругаться. И подвал морга заиграл пастельными красками, хоть на минуту забылось, что старые каменные стены пропитались страданием, как мочалка мыльной водой, они слышали стонов больше, чем любые застеники. А сказать грубость хочется и тогда, когда в ушах звучит вопрос о хорошей жизни, о том, что коллега может себе позволить так часто менять одежду, да, да, часто, и

притом всегда изысканную. Машину тоже надо покупать заезженную и громыхающую, таблицу умножения все знают, а зарплату генерала врачам пока не платят. Зато в конце года премия, целых двадцать пять рублей. Получать эту купюру так же противно, как брать конверт, засунутый рукой больного в карман халата. Покупают тебя повсякому — банками кофе, австрийскими туфлями, театральными билетами, талонами на бензин. Несут шоколад и деревенское сало. И при всем том тобой гордятся газеты, как-никак,ходишь в армию лекарей, заботящихся в государстве о главном достоянии народа, цифры совершенно грандиозные. Америка с дороговизной медицины и избытками неграми — злая и жалкая. Недостатки обещал ликвидировать товарищ Горбачов, так что почитай о предоставленных конституцией лакомствах, ухмыльнись и начни думать — а почему бы и нет, в этой стране насмотрелся на балаган, там хуже не будет, а может стать, намного, намного лучше. По крайней мере, иначе. Только надо наловчиться. Грубость и высокомерие следует оставить на родине вместе с жилплощадью.

При медленном покачивании вагона Арнольд обдумывал эту очередную фантазию, вытешенную бессонницей на свет голубого ночника. Ей-богу, надо из себя вырвать, пусть хоть с кусками мяса вырвать те ненависть и злость, которыми постепенно пропиталась каждая пора тела. Ненависть, заставляющая дрожать мускулы лица при виде формы, слушающая торжественные речи и доклады или сталкиваясь с такими же нетерпимыми, загнанными людишками, как ты сам. Эта проклятая рекламная улыбка, надевающая карнавальную маску на любое лицо. Без нее не состоятся личные контакты, протекции и неочиненные случайности, непредвиденные совпадения, в добром или злом облике являющиеся каждому, когда карты у тебя в руках и в игре наконец-то белые фигуры. И камушек удачи спускает лавину обстоятельств и, переключая биографию на большие обороты, выбивает пробку из бочонка шампанского. Без удачи сегодня никак нельзя, мир так и кишит от крыс, бегущих с крейсера социализма. Поляки и фрицы, чехи, жида, югославы, китаезы и вьетнамцы окружили большой стол с рулеткой. Тысячи и тысячи из последних сил гребут против течения истории, мечтают выкарабкаться на западном берегу и выжить. Американские посольства и консулаты переполнены просителями, не хватает сотрудников и бланков, иммиграционная служба трудится в поте лица, эту работу янкам не осилить, так как все новые поросли ночных мотыльков несутся к факелу, поднятому рукой статуи Свободы. Неисчислимы судьбы извиваются в западне надежды, валяются по лагерям беженцев и тратят гроши пособий. Чтобы вырваться, избавить себя от толпы искателей счастья, нужна случайность, та же случайность, что способствует случаенному. И подкрадывается случайность с темной стороны; ее нельзя предугадать, тем более торжественно встретить с красной ленточкой и блестящими ножницами на бархатной подушечке. Нечего смеяться, это может произойти свежим и солнечным летним утром . . .

. . . солнечным и свежим летним утром, когда ходячие больные с переполненными пузырьками терпеливо ждали своей очереди у двери туалета или с полотенчиком на плече и зубной щеткой в руке плелись умываться. Арнольд заглянул в большую палату, где больной Иониканс кормил на подоконнике голубей, тщательно-претщательно кроша горбушку белого хлеба. У гулек началось пиршество, голодные птицы со всего центра города находили эту площадку, десятки громыхали жестью, боролись за порцию крошек, размахивая крыльями, отгоняли воробьев и покрывали подоконник слоем помета. Санитарка, алкоголичка Зента, носила Иониканса последними словами за грязь, а больной только смеялся и говорил, что перенес инсульт и очень любит птичек. Когда вопли Зенты стали непереносимыми, Иониканс сунул бабе пятерку, и санитарка сразу успокоилась, чтобы исчезнуть на несколько часов, в течение которых она успевала напиться, а судна, чертыхаясь, таскали медицинские сестры.

— Товарищ Иониканс, я бы не советовал вам кормить этих птиц! — совершенно сердито сказал Арнольд.

— Скотину надо любить и кормить. Иначе колбасы не видать! — говорил больной с набитым ртом, батон хлеба он обычно по-братски делил между эскадрилей птиц и собственным пупом, могучей массой жира, вылезавшего через резинку пижамных брюк. Из тумбочки Иониканса в палату плыли ароматы скисшего творога, протухшей курицы и подпорченной клубники.

Его пижама была засыпана пеплом сигарет, окурки он разбрасывал по всему отделению, курил он жадно, и, направляясь в больницу, запасся сигаретами как моряк дальнего плавания, собирающийся в кругосветное путешествие. После перенесенного кровоизлияния страх смерти заставил Иониканса отказаться от рюмки, а интимная жизнь, в свою очередь, зачахла по техническим причинам. В истощенном организме мужика при желании можно было бы найти чуть ли не все хворости, доподлинно было только известно, что Иониканс не страдает от недомоганий, вызванных тяжелыми месячными или «волчьей пастью».

— Все мы любим, — возражал Арнольд, — А если вас придется отвезти в инфекционную больницу?

— Почему? — забеспокоился Иониканс, желая, судя по всему, пережить собственную внучку, которая раз в неделю приносила цветочки и просила дедулю дать свои зубы поиграть в доктора.

— Голуби разносят болезни.

— Вот курвы! — отозвался Иониканс и засунул в рот предназначенный для гуленек кусок. — Нет, эти птички — здоровые. Глянь, перышки блестят! . . .

И Иониканс погрузился в объятия кровати, пружины ее с жалобным стоном растянулись аж до пола. В хирургическом отделении он за двести рублей лечил больную печень, вернее, позволял доктору Штерну заговаривать себя латинскими терминами, пичкать пустяковыми таблетками и заставлять его соблюдать диету. Для Иониканса не было большего удовольствия, чем глазеть во двор на двери морга и подсчитывать гробики, развозимые катафалками по кладбищам города. А у его семьи не прекращался праздник, потому что жена больного уже дважды была у Штерна с конвертом и просьбой поддержать ее старика по возможности дольше на больничной койке, при докторах и хорошем уходе.

В то утро перед дверьми морга тоже стоял автобус с черной полосой по бокам, а рядом с экспрессом смерти на солнышке грелась черная «волга». Похоже, что машиной пользовалось какое-то государственное учреждение — на крыше у нее торчала игла антенны радиотелефона.

— Да, доктор . . . — с наслаждением шурша конфетной бумажкой, сказал Иониканс. — Когда я сидел в валмиерской тюрьме, я последний год был дневальным. Беда с этими писунами. Там я заставлял их спать на одних нарах. По сменам, как на фабрике. Сегодня внизу, завтра наверху. Ничего, спали, а по утрам вместе топали сушить матрацы.

— За что вы сидели?

— За производство неоприходованной продукции. Еще при Хруще. В колбасном цехе вкалывал. Взяли рано утром, и опохмелиться не дали.

— Невезуха.

— Доктор, как вы считаете, грибы для моей печени не слишком тяжелая пища?

— Слишком.

— Мне тоже так кажется. . . Я каждую весну съедаю по тридцать кило клубники. Все шлаки вымывает. — Иониканс стал ковырять в носу, а его мясистый рот после инсульта перекосило, как у некоторых московских государственных деятелей. — Интересно, в магазине мясо есть?

— Нет, — ответил Арнольд, наблюдая, как четверо немелых мужиков поднимают в машину гроб.

— Ну, что я говорил? Все в тартары! — чуть ли не ликовал Иониканс, для которого хула коммунистов была самой любимой темой — после обсуждения болезней, — Чтобы государство могло существовать, на каждого жителя дол-

жен быть и хлеб, и корм скоту. Это разве хлеб? Хуже, чем при немцах!

— Чем вы при немцах занимались?

— В школу ходил. Футбол гонял. Вот тогда были шпилеры. Как Тамча по левому краю шел! Бруцера! Слыхали?

— Фрицы его еще в лагерь засадили.

— Ну, тоже мне, большевиком заделался. За что посадили? Вагон масла спер. Считаю, что повезло. В сорок третьем, когда тотальную войну объявили, за такие дела на месте расстреливали. . . А у моей мамы был цветочный магазинчик. Цветы всем правительствам нужны. В русское умела делать. И венки. Мутер даже в Москву возили, Сталину гроб украшать. . .

— Самому Сталину? . . .

— А ты как думал?! Цветы по ночам меняли. У гроба охрана, офицер и моя мама. Ей от страха казалось, что Иосиф Виссарионович усом дергает.

— Теперь мама на пенсии?

— Умерла. От поджелудочной. Последние шесть лет ела только отваренные в воде овес и репку. . . Ой, как воняло! Интересно, генералиссимуса сожгли или похоронили?

— Не знаю.

— Спрятали. Чека спрятала. Когда времена переменяются, вытасят.

— Наверное, — согласился Арнольд. За спиной послышались шаги. Арнольд оглянулся.

Это были двое больных. Со свежесбрившими щеками и свежими газетами. Грыжа и камни в почках. Они поздоровались со своим доктором.

— Послушай, Язеп! Ночью в больницу привезли того актера. Хулиганы прирезали, вот-вот коньки отбросит. . .

— Которого? — Иониканс приподнялся на кровати.

— Да еще позавчера кино с ним показывали. . . — пытался вспомнить фамилию больной с грыжей.

— Так ему и надо! — провозгласил Иониканс. — Последний развратник. . .

Разврат и похоть обсудить не успели — открылась дверь, и в палату влетела медсестра, красная, как крест на ее накрахмаленной шапочке.

— Доктор, доктор! Вы немедленно должны быть в реанимации! . . .

— Иду! — хмуро отозвался Арнольд.

Странно, но жуткой обреченности не было. Скорее равнодушие. Агонизирует? . . . ах, как жалко. Умер? . . . Ну вот, кроватка освобождается. Внутреннее кровотечение, так, перитонит? . . . Опротивели, что, в Риге врачей не хватает? Еще объяснения и комиссии, секции и жалобы. Стойка «смирно» и принятые меры. Перед глазами мелькали загорелые ноги медсестры. Он шагал позади и думал, что придется искать работу. Будет ездить экспедитором, перетаскивать ящики с бутылками и спекулировать водкой. Научится натирать паркет или мыть стекла витрин, станет зарабатывать бешеные деньги. Не все ли равно?

— Давно объявились? — спросил Арнольд, когда их шаги раздавались уже на лестнице.

— Только что приехали. . .

— Кто?

— Из министерства, из Москвы.

— Ого. . .

— Главврача тоже вызвали.

— Бедный человек. Разбудили в воскресенье, — протянул Арнольд, прекрасно зная, что главный в этой больнице — дурак чистой воды, к тому же воинствующий трезвенник, который даже по официальным праздникам ни-ни. . . Именно кипучая трудовая глупость помогала Румбе делать карьеру, кресло же главврача ему устроил директор научно-исследовательского института, в учреждении которого этот трезвенник годами играл вторую скрипку на служебной лестнице, всюду совал свой нос и свои правильные речи, мешал нормально жить, как маленький братик в кустах на берегу Гауи.

— А актер в жизни мелковат, — сказала медсестра, — надо же, как телевизор обманчив.

— Ну, покойнички много места не требуют, ссыплют в урну, и дело в шляпе, — ворчал про себя Арнольд, у которого выпитый без счета порошковый кофе дробил стенки желудка и вызывал горечь во рту.

— Как открыл глаза, так в Москву запросился, — почти обиженно через плечо рассказывала сестричка, готовая в тот момент возить актера весь его творческий век в инвалидной коляске и кормить каждый раз через резиновый зонд.

Через несколько минут они уже были у дверей реанимационного отделения, куда посторонним вход воспрещен. На маленькой площадке перед дверьми обычно толпились родственники, здесь утирали слезы матери и жены, сморкались мужчины и плакали дети. Только одна смерть и проникла без пропуска и белого халата в палаты, где бились ослабевшие сердца и десятки жизней раскачивались перед зовом вечности, где свежая кровь звала в раны изголодавшихся микробов, где кислород, измеряемый в литрах и секундах, медленно вливался в изнуренные тела, где отсчитывали капли лекарства.

А в десятой палате вокруг послеоперационного больного собрался консилиум. Главный врач Румба выглядел, как всегда, испуганным, его глаза перескакивали с лица больного на физиономии начальства, и в них можно было прочесть страстное желание дирижировать больницей, в которой никто и никогда бы не умирал. Заведующий отделением чуть ли не каждое утро бегал к почтовому ящику в ожидании подтверждения кандидатской диссертации, теперь Лиепиньш пугливо стоял в тени, как эксгибиционист в подворотне. Заместитель министра Орбиданс гордился филигранно подстриженными бакенбардами и чувством собственного достоинства, подогреваемым волнением, оно не умещалось на лице и лило через край, отчего жесты становились солидными и серьезными. А четвертым был незнакомый полный мужчина с внешностью, вполне подходящей для израильского кнессета. Москвич принимал парад латвийских медиков, и больного он называл Славик.

Арнольд остановился в дверях. В воздухе вместе с запахом медикаментов и испарений тела сгушалось то неуловимое напряжение, отравляющее нетерпимости и ненависти, которая, подобно газу в подземных шахтах, тайно рыскала по душам, накапливалась и накапливалась, чтобы, достигнув критической величины, взорваться от ничтожной искры беспомощности. Скандал приближался неотвратимо, и старшая сестра мяла в руках блокнот. Она ждала, что потом, разбрызгивая слюну, главный будет на нее орать, как на девчонку. Причина будет смехотворной, ничего не значащей. А Румба с удовольствием отправил бы в Сибирь идиота со «скорой», подсунувшего умирающего, чтобы разрушить все, чему посвящена целая жизнь. Прощай табличка на дверях, прощайте, товарищи за длинным столом заседаний, почетного звания тоже теперь не видать, и на будущей, незначительной должности любой, кому не лень, сможет вытереть грязные сапоги об его — честного человека и специалиста! — белый халат. Заместитель министра враждебен, потому что подставлен под удар, а у Москвы кулак тяжелый. Почему не сообщили, не проинформировали? Центр захочет знать, почему не были приняты меры, мобилизованы лучшие силы, технические и человеческие ресурсы. Столичный профессор тоже разъярен, потому что, промчавшись над просторами России, попал в доисторический барак, переживший еще стоны жертв империалистической войны. Бросить свою клинику, этот маленький островок Америки или Японии в героическом сердце отсталой страны, чтобы узреть больницу, само время в которой прокисло, как в бочке с огурцами. И, проходя по территории лазарета, наблюдать, как за зарешеченными окнами венерологического отделения сифилитические проститутки показывают ему светлые голые задницы и обзывают толстым жиденком. К тому же эти латыши стоят тут чуть ли не с полными штанами, врут и смотрят жалостливыми глазами. И профессор принялся листать историю болезни, а местные начальники следили за каждым движением гостя, как проторовавшиеся торговцы в сельской лавке,

застигнутые ревизией врасплох. Оперевшись о косяк, никем не замеченный Арнольд стоял и усмехался своей догадливости. Знал ведь, что в читателях, усердных читателях недостатка не будет, поэтому заполнил листки по-русски, старался писать четко и разборчиво. Правда, доброе намерение дошло уже в начале каждого предложения, спешка подгоняла шариковую ручку, и буквы на бумаге выплывали чардаш. Еще Арнольд заметил, что равнодушные и апатия остались за дверьми, в коридоре, где перепуганная санитарка заботится о чистоте. А больной лежал совсем вялым, лицо было одурманено наркозом, руки беспомощны, под глазами темные круги, словно грим в провинциальном театре. Но близости смерти тут не было. Не было сладкого ладана, который Арнольд научился ощущать, по крайней мере ему так казалось. Навык совершенствовался с годами, упражняя страх и тренируя ответственность. Прорезался он еще в тот раз, когда живая теплая кровь вызвала тошноту, мир показался похожим на бойню и единственным желанием было закрыть дверцы, блевать и блевать, освобождаясь от скучного студенческого завтрака, пока в канализацию не потечет один лишь желудочный сок, или же позже, когда солидные врачи, болтая про хоккей и баб, равнодушными, почти механическими движениями делали за столом свое дело, точными разрезами удаляя наполненную опухолью женскую грудь, место которой отныне в эмалированном ведре возле ног. Близость смерти — это не только рационально исчисляемая величина, которую можно уточнить в справочнике, не всегда ее читают по зрачкам глаз или по вытянувшейся в нитку кривой кардиограммы. Ее и не купишь с астрами у кладбищенских ворот, не получишь вместе с нотариально заверенным завещанием. Объяснение писать бесполезно, предчувствие приходит как вдохновение, заставляя звучать реквием или совсем по-житейски подсчитывать — как долго, как долго еще осталось... А может, все это было обманом, игрой подсознания, которое, дозируя страх, постепенно выработало ответную реакцию, развязывало самоуверенность и ту легкость, которая нужна в каждом ремесле?

Тем временем гость отдал сестре историю болезни и гордо поднял массивную седую голову.

— Это вы? — спросил профессор.

— Да.

Местное руководство, как по команде, повернуло головы к двери и обожгло Арнольда взглядами.

— Почему вы пошли на операцию?

— Не хотел идти под трибунал, — сказал Арнольд, кивком головы здороваясь с главврачом.

Тут москвич подошел к нему и стал жать руку:

— Спасибо, доктор!.. Я ведь Славика предупреждал: этим кончится, — и профессор оглянулся на местного начальство: — Пошли, товарищи.

(Продолжение следует)



ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ САБУРОВ

БОДЛЕР. ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

1

Вот полированный ларец,
покрытый патиной веков.
На нем паяц. На нем венец.
С зубца свисает бубенец.
Связь слов проста как связь веков.

Надставлен звездчатый замок.
Его лениво гладит шейх.
Порядок слов, порядок строк
зовут в дорогу на Восток,
где щели прохлаждает шёлк.

Я приглашаю, шаг — и мы
возможно соберемся вдруг
туда в зашторенные тьмы
из нашей сумрачной зимы,
из белизны разлук.

2

Век сброшен словно майка.
Слава трепещет возле век чёлкой.
Меня в себя обмакивай —
я человек-иголка.

Всё время теряюсь. Я сброшен словно зеркало.
В углу в глубине зеркала возникло кресло.
Смеркалось.
Ты неотраженная обнаженная в стороне воскресла.

И у окна твоё тело — страна,
в которой живут глаза и остро пахнущий стыд.
Я хочу жить в стране такой, где тишина,
в стране такой, как ты.

3

Нам не дано понять прекрасный сад,
но в темной комнате, где свечи и духи, той, в которой
зашторенные окна не выпускают тяжелый воздух,
мы видим красоту.

Там нам тепло, на мебели висят
кожурки, укутывающие нашу наготу.

А отблески в глубоких зеркалах,
слоистый дым над розовой постелью,
на спинку стула брошенный халат —
тот самый край, куда мы так хотели.

4

Очаровательная дисциплина поз
и красота цветов в усталой вазе,
оплывшей книзу, бесконечных грез
в твоих глазах сплошное безобразье.

Все это — тишина. И в тишине одни
той тишины родные речи,
и словно остановленные дни
оставшееся с нами Междуречье,

куда я приглашаю нас с тобой
в полуоткрытый рот дыша.
Цветы окаймлены травой,
изрезанной как нежная душа.



И неправдоподобно всё вокруг —
раскрытый день, зашторенные окна.
Намокла зелень. Как всегда и вдруг
трава ресниц брильянтами намокла.

5

День изо дня меняющийся свет,
лиловый сумрак городского сквера,
язык любовных «да» и «нет»,
секира, козочка, химера,

полуокружье неба в облаках
и низкий стул трамвайного вагона —
всё перемешано. На разных языках
мы обнаружены, вечнозелёны . . .

О, запашок мальчишеской тоски,
который был так густ и ласков!
Растаскан. А на море утюги.
Ни сейнеров, ни лодок, ни баркасов.

6

Новой общности зачаток
словно на ночлег задаток.
Ваши общие слова
собирают души наши
и ложится голова
на повергнутые чаши.

Это доброе добро
до того простое дело —
только что, смотри, свело
и уже, глядишь, раздело.
Чувства крошечный остаток —
пуговицы отпечаток.

7

Из одной в другую точку
судно движется в задачке,
и бродяжничают палец
по изрядно стертым строчкам,
романтический скиталец —
некто в омулевой бочке.

А в голландских-нидерландских
зачарованных каналах
гиацинтовым свечением
отражая город блядский
ходит нефть невестой чьей-то
от причала до причала.

Загадай же мне задачку,
как ты плыл в края Востока,
одинок-одинок
стоя на карачках в бочке.
Вышиб дно и вышел вон
Шарль Бодлерович Гвидон.

8

Куда б мы женщину ни приглашали,
узнать нельзя и угадать нельзя,
какие вместо наших голоса
и что ей там пересказали.

Когда мы ласковое чмокаем плечо,
чуть-чуть отодвигаясь от окна,
что думает? о чем молчит она?

Где холодно? Где горячо?
А надо ли об этом узнавать,
когда на море лунная дорожка,
когда душа оттаяла немножко
и широко распахнута кровать.

9

Под одной со мною крышей
поселились мышемыши.
Превращаясь в крысокрыс
под подушкой заскреблись.
Пароходы и народы
смотрят в зеркало природы,
повторяя: «тише-тише,
мы сегодня родились».

У забора трое пьяниц.
Их снимает иностранец,
ну, а бдительный прохожий
с ходу бьет его по роже.
Замещая аппарат,
разбивает аппарат,
повторяя: «нет, засранец,
нас не опорочишь ложью».

Пароходы-ходоходы.
Мышемыши — выше крыши.
На снегу моей природы
что-то розовое дышит.



Зачем же властвовать и задавать вопросы?
Пьют скворцы, и пьют вино
у магазина холодным майским утром.
Нам дано
быть мудрыми,
но это мы отбросим.

Зачем же властвовать и мелкой сытой дробью
свой голос насыщать?

Пятиэтажная стена на зелень вдовью
глядит, как на тщету душа,
и ах! как хороша
воздушная листва, наполненная свежей кровью.

Чуть мы устали, нас уже забыли.

Сквозь ясное лицо, повернутое вверх,
струится свет,
которого и нет.
Когда хозяйку посещает смерть,
квартира богатеет пылью.

Зачем же властвовать?

Воздушная истома
холодную весной ложится на порог,
взлетела ласточка
и серый свой творог
прислонила под самой крышей дома.



Бесконечна, безначальна
ты живешь одна в печали,
мир прошедший пьешь из чашки
потихоньку, понаслышке
и листаешь злые книжки
и заветные бумажки.

Ты пророчишь и хохочешь,
ты хихикаешь и прячешь
столь прославленную пряжу
столь прославленную ночью,
безначальна, бесконечна,
мною прохожим покалечена.

Ведьма, ты скажи, что ведаешь,
злыдня, ты скажи зачем
желтой постаревшей Ледою
ты, пока я тут обедаю,
виснешь на моем плече
и вообще...?

Мы повергнуты в отчаянье,
к нам обращены упреки,
нам назначены печальные
справедливые уроки.

Мы в саду. Над нами звезды.
Холодно. Пора бы в дом —
посидеть, пока не поздно,
за обеденным столом.

Ты диктаторствуешь пылко,
мельтешится речь лихая,
только посреди улыбки
замолкая и вздыхая

вдруг. Закусками и уткой
мы сопровождаем водку.
То, что жить темно и жутко,
мы воспринимаем кротко.

Душу подлинным смиреньем
укрепив и снарядив,
в день ненастный, в день весенний
я спросил у тамады:

«Так ли было, так ли будет,
так ли надо или нет?»
И сказал он, глядя круто
исподлобья на паркет:

«Мы повергнуты в отчаянье,
к нам обращены упреки,
нам назначены печальные,
справедливые уроки».

Нет ответа. Теплым летом
пролетит над нами трепет.
Только этого предмета
наше сердце не заметит

Пять путешествий бледного кота:
на край земли, в соседнюю квартиру,
к подножью среброликого кумира,
к той, что не та, и к той, что та,
нам описали в стансах и в романсы
чуть упростив переложили стансы.

Но я вскричал, ломаясь и скользя:
— Где миг, когда кота терзали мысли,
глаза прокисли и усы повисли
и было двинуться ему нельзя?
Где перелом, который искра Божья?
Как уловить возможность в невозможном?

АЙВАРС КЛЯВИС

Я ЗОВУ — ОТЗОВИТЕСЬ!

ПОВЕСТЬ

Вообще-то все началось сентябрьским утром тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года, когда, едва открыв глаза, я включил радио. Была среда, девятнадцатое сентября.

«Семь часов тридцать три минуты. Продолжаем утренний концерт...»

Из транзистора полилась музыка, и я вспомнил, что сегодня у Индры день рождения. Хотя сказать «вспомнил» не совсем верно, получается, что я о нем забыл. Да я о нем никогда и не забывал. Индре в тот день исполнялось восемнадцать. И я подумал о ней, как только открыл глаза, включил радио и из транзистора полилась музыка.

«Та-ра! Ту-ту!» — пронзительно просигналил тромбон, и какой-то типус приторно-бархатным голосом заворковал по-немецки.

«Майне либе» и все такое. Если я правильно понял, он из-за этой самой «либе» готов был стену головой прошибить. Совсем парень свихнулся.

И тут я вдруг подумал, что в субботу в ФРГ состоится гонки предпоследнего этапа розыгрыша «Большого приза». (Автоспорт, точнее «первая формула», — мое хобби.) В среду на старте соберутся команды. В основном лидеры, которые могут позволить себе появиться в последний момент. В пятницу начнутся тренировки. Да, именно в пятницу, и на Нирбургской международной авто-трассе, которую я никогда в жизни не видел, но контуры которой, даже разбуди меня ночью, нарисую с закрытыми глазами, взревут моторы.

Впереди Лауда, у него шестьдесят очков. Ален Прост отстает на девятнадцать с половиной, Пике на целых сорок три. Значит, лидеры недостижимы. Я болел за Проста. Почему? Потому что до сих пор ему жутко не везло. Как бы здорово он ни гнал, напоследок его обходили. Типичный неудачник! Вот мне и было жалко француза, хотелось, чтобы он хоть раз в жизни заработал серебряную бляху.

Как-то, листая журналы, Индра сказала, что я похож на Алена Проста. Сказала как бы между прочим, помахав картинкой над головой.

Иногда, пристально разглядывая себя в зеркале, я и вправду находил между нами некоторое сходство. А бывало, сколько ни вглядывался, сколько ни таращил глаза — никакого сходства обнаружить не мог. Из зеркала смотрел на меня Арманд Юркус, появившийся на свет ровно семнадцать лет назад в этом самом городе и по разным причинам проведший детство в деревне. Ученик обычного одиннадцатого класса обычной рижской средней школы.

Да, иногда я не находил в себе ни малейшего сходства с Аленом Простом. Да и вообще ни с кем. Был похож только на самого себя. Среднего роста. Дурацкие черные волосы торчат во все стороны — ни тебе вьются, ни прямые, чтоб на лоб начесать. А пострижешься покороче — сзади самый настоящий безработный негр. И нос... Не

нос, а одно расстройство, даже говорить не хочется. Раньше дразнили меня в школе из-за носа, прямо проходу не давали. Это потом уж отстали — то ли надоело, то ли сообразили, что шутки, похожие на правду, вовсе не шутки.

Первое, что я сделал, как только встал, — глянул на себя в зеркало, но как назло в то утро я не был похож ни на Алена Проста, ни на Арманда Юркуса. Скорее на типичного гангстера из итальянской кинокомедии. Со мной такое бывает — вдруг я начинаю походить на всяких придурков из глупых кинокомедий. Меня аж передернуло, но тут я догадался, что просто наступила осень — дни становятся короче, солнце встает позже. В таком полумраке от зеркала ничего другого нельзя было и ждать. Тем более от старого, облезшего трюмо. В жизни такого облупленного не видел, самое место ему в компании кривых зеркал, но я эту рухлядь затолкал в свою комнату, как только сообразил, что мать собирается его продать.

«Зачем тебе этот хлам? Тоже мне барышня! Ты в зеркало будешь таращиться, а мне вытирай да блеск наводи», — сказала она сердито.

Я сделал вид, что не слышу.

Не хватало еще, чтоб она продала все до последнего. Ни слова не говоря, я задвинул трюмо в свою комнату, если можно назвать комнатой восьмиметровую клетушку за кухней, в которую я перебрался еще в четвертом классе, когда внезапно умерла хозяйка квартиры.

Значит, так, хозяйка квартиры внезапно умерла, я перебрался в ее комнату и зажил самостоятельной жизнью.

Маленьким я не то чтоб очень, но все-таки боялся. Комнатушка узенькая, потолок низкий. Дверь, открываясь, визжала как электропила и как будто отпиливала входящего от внешнего мира. Вечером по улице мчались автомашины, где-то фырчали автобусы, звенели трамваи. Звуки доносились откуда-то издали, глухие, монотонные, фантастические. В окно даже лучик света не заглядывал. Ни отблеск, ни заблудившаяся молния — ничто не напоминало об улице, шум которой я слышал. Лежа в абсолютной темноте, я преспокойно мог вообразить за окном бушующее море, бьющее в берег волны, а то вдруг мне казалось, что началось землетрясение и дом вот-вот закачается. Под эти мысли я засыпал.

Но за окном не было ни волн, ни моря, ни землетрясения. За окном была узкая шахта, мрачный каменный колодец. Даже кошки туда не забредали. Четыре стены высотой в шесть этажей, четыре угла и кое-где в стене окно, из которого до упомощения можно было таращиться в унылую бездну. Из каких-то своих соображений, а может быть, у него был такой каприз, но именно так спроектировал дом неизвестный мне архитектор двадцатых годов. За эти годы внизу скопились груды стекла, бумага, старый хлам, и весной, когда таял снег, все это покрывалось толстым слоем сажки. Летом непонятно откуда снова появлялись осколки, бумага и тряпки, зимой

все опять засыпало снегом, а весной мусор снова оказывался под слоем сажи. Повторялось это из года в год, так как жил я в самом центре города.

Каменная стена напротив когда-то была темно-коричневой и в трещинах. Смешно, но раньше ее часами мог их разглядывать и каждый раз находил в очертаниях трещин что-то новое. Был там дракон с огромной саблей, пастушок, игравший на свирели, бородатый старик, четыре автомашины неизвестных мне марок и танк. Время, испещрившее стену линиями, подогревало мое воображение, словно ветер, раздувавший погасшие угли. Рисунки оживали. На стене был целый мир, который принадлежал мне одному, — и добрый, и грустный, и радостный, и злой. Самый настоящий мир на темно-коричневой каменной стене — со своими радостями и печалью. И может быть, даже более настоящий, чем тот, в котором я жил.

Но однажды, вернувшись летом из деревни, я не нашел принадлежавший мне одному мир. Стена была покрашена в ярко-желтый цвет, и трещины исчезли. Даже следа от них не осталось. Нет, я не стал хныкать, потому что уже вырос и понимал, что рисунки на стене — это все моя выдумка, и плакать бесполезно. Но все-таки стало грустно. Было жалко дракона с его огромной саблей, пастушка, игравшего на свирели, машин, танка, даже страшного бородатого старика было жаль. Вероятно потому, что за эти годы мы успели подружиться. Утром они первые меня встречали, с ними последними я прощался, когда шел спать. Целыми днями мы были вместе, когда в комнате я занимался своими делами. Мы стали друзьями, и в то время это были мои единственные друзья-приятели.

В первые дни, глядя на ярко-желтую стену и все яснее понимая, что трещины исчезли на веки вечные под слоем краски, я грустил. Хотя и тогда уже понимал — есть вещи, о которых грустить подолгу не стоит, и всю жизнь довольствоваться друзьями, живущими на расстрелявшейся каменной стене, тоже нельзя. Так я расстался со своими уродцами.

От желтой стены в комнате стало светлее. Чуть-чуть светлее, так как по-настоящему светло в моей берлоге становилось в середине дня. Летом это длилось долго и свет был ярче, зимой мутный свет совсем недолго освещал комнату. Чтобы увидеть четырехугольник неба, надо было как следует перегнуться через подоконник. Но в то утро я не испытывал никакого желания таращиться в небеса.

Покрутившись в полутьме перед зеркалом и отметив, что в общем-то уже осень, значит, солнце встает позднее и дни становятся все короче, я подумал о том, о чем логически надо было подумать сразу же, когда встал, — у нас отключили электричество. Отключили еще в июле за то, что систематически не платим за квартиру. Похоже, если так будет продолжаться, нам его не подключат до двухтысячного года. Платить за квартиру никто не собирался. Да хоть бы и захотели, сделать не смогли — не было денег. С каждым месяцем долг нарастал. Будущее рисовалось в мрачном свете — и в прямом и в переносном смысле. Я во всех подробностях представлял, что нас ждет, тем более потому, что квартира не отличалась широкими, светлыми окнами. Ну, месяц протянем, ну, два... А дальше? Может, пойти пожаловаться? Так, мол, и так, дорогие товарищи, пожалуйста, поймите и помогите, ведь в конце концов больше всех страдаю я, а не те, кого вы решили наказать. Почему? Да потому что мамаше все едино — есть свет или нет его. Плевать ей на такое чудо техники, как электричество. Рюмку и в темноте мимо рта не пронесешь. По ней, так электростанции можно и вовсе не строить. Совсем другое дело, если человек в одиннадцатом, так сказать, выпускном классе, и иногда приходится кое-что выучить или просто почитать книжку. Я уж не говорю о телевизоре, потому что мамаша и на телевизор плюет с пятого этажа, этакое в нашем доме не водится. Да черт с ним, с телевизором! Я на это не жалуясь. А вот отсутствие электроплитки или крошечная тьма в уборной доставляют некоторые неудобства.

Так или примерно так я размышлял, но тут же отбросил все эти мысли.

Во-первых, не знал, куда идти. Во-вторых, выглядело бы это чертовски унижительно. В-третьих, за квартиру и в самом деле не плачено лет сто. Пора копить деньги на свечи. Когда я понял все это отчетливо, из головы мигмом вылетели все мысли об Индре, о ее дне рождения, о розыгрыше «Большого приза» на предпоследнем этапе субботних гонок на Нирбургской международной автотрассе.

Приоткрыл дверь в комнату матери. В нос шибанул омерзительный удушливый запах. Пахло потом, грязным бельем, сигаретами, застывшим жиром, остатками еды и еще черт знает чем. Настоящая клоака. Меня чуть не стошнило.

На кровати, запрокинув голову и время от времени всхрапывая, прямо в одежде спала мамаша приятельница. На полу валялись стоптанные туфли. Мать, скрючившись, спала на диване, положив ноги на стул и вместо подушки сунув под голову скомканную красную кофту. В этой позе явственно проступала хрупкость, детскость всей ее фигуры. Совсем как девочка — если бы не торчащие на затылке седые прядки и не тонкие бледные ноги с проступающими синими венами.

— Тебе чего? — не шевельнувшись, пробормотала она.

Лица ее я не видел, но догадался, что говорит она с закрытыми глазами.

— Ничего, — ответил я.

— Тогда закрой дверь! Я хочу спать. Господи, дашь ты мне поспать или нет! Сумасшедший дом какой-то! Ни днем ни ночью покоя, — продолжала она бормотать.

Я стоял не двигаясь. За окном легкий ветерок раскачивал ветки. Сквозь немые стекла желтые листья казались ржавыми.

— Долго ты торчать будешь?

Наконец мать шевельнулась и, по-моему, даже открыла глаза.

Я хлопнул дверью так, что все задрожало. Ясно — неделю разговаривать с ней бесполезно. Раз уж пошло-поехало, так просто не кончится.

Хочу сразу же внести ясность — мать моя алкоголичка. Самая что ни на есть настоящая. Из тех, кто в компании с мужиками толкуются возле водочных магазинов. Их замызганная одежда, оплывшие лица, исходящий от них мерзкий запах алкоголя вперемешку с мочой, различаемый на расстоянии, вызывает чувство брезгливости, омерзения и жалости. Хоть они и пьяницы, но все же женщины, и поэтому выглядят страшнее, чем пьяницы-мужчины. Противно, правда? Конечно, противно. И все-таки одна из этих женщин моя мамаша. Моя мама, если хотите.

Я еще помню те времена, когда мамаша была не алкоголичкой, а просто моей мамой. Правда, было это давным-давно. С тех пор прошла целая вечность. Она носила тогда красивое цветастое платье. Мы ездили с ней на взморье. Я лизал мороженое. Народу в поезде битком. Она обмахивалась газетой. Мороженое таяло и капало на пол. Мама тогда водила трамвай. Сколько раз, примостившись у ее ног на захваченной из дому скамеечке, я катался по городу — из конца в конец. Словно разноцветные жуки, ползли по городу машины, на солнце сверкали витрины магазинов. Я считал остановки, из трубы, в которую я упирался ногами, шел теплый воздух, и часто прямо в кабине я засыпал и просыпался, когда на улице уже было темно и пустой трамвай мчался в депо. Тогда я любил свою мать. Она водила трамвай и носила красивое цветастое платье.

Сейчас наши отношения можно назвать мирным существованием. Мамахен, когда не пьет, ведет себя нормально. Интересуется, не надо ли мне чего постирать, убирает квартиру. Говорит, что проклятая водка сведет ее в могилу, странно еще, как у нее все внутри не сгорело, и еще много чего в том же духе. Говорит, что стоит ей захотеть, и она вообще бросит пить. Спрашивает — верю ли ей? Обещает поставить на всем точку и начать новую жизнь. Но я таких обещаний за свою жизнь наслышался ой-ей-ей сколько. И хотя отвечал, что верю, нисколько им

не верил. Давно уже. И знал, что сама она тоже в это не верит.

Проходило время, и благие намерения забывались, швартовы кое-где начинали перетираться, появлялись пьяные матросы, дрожащими руками срывали их с причала, и очередной плот уносил в море. Чем больше она пила, тем страшнее было похмелье. В страхе перед похмельем она продолжала пить, и тогда похмелье бывало еще страшнее. Но самое страшное, что она никак не могла выбраться из этого заколдованного круга.

Раньше я надеялся — может быть, все-таки... Но в один прекрасный день понял, что надеяться глупо. Не видя выхода, она гонит себя по кругу, по кривой, и чем дальше, тем быстрее, пока наконец... Пока не наступит момент, когда... когда она умрет так же паскудно, как жила. Надо быть идиотом, чтобы этого не понимать.

Когда мамахен принималась пить, она для меня переставала существовать. Звучит жестоко, не правда ли? Но не станешь же спорить с вешалкой или договариваться о чем-то с раковой.

Я зашел в кухню, поставил на плиту чайник, вернулся к себе. Вытянул руку, нащупал на полке раскрытую пачку с сахаром и кусок засохшего сыра. Пошарил еще, надеясь на чудо, но больше ничего не нашел.

«Поест надо сегодня купить», — решил я, так как и в кладовке с позавчерашнего дня было пусто, хоть шаром покати.

Иногда я сам себе покупал еду. Во всяком случае, сахар, масло, колбаса и подобные «деликатесы» в нашем доме водились редко. Чрезвычайно редко. А есть-то всем охота. И тем субчикам в хламах и мамашиним подружкам, которые, улыбаясь во весь рот металлическими зубами, жарили на кухне картошку или тушили кислую капусту.

Подойдя к зеркалу, я несколько раз провел расческой по волосам. Вообще-то пустая трата времени — старайся не старайся, вид все равно взерошенный, словно я только что вылез из берлоги. Впрочем, труда это не составило, тем более что и зеркало есть, и расческа. К тому же расческу — не расческу, — а самые настоящие грабли подарили мне одноклассники, большие поклонники юмора.

Вода вскипела, и я налил себе чаю.

Да, когда мать пила, она для меня переставала существовать не только как мыслящее, но и как живое существо. Я воспринимал ее как вешалку, а то и как кухонную раковину. Нет, я не циник. Скорее, я унижаю ни в чем не повинные и полезные вещи. Ни вешалка, ни раковина ведь не хватают вас за рукав и не бормочут что-то несурзное, брызгая в лицо слюной. Они не взламывают вашу дверь, когда вы, дрожа от страха, забились в угол дивана. Они не взламывают дверь, чтобы сказать, какой вы чудный маленький мальчик. Всего-то — что вы чудный маленький мальчик. И именно поэтому вам надо немедленно выйти поговорить с тетями и дядями. Но они не разговаривают. Они зовут меня, чтобы поразвлекаться, задавая идиотские вопросы и изрыгая грубости. И буквально давятся от смеха!

Когда я учился в седьмом классе, они как-то сунули мне в руку стакан с вином. Желтая жидкость выплескивалась через край. Пальцы стали мокрыми, липкими. Я стоял посреди комнаты, держа стакан в вытянутой руке, словно это было гнилое яблоко, а они толпились вокруг, гоготали, корчась от смеха и кривляясь.

«А ну давай! Пей! Винчик что надо. Пей, тебе говорят!»

Дыхание их было омерзительно. Меня затошнило, и я разжал пальцы, чтобы стакан упал на пол. Но он не разбился. Упал и закатился под кровать. Воцарилась тишина. Казалось, компания полусумасшедших алкоголиков вот-вот разорвет меня на части. Не помню, как я оказался в коридоре. Влетел в кухню, схватил нож и крикнул, что пырну в живот первого же, кто ко мне приблизится. Похоже, со стороны это выглядело впечатляюще. Похоже, они поверили, что я действительно пырну первого же, кто подойдет. И я бы на самом деле это сделал, и кажется, столько-то они сообразили.

Так, с ножом в руке, я отступил в свою комнату. Захлоп-

нул дверь, повернул ключ в замке и, почувствовав себя на своих восьми метрах в безопасности, спиной повалился на диван. Замер как кролик и тупо уставился в окно. Лежал, пока под потолком не сгустился мрак. Плотный, тяжелый, он заботливо укутал меня, оберегая от опасности.

С тех пор я перестал их бояться. И они оставили меня в покое.

А потом уже, когда пьяные крики начинали действовать мне на нервы, я спокойно входил к матери в комнату и советовал убавить звук, иначе им придется иметь дело с милицией.

«Видишь, Мирдза, какой бандит растет», — обычно слышал я вслед, но меня это ничуть не трогало.

«Еще чего, этот мальчишка учить нас собрался!»

«Арманд, выйди вон!»

«Так он тебе и уйдет! Совсем эти شماкадявки распустились. В открытую взрослым перечят. Гляди, как бы не пришибли».

Все это я пропускал мимо ушей, так как знал — стоит мне закрыть дверь, они и в самом деле притихнут, и это было самое смешное.

Происходило это года четыре назад.

Когда я учился в старших классах, синюхи уже не осмеливались мне перечить. Чисто физически мои акции росли с каждым днем, а их — падали. И еще. Их просто-напросто убил тот факт, что я не пью. Ни глотка. Постичь это они не могли, а непонятное всегда внушает беспокойство, страх, например, всякие там марсиане, летающие тарелки, заросшие кладбища, белые дамы и рассказы о привидениях. Возможно, они считали, что у сына Мирдзы с головой не все в порядке. Тихий, тихий, да поди знай, что у него на уме, от такого лучше держаться подальше. Умора просто! Настало время, когда мамашины знакомые при виде меня стали заискивающе улыбаться и, вежливо здороваясь, отводили глаза. Настало время, когда я мог бы этих трухлявых мужичков и истеричных старух спустить с лестницы. Только какой в этом смысл? Они все равно станут карабкаться наверх, а работать швейцаром в собственной квартире меня что-то не тянет.

Я налил чаю в коричневую керамическую кружку и торопливо стал прихлебывать, закусывая сухим сыром. Есть мне не хотелось, но я знал — через пару часов захочется. Как пить дать. Поэтому я еще раз самым тщательным образом обшарил кладовку и шкафчики, но ничего, кроме обгрызанного печенья, не нашел.

Схватив пластмассовый мешок с тетрадами, я выскочил в коридор и тут вдруг вспомнил о сестре. Когда мы виделись в последний раз — примерно с неделю назад, — у Гуниты была сломана рука. По локоть в гипсе, рука висела на марлевой повязке. Шла, мол, по улице, упала, вот теперь «на больничном». Я заметил, что повязка, на которой висела рука, расслабилась и к одежде прилипли белые нитки.

«Давай перевяжу», — предложил я.

«Не надо», — отказалась сестра, левой рукой поправляя марлевую повязку на шее.

Я вернулся, подергал за дверную ручку. Дверь не поддалась. Очевидно, обретається у своего очередного кавалера. Гунита тоже пила. Правда, с ней пока дела обстояли не столь плачевно. Я говорю — «пока», ибо это просто вопрос времени. Пройдут годы, и все ее довольно бойкие кавалеры превратятся в отвратительных типов. Но этих типов мне несколько не было жалко. Я жалел мать и сестру, которым ничем не мог помочь.

Гунита на двенадцать лет старше меня. То есть моя старшая сестра. А помочь своей старшей сестре я не могу, поэтому мне ничего другого не остается, как жалеть ее. И матери я не могу помочь, но ее-то и жалеть не очень хотелось, хотя для меня она всегда была и оставалась матерью. В свою очередь я в их глазах был и оставался мальчишкой, хотя и взрослым и вполне самостоятельным, но все-таки мальчишкой. Так вот и жили мы каждый своей жизнью.

Вскочив в троллейбус, я перестал об этом думать.

Передо мной, держась за поручень сиденья, стоял

мужчина и читал газету. Заглянув через его плечо, я прочел заголовок: «Стихийные катастрофы на планете».

Прочитав заголовок, прочел и остальное.

«Нью-Йорк. Ураган «Диана», почти неделю бушевавший в штатах Северная и Южная Каролина, по последним данным, разрушил около 400 жилых домов. Тысячи человек остались без крова. Линии электропередач не восстановлены. Во многих районах продолжается наводнение. По примерным подсчетам, материальный ущерб от урагана превысил шестьдесят семь миллионов долларов. Как сообщили представители Красного Креста, в штате Северная Каролина предполагается открыть три центра помощи пострадавшим».

Женева. От пожара сильно пострадал концертный зал «Viktorija Hall». Этот построенный в конце прошлого века концертный зал благодаря своей акустике пользовался большой популярностью у любителей музыки. Пожар, возникший в ночь с субботы на воскресенье, нанес большой ущерб потолку и сцене, уничтожил орган, второй по величине в Швейцарии.

Дакка. В последние два дня в различных районах Бангладеш во время наводнения, вызванного проливными дождями, погибло тридцать человек.

По сообщению газеты «Daily News», прервано наземное и воздушное сообщение с городом Силхет на северо-востоке Бангладеш. Несколько дней город жил без электроэнергии, не работал водопровод.

Во многих районах Дакки жизнь полностью парализована. Закрыто большинство учебных заведений, университет. Затоплены подземные коммуникации, нарушена телефонная связь».

«Вот это да, — удивился я, — пока я, развалясь на диване, читаю, например, «Прощай, оружие!» или преспокойно еду в школу в троллейбусе, думая о своем, на свете происходит черт-те что — ураганы, наводнения, пожары. Так все на свете можно prospать», — подумал я, представив, как американцы, натянув на уши лыжные шапочки, закутавшись поверх свитеров в одеяла, обвязав шеи шарфами, мерзнут в палаточных городках, а над разрушенными домами кружат полицейские вертолеты.

Фантазия у меня работает дьявольски хорошо. Что есть, то есть. Я видел автострады, превратившиеся в реки. На их берегах, словно щуки, лежат никелированные тачки. Бетонные столбы надвое, из стальных башен торчат электрические провода, а ветер знай себе треплет палатки, и мерзляки американцы все плотнее кутаются в свои одеяла.

В эту печальную картину ну никак не вписывались ракеты, лазерное оружие, нейтронные бомбы и военная угроза, о которых в последнее время не переставая трубили газеты и телепередачи. Непонятно, отчего это люди, жалкие и беспомощные перед катастрофами, любой ценой стремятся вызвать еще более ужасную катастрофу, придумывая и производя все новое и новое оружие. Одно другого страшнее. Честное слово, это один из самых величайших абсурдов на земле, если не самый величайший. Я с трудом мог это переварить. Что такое ураган по сравнению с ядерным взрывом! Раньше или позже ураган стихнет, тучи рассеются, и снова выглянет солнце. А вот ответить на вопрос, что будет освещать солнце на земле после атомного взрыва, даже ученые не могут.

Можно было, конечно, по этому поводу голову не ломать. Как будто у меня кто-нибудь совета спрашивал или я мог чем-то помочь. Но дело в том, что такие вот мрачные мысли посещали меня все чаще и чаще. Я даже обратил внимание, что просто так отмахнуться от них уже не могу, как удавалось раньше. Попробуй-ка не думать, если тебя со всех сторон бомбардируют самой мрачной информацией, рисуя довольно-таки бесперспективное будущее. Попробуй не думать, если ты к тому же еще знаешь, что через год и тебя самого призовут в армию. Пока, правда, все это звучало достаточно абстрактно. «Рядовой Юркис! Смирна-а!» Но ведь этот момент когда-то наступит. Мысль об этом меня не окрыляла. Унизительно сознавать свою беспомощность перед электронно-вычислительным мозгом, всевидящим космическим лазерным

глазом и всякими начиненными ядерными зарядами агрегатами. Что такое какая-то жалкая человеческая жизнь в игре, в которой задействованы миллионы.

Черт бы их побрал, этих милитаристов!

Я кисло улыбнулся, хотя улыбаться мне вовсе не хотелось. Что значили мои неприятности по сравнению с мировыми катастрофами? Мелочь! Песчинка! Ничего больше. Вот почему я кисло улыбнулся, хотя для смеха причин не было.

Когда троллейбус остановился, я вышел, не поблагодарив владельца газеты за информацию.

С тоской заглянул в расписание уроков. Почему-то в этот день было две математики и две химии. Накануне, например, было всего четыре урока. А в среду, вот так номер, сразу семь. Никакой логики. Похоже, учителя ничуть не лучше нас, тоже никак не очухаются после летнего отпуска. Вот и происходят всякие чудеса, и, как обычно в начале года, в школе царит умеренный хаос.

Да, в школе царил умеренный хаос.

В дверях я столкнулся с малышами из четвертого или пятого класса, они выносили грязные ведра и едва не обсыпали меня с ног до головы извесьтью.

— Эй, вы, поосторожнее! — крикнул я.

— Сам осторожней!

— Черт, толкают старших и еще огрызаются!

— Смотреть надо, дяденька! — бросил тот, что повыше.

— Я тебе покажу — смотреть!

— Шнобель! — крикнул кто-то за спиной, целя в мой нос, и вся компания прыснула.

Малыши, они еще не понимали, что шутка на грани правды никакая не шутка, поэтому, махнув рукой, я подумал: «Вот тебе и раз, малышня меня за дяденьку принимает», — и исчез в лабиринте школьных коридоров, вспомнив, что и сам в свое время с почтением и завистью смотрел на старших, не упуская при этом возможности посмеяться над верзилами. Смелости придавала уверенность, что ничего они тебе не сделают, даже если поймают, но все-таки страх какой-то был, и его надо было уметь скрывать.

Как обычно осенью, в школе пахло свежей краской, сырым мелом и хлоркой. Я знал, что к Новому году запахи эти выветрятся. А весной коридоры пропахнут грязными тряпками, которыми вытирают доски, истертым обувью линолеумом и пылью, пляшущей в солнечных лучах, заглядывающих в окна.

До звонка оставалось минут пять.

— Чего плетешься? — догнал меня на лестнице Райво.

— Чао! — сказал я, протягивая руку, и мы поздоровались.

— Что новенького? — спросил он.

Ответил, что надо читать газеты — в Америке ураган, в Швейцарии пожар, в Бангладеш наводнение.

— Не валяй дурака, — сказал Райво. — Я серьезно спрашиваю.

— Если серьезно, то ничего! — Я пожал плечами — что ответишь на такой идиотский вопрос, как, например, что нового? — А у тебя? — из приличия спросил в свою очередь я.

Похоже, он только этого и ждал.

— В воскресенье в Даугавпилсе соревнования. Вчера до двенадцати уродовался, карт доводил. Прибалдел, ты и не представляешь.

Ответил, что представляю.

— Утром проснулся, правой рукой шеvedьнуть не могу. — Мой ответ Райво проигнорировал. — Похоже, растянул. Зато, черт побери, мотор теперь ревет как бешеный. Вечером смену переднее шасси, завтра наведу блеск, в субботу за руль, и в Динабург.

Я промолчал, и Райво сменил тему.

— Ты знаешь, что у Индры сегодня день рождения?

Я кивнул головой.

— Полкласса пригласила. Знатная балеха намечается. Все-таки восемнадцать. Когда она меня приглашала,

я сразу сказал — вряд ли. Жаль, но ничего не поделаешь. Ты идешь?

Незамысловатый вопрос «Ты идешь?» вонзился в меня ровнехонько между третьим и четвертым ребром. И хотя первое, о чем я вспомнил, когда проснулся, был именно Индрин день рождения, вдруг выяснилось — меня на эти торжества не пригласили. Ни устно, ни письменно.

К счастью, мы вошли в кабинет химии. Вопрос повис в воздухе, а Райво не заметил, что с минуту рядом с ним по коридору ковылял смертельно раненный человек. Но главное в таких ситуациях — самообладание. Когда я швырнул на стол полиэтиленовый мешок с тетрадами, я уже слегка пришел в себя.

Лолита попросила тетрадь по математике.

— Там пусто, — ответил я.

— Ну и жадина! Еще и врет.

— Не дам. Не вижу, за что.

— Ну, Армандик, ну, Юркусик, ну, пожалуйста!

Вот зануда! Я швырнул ей тетрадь.

— Кто в воскресенье идет на «Янтарную «Волгу»? — крикнул за моей спиной Мартыньш.

— Какой первый?

— Химия.

Индры еще не было.

— А второй?

— Тоже химия.

— Сдурели они с этой химией, что ли?

— С самого начала перекрывают кислород.

— Дыши через нос! И потихоньку, медленно.

— Сане сказала... (Сане — это наша химичка.) Сане сказала, что сегодня будет спрашивать по-настоящему, — щebetала маленькая Илона. — А я ну ничегошеньки не знаю. Ужас!

— Ну и что? Нашла из-за чего волноваться. Никто ничего не знает, — пробасил Агрис.

— Последний раз спрашиваю — кто в воскресенье идет на «Янтарную «Волгу»?

Зазвенел звонок.

Индра все еще не появлялась. Не в ее правилах было опаздывать, поэтому я немного нервничал. Глаза словно магнитом притягивало к дверям, в которых вместе со звонком появилась Сане, а не Индра.

Начался урок.

Да, Индра, конечно, была человеком сознательным. Таких по-настоящему сознательных в классе было мало. Просто удивительно, как в одном месте могла подобраться такая разношерстная публика. Каждого в первую очередь интересовала собственная персона, и настоящего коллектива в классе не было. Года два назад это нас почему-то страшно волновало. Мы проводили собрания, оставались после уроков, судили-рядили, черт знает до чего договаривались. Волосы вставали дыбом. Ссорились, а на следующем собрании официально мирились. Наш секретарь Мара Арая демонстрировала неистощимую фантазию, сочиняя все новые и новые варианты фраз, ключевым словом в которых было слово «коллектив», например, «Твой вклад в копилку коллектива», «Чувство дружеского плеча — фундамент классного коллектива», «Роль коллектива в жизни». Собрания происходили каждый месяц, но мы в своих стараниях не продвинулись вперед ни на шаг. Потом темы собраний стали лаконичнее, конкретнее. «Ты и коллектив». «О взаимопонимании в коллективе». И наконец: «Почему в нашем классе нет коллектива?»

Тогда Мартыньш, кажется это был Мартыньш, сказал: «И что мы попусту языками чешем? Такой коллектив, сякой коллектив... Ну нет его, этого коллектива — и баста. Насильно мил не будешь».

Помню, Мара Арая сначала пыталась призвать Мартыньша к порядку, но когда его поддержали и другие ребята, с плачем выбежала из класса. Наши усилия создать коллектив рухнули и реставрации не поддавались.

Из нашего восьмого в девятый пошли немногие, к нам присоединились ребята из параллельных классов, из других школ. Вполне возможно, мы всерьез хотели создать

коллектив, сплоченный, замечательный, но Мартыньш оказался прав — искусственно создать его было невозможно, тем более разводя тары-бары на собраниях.

Спустя некоторое время наша классная, Рита Петровна Сунья, которую за глаза мы звали Мамусей, принялась утверждать, что все мы чуть ли не вундеркинды, что такого класса у нее еще не было, что каждый из нас колоссальная личность и все такое прочее. Все это она декламировала своим низким грудным голосом, каким обычно говорила на школьных мероприятиях.

На мой взгляд, класс страдал от перебора подобных личностей, вот и не складывался коллектив. Но Рита Петровна думала иначе. Вполне возможно, что коллектив уже сформировался, только мы пока этого не ощущаем, ибо он дремлет под грузом повседневности, не имея возможности проявить себя. Силу его мы почувствуем, когда произойдет нечто чрезвычайное, когда неожиданно мы сбросим этот груз повседневности, а может быть, накануне выпускных экзаменов.

Получается, зря страдали. Зря проводили собрания, говорили, спорили, переживали. Все, оказывается, тип-топ! Все обстоит именно так, как и должно быть. Лучшего и желать нечего. Так считала Мамуса. А нам не оставалось ничего другого, как вооружиться терпением и ждать, ждать. Что ж, и на том спасибо!

Потом уж ребята, особенно перед контрольными, потешались: «Чрезвычайные ситуации приходят и уходят, а коллектив спит, как спал. Есть подозрения, что он впал в летаргический сон».

Кто-то собирался будить. Кто-то сказал, что не стоит будить раньше времени, хлопот не оберешься. Но скоро эти плоские шуточки надоели.

Происходило это, когда мы учились в девятом. В одиннадцатом все это для нас стало уже далеким прошлым. Теперь мы разделились на два лагеря. На энтузиастов и равнодушных. Энтузиасты в свою очередь делились на сознательных, запрограммированных и легкомысленных. Равнодушные никак не подразделялись, поскольку были равнодушными. Они обычно говорили: «С ним нет смысла разговаривать, он энтузиаст». Или: «Да что от этого энтузиаста ждать».

Слово «энтузиаст» обычно произносили с ехидцей, презрительно. Слово это был бог весть какой недостаток. Скорее всего, за этим презрением кое-кто сам скрывал свои недостатки.

Образцом сознательного энтузиаста по прошествии времени стал Райво. Со своими тренировками, гокартами и соревнованиями. Хотя он скорее был не энтузиастом, а фанатиком. Как и Мара Арая. Сколачивала, сколачивала целый год коллектив, а когда не получилось, стала активисткой комсомольского комитета школы.

К запрограммированным энтузиастам относились те, чье будущее ковали родители, всесторонне развивая их способности: с детства водили в разные кружки, коллективы, студии и секции. Запрограммированных энтузиастов год от года становилось все меньше. Не оправдавшие родительских надежд или разочаровавшиеся в себе облегченно вздыхали, бросали избранные для них родителями занятия и, как правило, примыкали к равнодушным, реже — к легкомысленным энтузиастам.

Насколько мне известно, только малышка Илона, пытаюсь угодить маме, все еще брэнчала на пианино да Дидзис ходил на плавань, поскольку фатер его вбил себе в голову, что сделает сына олимпийским чемпионом. Бедняга так выматывался на тренировках, что на уроках попросту засыпал. Намертво отключался. Подопрет голову ладонями и храпит. Несчастная жертва, принесенная на алтарь большого спорта. Приходилось толкать его в спину каждый раз, когда училка замирала, услышав храп. Разбуженный, великий спортсмен под два метра ростом тарачил сонные глаза и в такие минуты выглядел сущим младенцем.

Большинство в классе составляли легкомысленные энтузиасты. Их главные интересы были сосредоточены на музыке, актерам, фильмах, спорте или на чем-нибудь еще.

В общепринятом смысле эти интересы, без сомнения, большой пользы не приносили. Активной деятельности не способствовали. Однако формировали активное отношение к информации. Чуть не каждый легкомысленный энтузиаст гордился капитальными знаниями в избранной им области. И может быть, именно поэтому какой-то смысл во всем этом был.

Я тоже относился к разряду легкомысленных энтузиастов. С удовольствием не принадлежал бы ни к одной из этих групп, но меня интересовала «первая формула» и все, что с ней связано. Исключительно поэтому при помощи словаря я научился переводить с чешского, польского и немецкого. Не говоря уж об английском.

Равнодушных в классе было немного, но определить их можно было с первого взгляда. По облику, одежде, манере разговаривать. У них были излюбленные словечки, которые они произносили сквозь зубы, словно жевали жвачку: «Ну и что? Подумаешь, невидаль! Туфта! Скука смертная!»

Еще они утверждали, что близится нулевая точка, что цивилизация сама себя уничтожит, а сами при этом шастали по дискотекам, проводили время в кафе, а назавтра обсуждали вчерашние события.

Выглядело это примерно так:

«Слышь, кайфово вчера было, а в общем ничего особенного».

«Мы тоже кисли, кисли, пока совсем не скисли».

«Мои предки опять взорвались. Пришел, видите ли, в половине двенадцатого. Ну и что? По мне, так пошли они куда подальше».

«Да черт с ними. Какое им дело, во сколько ты приходишь».

«Чушь все это».

«Ясно, чушь».

Заключительные фразы о том, что все чушь, что все бессмысленно, как бы удостоверляли существование тайного сговора между ними. Тоже мне масоны! Ложа П-2. Нет, серьезно! Тех, кого они считали ниже себя, они просто-напросто игнорировали. К незнакомым относились скептически, в свою компанию принимали неохотно. Притворялись, что все им до лампочки. К тому же зверски гордились выдуманной ими же элитарностью, прямо пыжились от гордости.

Больше всего мне действовало на нервы, когда и девочки, пытаясь подражать ребятам, повторяли: «Ясно, что все чушь!» Или что-нибудь в этом роде. Прямо тошнить начинало. Конечно, можно было и не слушать. Никто ведь не заставлял.

Агрис, который в один прекрасный день явился в школу с крашеной челкой, чем довел классную чуть не до инфаркта, повторил:

«Каждый живет, как хочет и как может. Остальным до этого нет никакого дела».

И то, что многие на его вид не обратили внимания, говорило о том, что в общем и целом он прав.

А вот Индра не вписывалась ни в одну из этих групп. Она была такой сознательной, что просто страшно делалось. По-настоящему, ни капли не рисуясь, ни капли не притворяясь.

В то утро малышка Илона волновалась напрасно. На первом уроке Сане нас не терзала. Правда, на следующем ради приличия выставила несколько отметок. Пару пятерок, несколько четверок и одну тройку. Тройка досталась мне. Честное слово, я не мог сосредоточиться.

Индра появилась после второго урока.

— Поздравляю с днем рождения! — сказал я.

— Спасибо!

— Бастуешь? — спросил я, стараясь, чтобы вопрос прозвучал не слишком иронично.

— Нет, — ответила она и замолчала, и я знал — раз так, дальше спрашивать бесполезно.

За весь урок мы не обмолвились больше ни словом.

На одной парте мы сидели с шестого класса. Много за эти годы я забыл, многое, безусловно, забуду, но всю жизнь буду помнить, как она первого сентября, пригладив

ладошкой светлые короткие волосы (как раз такие были в моде), подошла ко мне и сказала, что хочет сидеть со мной. Разговаривая, Индра слегка откидывала голову, и я впервые в жизни увидел так близко глаза незнакомой девочки. Серо-голубые с коричневыми крапинками и черными зрачками, в упор глядящие на меня.

«Ты?» — Я скорчил гримасу, обычную для шестиклассника, который чувствует себя смущенным.

«Да, я!» — ответила она с каким-то даже вызовом.

«С чего бы?» — выдохнул я совсем уж ошарашенно, ибо в этом возрасте отношения между мальчиками и девочками бывают обычно очень сдержанными.

Индра стояла у меня на пути. Обойти ее было невозможно. А отступить было стыдно.

«Почему?» — повторил я уже сердито.

«Просто так. Хочется, и все. Боишься?»

«Ничуть. — Не хватало еще, чтобы я боялся! — Мне все равно», — сказал я.

Вот так я сел рядом с ней. Вернее, она села рядом со мной. Или мы сели рядом за одну парту. В конце концов, какая разница. Главное, с тех пор мы сидели вместе. Пять лет за одной партой.

Не стану утверждать, что мы тут же стали друзьями. Вначале парта, за которой мы сидели, напоминала огромный айсберг в океане. И оба мы жили на нем, не догадываясь о теплых течениях, которые когда-нибудь неминуемо растопят ледяную гору. Обходились стандартным набором: «Какой урок? Что задано? Затлере сказала — будем писать сочинение. Ужас, я ничего не знаю! Я тоже. Ты сделал английский? Да. Дай списать! Возьми. Сень-каю», — и если не считать вариаций на темы этих фраз, ни о чем другом в сущности не говорили. Мы лениво перебрасывались словами и фразами, не огорчаясь, если попадали в аут, или пропускали передачу, или со всей силы посылали мяч в воздух, и он куда-то падал, и отыскать его мы не могли. Подумаешь, важное дело! Тогда мы не знали, что со временем чуть не каждое слово будет казаться нам важным. Как не знали и того, что тем, кто избрал нас в качестве мишени для шуток, все это в конце концов надоест и они сами сядут с девочками.

А вначале, ого, как вначале над нами смеялись. Спрашивали — когда поженимся? Пригласим ли на свадьбу? Называли не иначе, как молодоженами. Ребячество, ведь правда?

Ну да мне что. Я больше молчал. Таких, как я, считают толстокожими. Никто ведь не видит, что делается у них в душе. Поэтому меня дразнить было неинтересно. Зато Индра за словом в карман не лезла.

«Ты, Мартыньш, просто завидуешь! — ехидно говорила она. — Завидуешь потому, что с тобой рядом я бы ни за какие деньги никогда в жизни не села».

«Ничего не завидую».

«Завидуешь! Знаю, что завидуешь».

«Верно! У меня ж вместо носа не огурец, как у твоего Арманда».

Тут кто-нибудь обязательно вставлял, что большой нос свидетельствует о высокоразвитой сексуальности, и я знал, что сейчас начнется на всю катушку.

«Болваны! — сердито шипела Индра. — Нечего произносить слова, смысл которых вам неизвестен».

«Кому это неизвестен? Нам?»

«Вам, вам, вам...»

«Так поясни!»

«Заткнитесь! Меня от вас тошнит!»

Но Мартыньш и все остальные только того и ждали и громкими ломающими голосами, перебивая друг друга, принимались кричать:

«Объясни, если ты такая умная! Ну, объясни! Расскажи! Мы, дурачки, хотим знать. Интересно, что означает это слово?»

«Молокососы».

«Кисейная барышня».

«Сосунки».

«Как это там — сек-су-аль-ность?»

«Они придурки. Перестань!» — сказал я.

Но Индра хватала книгу и швыряла не глядя. А потом принималась колотить по головам, спицам, плечам, словно прихлопывала мух или комаров. Из пиджаков взвивалась белая от мела пыль, а она знай себе молотила до тех пор, пока ребята, втянув головы в плечи, не бросались враспынную.

«Дура, еще убьешь... С полоумными надо осторожней. Видишь, до чего чрезмерный секс доводит. Братцы, хана глазу! Теперь-то я точно ослепну».

Взъерошенная и запыхавшаяся, Индра садилась на место. Зла она бывала до чертиков. Казалось, скажи я хоть слово, она и меня стукнет. Так что я предпочитал молчать.

В седьмом классе мы начали дружить. Нечего хихикать! Нет в моих словах никакого подтекста. Просто мы начали больше интересоваться друг другом и не скрывали этого. Она хотела стать учительницей. Детская, наивная мечта, которая, как ни странно, со временем только укрепилась. Ее ужасало мое полное равнодушие к будущему, и она довольно простодушно пыталась пробудить мой интерес, например, к математике или физике, поскольку эти предметы давались мне чертовски легко. Я вообще учился прилично. Седьмой класс закончил всего с одной тройкой.

В восьмом, на выпускном вечере, я танцевал только с Индрой. Сначала мы сидели рядом во время торжественного акта. У нее на коленях лежала целая охапка цветов. Я добавил к ней свои три гвоздики и две розы. Индра стала отказываться. Сказала, чтобы я не валял дурака. Но я сказал, что все равно домой их не понесу, они к тому времени все равно завянут. В конце концов она цветы взяла, но я так долго мусолил их в ладонях, что вид у них был довольно-таки плачевный. Потом мы сидели в полутемном зале, держась за руки. Когда заиграла музыка, пошли танцевать. Танцевали, пока не выбились из сил. Сели и молча сидели, не разнимая рук. Не помню, о чем я в тот момент думал. Помню только — по стенам мелькали разноцветные блики, из динамиков неслась музыка, и на всем белом свете для меня существовала только рука Индры в моей руке и она сама рядом. Потом и Индра призналась, что испытывала то же самое.

Если откровенно, в средней школе я остался из-за Индры. Вначале решил, что пойду в профтехучилище, стану краснодеревщиком, потом — что буду поступать в электромеханический техникум (Индра считала, что для меня это наиболее подходящий вариант), однако когда надо было принять окончательное решение, я отчетливо понял, что не испытываю ни малейшей тяги приобретать эти специальности. Что поделаешь, если ни то, ни другое меня не привлекало? Идти только потому, что надо куда-то идти? Полный идиотизм. Считайте меня человеком незрелым (каковым я и был в действительности), который не знает, чего в общем-то хочет, но уж не столь легкомысленным (и таковым я действительно не был), чтобы совершить подобную глупость. В итоге я никуда не пошел.

Я уже говорил — учился я неплохо. К тому же еще три года я мог сидеть рядом с Индрой. Может быть, как раз потому, что я вообще не хотел выбирать, я ничего другого не выбрал.

Индра сказала:

«Тебе будет трудно».

Понимая, о чем она думает, я ответил:

«Ничего. Вывернусь».

Ясно, что гораздо разумней для меня было поступить в училище или в техникум. Но тогда разумных поступков с моей стороны нечего было и ждать. Да меня это ничуть и не волновало. К тому же мать пошла работать. Будущее мне виделось в розовом свете, вернее, я не очень-то и задумывался о будущем, что иногда одно и то же. Я не догадывался, что со временем пребывание в средней школе превратится для меня в проблему. И вот он настал, этот момент, осень тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года...

— Нет, — ответила Индра, когда я спросил ее, уж не сачкует ли она. И замолчала, а мне не хотелось ее ни о чем расспрашивать, поэтому весь урок математики мы просидели молча.

Хорошо хоть от меня отцепился Балиньш, которого мы прозвали Трапецией (с тройным «р») и который в одиннадцатом классе нас так дрессировал, словно все мы готовились поступать на физмат. А то — голову даю на отсечение — опять мне грозила бы тройка, а то и двойка, так как я никак не мог войти в общий ритм. Я что-то записывал, зачеркивал, смотрел на доску, видел, с каким удрученным видом садится на свое место получивший неуд, как сквозь увеличительное стекло видел Балиньша, который, прицеливаясь, выискивал очередную жертву в классном журнале.

Двойки сыпались как из рога изобилия. И я сделал вывод, что с возрастом нервы у Балиньша сдают все заметнее. Впрочем, может, он и в самом деле надеялся сделать из нас первоклассных математиков? Вот умора! Во всяком случае, ко мне это не относилось. В моей голове в тот день царил потрясающий сумбур. Глаза машинально следили за происходящим в классе. Рука тоже двигалась сама собой. Я же был где-то далеко-далеко. Так далеко, что и сам не понимал, где. Вполне возможно, пытался разобраться в сумбуре, который царил в моей голове, навести там хоть мало-мальский порядок, чтобы найти ответ на вопросы, которые не давали мне покоя. Во-первых, почему Индра даже не намекнула про свой день рождения, не говоря уж о том, что не пригласила? Во-вторых, почему пригласила остальных и забыла про меня? В-третьих, где она была утром, почему ведет себя так странно и что с ней в последнее время происходит? А в том, что с ней что-то происходит, я был абсолютно уверен. Не понимал только, что.

Раньше мы ничего друг от друга не скрывали. Но однажды летом мне вдруг показалось, что она стала от меня что-то скрывать. Ну вот, когда я так подумал, мне неожиданно привиделось, что мы с ней стоим на холме, сейчас вечер, хоть и теплый, но уже осень, а мы стоим и смотрим на туман, который медленно спускается вокруг нас. Сгущается и поднимается вверх. Плотный, холодный. Сначала появились еле заметные, прозрачные прядки, потом они стали подниматься все выше, и чем выше поднимался туман, тем плотнее он становился и наконец закрыл всю окрестность. Мы стоим и смотрим, как туман наползает на нас, потому что сами выше подняться не можем, стоим и знаем, что скоро и мы скроемся в тумане. Он окутает нас, обнимет, напоминая, что настала пора спускаться. Но внизу туман еще плотнее, еще холоднее. Спускаясь, обязательно надо держаться за руки, иначе мы можем потерять друг друга. Я боюсь потерять Индру. Хочу взять ее за руку, но в тумане, который спрятал нас, не могу ее отыскать. «Не надо, — сказала Индра, когда я наклонился, чтобы ее поцеловать. — Не надо».

До первого сентября оставалось несколько дней. Мы не виделись почти месяц. И я решил зайти к Индре. Мы сидели в ее комнате, слушали музыку.

«Не надо, — сказала Индра, когда я наклонился, чтобы ее поцеловать. — Не надо!»

«Почему?» — Я даже отпрянул от неожиданности.

«А вдруг кто-нибудь зайдет».

Эти слова буквально лишили меня дара речи, потому что раньше ее это не волновало.

Предки у Индры были люди вполне нормальные. Обычно в наши дела не вмешивались. Когда мы были поменьше, иногда заглядывали в комнату, интересовались, чем занимаемся, но тогда мне и в голову не приходило поцеловать Индру.

Когда я в первый раз пришел к Индре, ее четырехкомнатная квартира меня просто оглушила. И мебель, и полки с книгами, и цветной телевизор, и убийственная чистота и порядок. Ну и испугался я! Как вспомню, прямо смех разбирает. Честное слово, не представлял, как они могут там жить. Я шагал, как цапля, высоко поднимая ноги, стараясь не ступить на ковер, и, шуря глазами, вдыхал ароматы, доносившиеся из кухни. Все было чертовски красиво, и именно поэтому в голову назойливо лезли мысли о моей собственной квартире, куда после школы меня совсем не тянуло, потому что мать меня не ждала и в ней

не было абсолютно ничего красивого, разве что обвисшие обои с большими красными розами. Я понял, что Индру в гости не позову. И не звал. Правда, в десятом классе ей вдруг приспичило посмотреть, где и как я живу, и она пристала, чтобы я сводил ее к себе домой. На всякий случай я включил аварийный тормоз, сказав, что это мой дом, а не цирк, куда можно сводить, и она покраснела.

«Прости! Я не хотела тебя обидеть. Круглая идиотка! Прости, пожалуйста!»

«Не за что. Не за что».

Индринина мама обычно интересовалась, как мои дела, что нового, и могу поспорить, интересовалась не из праздного любопытства. Как раз любопытством она не страдала. И мне иногда казалось, что раз мы друзья с Индрой, значит, мы друзья и с ее мамой. Как-то зашел разговор о том, кто чем увлекается, и я неожиданно для себя рассказал, что мое хобби — «первая формула». Хотите верить, хотите нет, но вскоре она уже была в курсе всего, что касалось «первой формулы», хотя могу поспорить, раньше о ней не слышала.

В то время лучшей командой считалась «Ferrari». Индринина мама, смеясь, сказала, что из надежного источника узнала — самые большие шансы на победу у «Williams». И тогда чемпионом действительно стал Росберг. Спустя некоторое время она мне подарила два номера журнала «Rallye Racing». Понятия не имею, где она их выкопала.

Да, ощущение, что мы друзья и с Индриной мамой, меня поначалу смущало. Потом, правда, я перестал обращать на это внимание.

А вот отец Индры безусловно был скучный тип.

«Жаль, что вы, молодой человек, не играете в шахматы, — непременно добавлял он после обязательного вопроса о школьных успехах. — Я слышал, что вам легко дается математика. Это говорит о том, что у вас развито аналитическое мышление. Вы обязательно должны заняться шахматами. Если вы не возражаете, я могу преподавать вам начальный курс».

«Арманд не хочет играть в шахматы», — кинула мне Индра спасательный круг.

«Но шахматы — это и спорт, и наука, и искусство в то же время».

«Арманд не желает быть одновременно спортсменом, ученым и художником. И вообще, папа, твои тысячелетней давности дебюты не могут увлечь современную молодежь».

«Однако семь нот современную молодежь покорили, хотя они гораздо старше шахмат».

«Музыка — это совсем другое».

«Нет, музыка — то же самое. Вещей, над которыми не властно время, на свете существует гораздо больше, чем мы думаем».

Учитывая, что шахматы меня не интересовали, в длинные беседы с Индриным отцом я не вступал. Они продолжались ровно столько, сколько того требовали приличия: добрый день, спасибо, да, нет, до свидания.

В восьмом классе мы стали развлекаться поцелуями. Первый раз мы поцеловались на лестнице, когда вечером возвращались из кино.

Я проводил Индру до дверей квартиры, сказал: «Чао!» и собрался уже сматывать удочки, как вдруг за спиной услышал шепот: «Подожди! Вернись! Поцелуй меня!»

Индра произнесла эти слова как приказ. Пораженный, я оглянулся. Она стояла, держась за дверную ручку и вытянув вперед сложенные трубочкой губы. Честное слово, будто собиралась свистеть. Я потоптался, потом наклонился и чмокнул ее куда-то между носом и губами, потом уже, успокоившись, поцеловал по-настоящему. Индра ничего не сказала. Только тряхнула головой, будто отгоняя неприятные мысли, и так резко рванула дверь, что я чуть не набил себе шишку.

«Что с тобой случилось?» — спросил я ее, когда три года спустя мы сидели у нее в комнате, слушали музыку и до первого сентября оставалось несколько дней.

«Ничего», — ответила она.

«Не обманывай! Я вижу...»

«Совершенно ничего не случилось, — перебила меня Индра. — Успокойся!»

Но я-то видел, что с ней что-то происходит.

Когда я рассказывал о новом диске группы «Queen» «The Works», который недавно мне довелось слушать, она смотрела поверх моего плеча, смотрела так, словно за моей спиной кто-то стоял, и я был уверен, что она меня не слышит. Я встал, собираясь уйти. Но ей и в голову не пришло меня удерживать. Хотя бы ради приличия.

Вот поэтому на уроке математики, разбираясь в хаосе, который царил в моей голове, я отверг элемент случайности. Отверг предположение, что она забыла меня пригласить. Это на нее не похоже. Попытался вспомнить, может быть, мы уже раньше говорили о дне рождения. Может быть, она упомянула об этом невзначай, пригласила меня, а я по своей рассеянности забыл. Но зря я копался в памяти. Ничего подобного припомнить не смог. Оставалась последняя, третья версия. Может быть, Индра считала, что мы настолько хорошо знакомы, что можно обойтись без церемоний, то есть чужих она пригласила, а со мной и так все ясно. Это в ее стиле. Я вцепился в третий вариант обеими руками, ибо про четвертый думать не хотелось. Мы же не сорились, зачем сразу предполагать худшее? Может, ничего особенного и нет. Может, в тот момент, когда я рассказывал о новом диске «Queen», у нее просто было плохое настроение, вот она и задумалась, вот и смотрела пустым взглядом через мое плечо и меня не слушала. Ведь может же у человека быть плохое настроение? Может. А все остальное плод моего больного воображения.

Прозвенел звонок с урока. Ясности по-прежнему не было, но я по крайней мере немного успокоился. Сложил тетради, собрался было пойти обедать, но тут вдруг Индра спросила, почему я такой сердитый. Это тоже было в ее стиле.

Вот уж обхохочешься! Ты мозги выворачиваешь, пытаешься понять эту девушку, а она спокойненько этак спрашивает:

— Ты почему сегодня такой сердитый?

Я улыбнулся.

— Ничего я не сердитый.

— Сердитый. На филина похож. Сердитый как суч.

И тут меня отпустило. Ни с того ни с сего захотелось вдруг засмеяться.

А Мартыньш все еще сколачивал компанию болельщиков.

— Придем пораньше, зайдем места на трибунах. Там и пиво продают. Нас уже шестеро. Кто еще?

— Фанат! — прокомментировал Райво. — Ну и фанат!

— Так в чем дело, едем в Даугавпилс!

— Э, нет, сам дуй в свой Даугавпилс! С тобой связываться опасно. Опять заставишь железяки тягать, как тогда в Бикерниеках. И мы с Эджусом таскали, как дураки. Грыжу заработали.

— Где ты была утром? — спросил я Индру.

— Тссс! — прошептала она и приложила к губам палец. — На телестудии. Только пока не болтай. Сюжет в «Мозаике»... Как тебе сказать... О будущей специальности, о работе... Словом, что думают сами ребята.

— Что за ребята? Наши?

— Да нет же! Пригласили из разных школ, тех, кто приблизительно знает, чем займется после одиннадцатого. О работе поговорили, о будущей профессии. Ну, сам понимаешь...

— А-а-а! — протянул я. — Ясно! — Хотя особой ясности не было. Махнув Индре, я помчался догонять тех, кто уже ушел обедать.

Индра осталась. Она в школе не обедала. Вообще-то не обедали многие. Одни считали, что кормят невкусно, другие, и таких было больше, за счет обеда пытались упрочить свое финансовое положение.

(Продолжение следует)

ТИМУР КИБИРОВ

ЖИЗНЬ К. У. ЧЕРНЕНКО

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПАСТУШОК

Константин Устинович Черненко родился 24 сентября 1911 года в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края, русский.

Член КПСС с 1931 года. Образование высшее — окончил педагогический институт и Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К. У. Черненко начал с ранних лет, работая по найму у кулаков.

«Агитатор» № 5, 1984

«Ах, ты, гаденыш, так?!» Огромной пятернею, покрытой рыжим волосом, схватив за ухо пастушка, Панкрат Акимыч другой рукою вожжи уж занес над худенькой, но гордою фигуркой... «Панкратушка, не надо!» — слабый голос раздался. — Милостивец, пощади! Дитя ведь неразумное, сиротка. Что хошь проси...» — «Уйди, старик, а то, час неровен, задену и тебя! Все вы, Черненки, шельмы и смутьяны! Вот я уряднику...» — «Акимыч, не губи! Ну, хочешь душу отвести — меня, меня уж лучше, старого...» Седой, как лунь, старик встал на колени, плача, перед мучителем. «Встань, дедушка! Не смей! Не унижайся!!» — «Ничего, внучок. Знать, так уж на роду написано...»

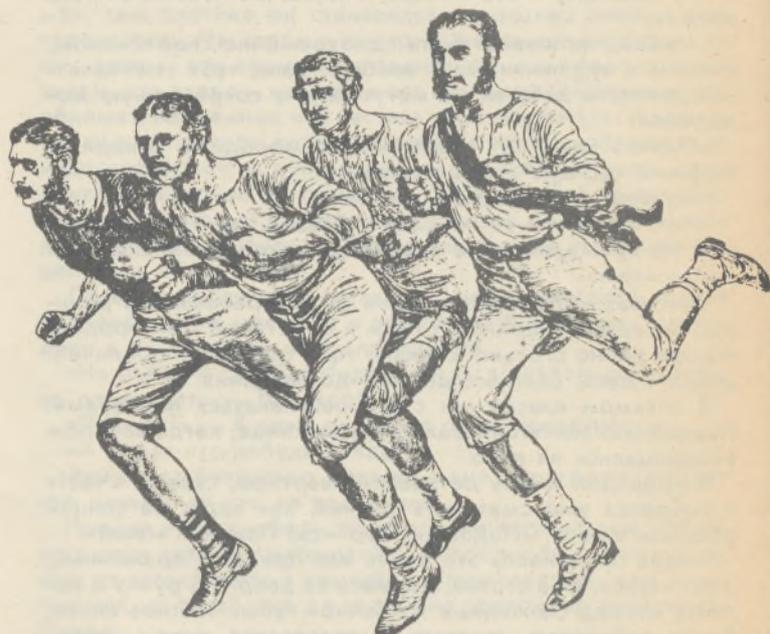
Ударом

смазного сапога отброшен наземь в густую жижу скотного двора, старик затих. Лишь струйка крови алой текла по седине. И прямо в небо, в бесстрастное, невнемлющее небо глаза смотрели — нет, не с укоризной, с каким-то детским удивленьем...

«Деда!

Родимый! — Костя, вырвавшись, припал к родной груди. — Ну, деда! Ну, родимый!»... Панкрат Акимыч, тяжело дыша сивушным перегаром, осовело глядел на дело ног своих... «Ты сволочь! Ты гад проклятый!» — слабенькой ручонкой вцепился Костя в бороду убийцы. Но был отброшен — раз, и два, и три! В слезах, в грязи, в крови... Но тут раздался спокойный голос: «Что тут происходит?» — «Тебе-то что? Ступай-ка стороной! А то очки-то и разбить недолго!» — «Молчать, кулак!» И браунинг направлен на брюхо необъятное в жилетке, и юноша в студенческой тужурке, но с красным бантом тою же вожжою ручищи крепко вяжет мироеду. А после, глядя Костю по головке, спокойно говорит: «Вот так-то, брат»...

И много лет спустя, уже в тридцатых, увлекшись самбо, Константин Устиныч, в критический момент, когда противник уже готов был бросить на лопатки его, всегда старался вспомнить запах сивушный, взгляд тупой и ощущение бессилья пред огромным кулаком. И ненависть ему давала силы не только устоять, но победить!



Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с руководящей работой в комсомольских, а затем в партийных органах. В 1929—1930 годах К. У. Черненко заведовал отделом пропаганды и агитации Новоселовского райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 году он пошел добровольцем в Красную Армию. До 1933 года служил в пограничных войсках, был секретарем партийной организации пограничной заставы.

«Агитатор» № 5, 1984

Благоухала ночь раздольным разнотравьем. «Прекрасный будет день!» — подумал он, сворачивая в сторону заставы... Он видел Млечный путь над головой и слышал пенье птиц ночных, и думал под гул мотора: «Интересно, как прошел смотр-конкурс?.. Надо бы назавтра собрать актив... Двадцатого субботник в подшефной школе... До чего ж некстати пришлось уехать мне, не вовремя, ей-богу! Но что тут будешь делать? Если впрямь у Пацюка дизентерия — шутки плохие — вся застава слечь могла... Дня через два подъехать надо в город и навестить его». Огромная луна плыла над ним, скрываясь в темной хвое и снова появляясь. Тишина в лесу царила, лишь ночная птица... Но тут он встрепенулся. Отчего ж так тихо? ведь уже видна застава! И нет перед казармой никого... Ему тревожно стало. Отгоняя непрошенные мысли, увеличил он скорость, и, подъехав к КПП, он торопливо соскочил с седла мотоциклета, по крыльцу протопал и бросился к дежурному: «Да что тут у вас в конце концов...» — и вдруг осекся, увидев два чужих раскосых глаза, уставленные на него в упор. И третий — круглый револьверный глаз. И, поднимая руки, он успел увидеть распростертого у стенки в нелепой позе старшину и провод оборванный. И дальше все случилось мгновенно — отработанным ударом ноги оружие выбить. И связать. В окошко разглядеть других. Спокойно пересчитать их — 25. Ползком пробраться под крыльцо. Лежать недвижно. И, улучив момент, с гранатой, с криком: «На землю, гады!» в комнату влететь и запереть десятерых в подвале. И, боль почувствовав в плече, ругнуться. Отстреливаясь и уже слабея, взбираться на чердак. «Ага, еще один готов! Врешь, сука, не возьмешь! Черненки не сдаются!» И отбросить наган ненужный, даже для себя последнего патрона не оставив. И, истекая кровью, отбиваться (успев подумать: «Вот как пригодились занятия самбо!»). И, уже теряя сознание, последнему врагу сдавить кадык предсмертной хваткой...

После

народ об этом песню сложит, но все перепутает и приплетет танкистов каких-то, и разведку... А летели те самураи наземь под напором простого партсекретаря.

После окончания службы в армии К. У. Черненко работал в Красноярском крае: заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселовского и Уярского райкомов партии, директором Красноярского краевого дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, секретарем Красноярского крайкома партии. С 1943 года К. У. Черненко учится в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б). По окончании учебы с 1945 года работает секретарем Пензенского обкома партии.

«Агитатор» № 5, 1984

«Ну, здравствуй, Костя, друг! Прости, что долго не отвечал — ей-богу, ни секунды свободной не было! Мы перешли всем фронтом в контрнаступление... Фрицы уж не те, что в сорок первом, — пачками сдаются. Но все же тяжко, Костя, ох, как тяжко, дружище... Я был ранен в рукопашной, и, честно говоря, когда б не ты, когда бы не твои уроки самбо, могло б и хуже кончиться... Послушай, ты что там мелихлюндию разводишь? Ну, что за глупость в голову ты вбил? И Сталин прав, что отчитал тебя (хотя, конечно, крут он, ох как крут!). Не стыдно ли такую дичь нести: «... я не могу смотреть в глаза детей и женщин!» Костя, милый, да пойми же — ты там в тылу для фронта сделал больше, чем тысяча бойцов! Да ты ли это?! Ведь это малодушие, пойми! Твой долг быть там, где ты всего нужнее для дела нашего! И все!..»

А помнишь, брат, как мы удили на Пахре в то лето? И ты еще учил меня варить уху двойную?.. Как же это было давно. Как в сказке... Как мне не хватает тебя сейчас! Ну ничего, Костяш! После войны мы первым делом в отпуск и к старикам моим! А там рыбалка такая, доложу тебе!.. Ну, ладно. Пора мне закругляться. Все. Уже артподготовка кончилась. Прощай! Жму крепко твою лапу. Не дури! Жене привет. Твой Ленька Брежнев». Тихо, задумчиво с письмом в руке сидел Черненко. Шел четвертый год войны.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

С 1977 года он — кандидат в члены Политбюро, а с 1978 года — член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. Депутат Верховного Совета СССР 7—10-го созывов. К. У. Черненко был членом советской делегации на международном Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.) . . .

«Агитатор» № 5, 1984.

«Вставай-ка, соня! Петушок пропел!»
Сон, уносящий нашего героя в былые дни, в спортзал, где проходили соревнования, прерван был шутивным приветствием. «Тьфу, черт! Уже 12! Как я заспался!» — «Да не мудрено! Легли-то мы под утро. Но зато каков доклад-то! Я перечитал его сейчас — и даже не поверил, что это мы с тобою сочинили. Ну уж теперь повернутся они!» — «Да, господину Форду нынче не позавидуешь!» — «Сам виноват!» — «Конечно. А все же жаль его . . .» — «Ну ладно, пожалел! Они бы нас не очень пожалели, будь воля их . . . А ну вставай, лентяй!» И Брежнев резко сдернул одеяло.
«Ну, Леня, не балуйся! Ну минутку дай полежать еще!» — «Вставай, вставай, засоня!»
И, слушай, помоги мне ради бога . . .» — «Что, снова галстук?!» — «Ничего смешного не вижу . . .» — «Эх, ты, Ленька, Ленька! Вот я не стану помогать, хорош ты будешь! То-то будет радость приятелям американцам. Что? Боишься, а?» — «Да ладно тебе, Костя. Типун тебе на длинный твой язык!» — «Ну, ну, я пошутил. Давай свой галстук. Учись, пока я жив!»



ГЛАВА ПЯТАЯ. РЕЧЬ ТОВАРИЩА К. У. ЧЕРНЕНКО НА ЮБИЛЕЙНОМ ПЛЕНУМЕ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 25 СЕНТЯБРЯ 1984 ГОДА

(По материалам журнала «Агитатор»)

Вот гул затих. Он вышел на подмости. Прокашлявшись, он начал: «Дорогие товарищи! Ваш пленум посвящен пятидесятилетию события значительного очень . . .» Михалков, склонясь к соседу, прошептал: «Прекрасно он выглядит. А все ходили слухи, что болен он». — «Тс-с-с! Дай послушать!» — «. . . съезда писателей советских, и сегодня на пройденный литературой путь мы смотрим с гордостью. Литературой, в которой отражение нашли XX столетия революционные преобразования!» Взорвался аплодисментами притихший зал. Проскурин неистовствовал. Слезы на глазах у Маркова стояли. А Гамзатов, забывшись, крикнул что-то по-аварски, но тут же перевел: «Ай, молодец!» Невольно улыбнувшись, Константин Устинович продолжил выступление. Он был в ударе. Мысль как никогда была свободна и упруга. «Дело, так начатое Горьким, Маяковским, Фадеевым и Шолоховым, ныне продолжили писатели, поэты . . .» И вновь аплодисменты. Евтушенко и тот был тронут и не смог сдержать наплыва чувств. А Кугультинов просто лишился чувств. Распутин позабыл на несколько мгновений о Байкале и бескорыстно радовался вместе с Нагибиным и Шукшиным. А рядом Берггольц и Инбер, как простые бабы, ревня ревели. Алигер, напротив, лишилась дара речи. «Ка-ка-ка . . .» — Рождественский никак не мог закончить. И сдержанно и благородно хлопал Давид Самойлов. Автор «Лонжюмо» платок бунтарский с шеи снял в экстазе, размахивая им над головой. «Му-му-му-му . . .» — все громче, громче, громче ревел Рождественский. И Симонов рыдал у Эренбурга на плече скупую солдатскою слезой. И Пастернак смотрел испуганно и улыбался робко — ведь не урод он, счастье сотен тысяч ему дороже. Вдохновенный Блок кричал в самозабвении: «Идите! Идите все! Идите за Урал!» А там и Пушкин! Там и Ломоносов! И Кантемир! И Данте! И Гомер! . . . Ну вот и все. Пора поставить точку и набело переписать . . . Прощай же, мой Константин Устинович! Два года, два года мы с тобою были вместе. Бессонные ночные вдохновенья я посвящал тебе. И ныне время проститься. Легкомысленная муза стремится к новому. Мне грустно, Константин Устинович. Но таковы законы литературы, о которой ты пред смертью говорил . . . Покойся с миром до радостного утра, милый прах.

1985 г.

ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕР

ЗНАКОМАЯ ДЕВЧОНКА

В ныне далеком уже 1936 году я окончил первый курс колледжа, завалив все пять экзаменов. Получи я только три двойки, меня бы вызвали к декану, и он посоветовал бы мне с осени продолжать учебу в другом колледже. Но у нас, у круглых двоечников, преимущество: не нужно часами томиться у кабинета декана, наша судьба решалась без разговоров. Раз, два — и до свиданья, оно и к лучшему. Не пропускать же тем вечером встречи с девушкой в Нью-Йорке.

Похоже, в этом колледже заведено отчет об успеваемости студента доставлять родителям не по почте, а прямой наводкой из скорострельного орудия, потому что дома, в Нью-Йорке, даже открывший мне швейцар, очевидно, был уже в курсе дела и глядел сурово. Вообще, тот вечер даже вспоминать не хочется. Отец, не повышая голоса, известил меня о том, что мое высшее образование можно считать законченным. Я чуть было не спросил, а не попытаться ли счастья в какой-нибудь летней школе. Но вовремя удержался. Причина тому одна. В комнате была мать, она не умолкая твердила одно и то же: мои беды все потому, что я слишком редко обращался к своему научному руководителю, на то он и руководитель, чтобы обращаться к нему. После таких слов остается лишь пойти с приятелем в бар да выпить. Слово за слово, и вот «беседа» наша подошла к набившей оскомину сцене: мне полагалось выдать очередное призрачное обещание впредь «взяться за ум». Однако я эту сцену опустил.

В тот же вечер отец заявил, что незамедлительно определит меня на работу в своей фирме, но я-то знал, что по крайней мере ближайшая неделя не сулит мне страшных бед. Отцу придется поломать голову, прикидывая и так и эдак, как пристроить меня в своем деле: его партнеры, увидев меня лишь однажды, едва заиками не сделались.

Прошло дней пять, и как-то за обедом отец нежданно-негаданно спросил, а не хочется ли мне съездить в Европу и выучить там парочку языков, что было бы очень кстати для фирмы. Сначала, к примеру, в Вену, потом — в Париж, предложил мой незатейливый папочка.

Я, помнится, ответил, что не возражаю. В то время мне было нужно отделаться от одной девчонки с Семьдесят четвертой улицы. А Вена в моем тогдашнем воображении рисовалась городом каналов и гондол. Картинка что надо!

Прошел месяц, и в июле 1936 года я отплыл в Европу. Стоит, пожалуй, упомянуть, что моя фотография на паспорте имела разительное сходство с оригиналом. В свои восемнадцать лет я был почти метр девяносто ростом, почти шестьдесят килограммов весом (в одежде!) и почти не расставался с сигаретой. А горестей да забот столько, что случись гетевскому Вертеру очутиться рядом на палубе моего лайнера, он показался бы жалким пижоном.

Пароходом я добрался до Неаполя, а оттуда сел на поезд до Вены. Правда, в дороге чуть не вышел вместе с попутчиками в Венеции, уяснив, что каналы и гондолы именно там, но, оставшись в купе один, вытянул наконец-то ноги и решил, что комфорт мне дороже гондол.

Конечно же, еще в Нью-Йорке перед отплытием меня снабдили ценнейшими указаниями, как вести себя в Вене: каждодневно не меньше трех часов заниматься немецким языком; не водиться с людьми, которые знакомятся (особенно с молодыми) корысти ради; не сорить деньгами, точно подгулявший моряк; одеваться теплее, чтобы — не дай бог, не схватить воспаление легких; и так далее в том же духе. Все наставления я неукоснительно исполнял

с первых же дней венской моей жизни. Три часа в день я изучал немецкий язык. (Уроки мне давала одна весьма незаурядная молодая особа, с которой я познакомился в холле «Гранд-отеля»).

Где-то у черта на куличках я нашел себе жилье, несколько дешевле, чем номер в Гранд-отеле. (Правда, ночью троллейбусы в мой район не ходили, благо, ходили такси.) Я одевался тепло (купил три чистшерстяные тирольские шляпы). Водился только с хорошими людьми (одному парню в Бристоль-отеле даже одолжил триста шиллингов). Короче, даже не о чем написать, разве только что «все в порядке».

Так прошло пять месяцев. Я ходил на танцы. Катался на коньках, на лыжах. Смотрел операции в двух больницах, сам участвовал в сеансе психоанализа молодой мадьярки, курившей сигары. Интерес к занятиям с юной немкой не ослабевал. Говорят, что недостойным везет, и я «попешал не торопясь»... Упоминаю обо всем этом лишь для того, чтобы в моем путеводителе по венской жизни не оставалось белых пятен.

У всякого мужчины, очевидно, случается хотя бы раз такое: он приезжает в город, знакомится с девушкой. И все: сам город лишь суть эта девушка. Неважно, долго ли, коротко ли длится знакомство, важно то, что все, связанное с городом, связано на самом деле с этой девушкой. И ничего тут не поделаешь.

Этажом ниже, прямо под моей квартирой, точнее, под квартирой хозяев, у которых я снимал комнату, жила с родителями еврейская девочка Леа шестнадцати лет. Красота ее завораживала с первого взгляда, хотя полностью оценить ее можно далеко не сразу. Иссиня-черные волосы обрамляли невероятно изящные ушки — таких я в жизни не видывал. Огромные невинные глаза, казалось, вот-вот прольются от избытка ясности и чистоты. Руки, чуть тронутые загаром, покойные пальцы. Она садилась и клала руки на колени — какое еще разумное применение можно придумать этим рукам? Пожалуй, впервые столкнулся я с творением красоты, которое не вызывало у меня ни малейших оговорок или сомнений.

Почти четыре месяца виделись мы с ней вечерами трижды в неделю, когда по часу, когда дольше. Встречались мы только в стенах нашего дома. Вскорости после знакомства я узнал, что отец уже определил Леа в жены какому-то молодому поляку. Может, это отчасти объясняет, почему я так нелепо, упорно ограничивал наше времяпровождение четырьмя стенами. Может, боялся, как бы чего не вышло. Может, не хотелось низводить наши отношения до дешевого флирта. Сейчас уже сказать точно не берусь. Когда-то мог, наверное, объяснить, но все давным-давно затянулось в памяти — зачем носить в кармане ключ, которым не отпереть ни один замок.

Мы очень занято познакомились. У себя в комнате я держал патефон, и хозяйка подарила мне две американские пластинки, бывают такие диковинные подарки из разряда «на тебе, боже, что нам негоже», от которых в избытке благодарности прошибает холодный пот. На одной пластинке Дороти Лямур пела «Луна и мгла», с другой Конни Босуэлл вопрошала «Где ты?». Обе девушки, попеременно солируя у меня в комнате, изрядно надсадили голоса. Мне приходилось прибегать к их помощи всякий раз, когда за дверью слышались хозяйкины шаги.

Однажды вечером я сидел за столом, сочиняя длинное

письмо некой девице из Пенсильвании. Из письма явствовало, что ей следует бросить школу и ехать в Европу, чтобы выйти за меня замуж — в ту пору подобные предложения с моей стороны сыпались частенько. Патефон молчал. И вдруг из открытого окна до меня донеслись слегка исковерканные слова из песни мисс Босуэлл:

Где ты?

куда ты ушёл?

Разве шастя со мною на нашёл?

где ты?

Меня это ошеломило. Я выскочил из-за стола, подбежал к окну, выглянул на улицу.

Единственный в доме балкон приходился как раз в квартире этажом ниже. И там в зыбких лучах осеннего заката стояла девочка. Просто стояла, крепко держалась за перила — стоит отпустить, и весь наш хрупкий мир враз разлетится вдребезги. Я загляделся на ее профиль, позолоченный последними солнечными лучами, и прямо захмелел. Сердце гулко отсчитывало секунды — наконец я поздоровался. Она испуганно (как и полагается) вздрогнула, вскинула голову, но показалось мне, не слишком-то и удивилась моему появлению. Впрочем, не так уж это и важно. На ломаном-переломанном немецком я спросил, нельзя ли мне спуститься к ней на балкон. Просьба моя ее совершенно, очевидно, смутила. Она ответила по-английски, что вряд ли ее «родителю» это понравится. Я и раньше-то не слишком лестно думал о девичьих отцах, но после ее слов мнение мое испортилось вконец. Впрочем, я даже понимаю, хотя и не без натуги кивнул. Однако все вышло чудно. Леа сказала, будет лучше, если она сама поднимется ко мне. От радости я лишь обалдело тряхнул головой, закрыл окно и спешно принялся наводить в комнате порядок: раскиданные по полу вещи ногой затолкал под шкаф, под кровать, под стол.

По правде говоря, наш первый вечер мне почти не запомнился, ибо он был разительно похож на все последующие, и мне, признаться, один от другого не отличить, во всяком случае теперь.

Постучит Леа в дверь, и мне в этом стуке чудится песнь, восхитительно трепетная, на высокой-высокой ноте, совсем иных, давних времен. Песнь о чистоте и красоте самой Леа незаметно выростала в гимн девичьей чистоте и красоте.

Едва живой от счастья и благоговенья, я открывал перед Леа дверь. Мы церемонно здоровались за руку на пороге, потом Леа нерешительно, но грациозно проходила к окну, садилась — ждала, когда я заведу разговор.

По-английски она говорила так же, как и я по-немецки: ни одного живого слова. И все же я неизменно беседовал с ней на ее родном языке, она — на моем. Хотя, говори мы каждый на своем, понять друг друга было бы куда легче.

— Хм... Как вы здравствуете? — вопрошал я. На «ты» я к Леа не обратился ни разу.

— Я здравствую очень. Большой спасибо, — отвечала она и всякий раз краснела. Я уж как мог отводил взгляд — она все равно краснела.

— Не правда ли, отличная погода? — неизменно допытывался я и в солнечный день, и в непогодь.

— О, да, — неизменно отвечала она и в солнечный день, и в непогодь.

— Хм... Были вы сегодня в кино? — вставлял я свой излюбленный вопрос, хотя и знал, что пять дней в неделю Леа работала на отцовской парфюмерной фабрике.

— Нет, сегодня у меня была работа с родителем.

— Это прекрасно! Там хорошо?

— Нет. Парфюмерия большой и много человек туда-сюда.

— Это плохо! Хм... Вы будете иметь чашку кофе?

— Я уже поелась!

— Но еще одна чашка не будет плохо.

— Большой спасибо.

На этом этапе беседы я обычно смахивал с письменного

столика — обители всякой всячины — листы писчей бумаги, туфельные колодки, некоторые принадлежности белья и еще много самых непредсказуемых предметов в обиходе. Потом включал электрическую кофеварку и глупо-бокомысленно изрекал: «Кофе — это хорошо».

Обычно мы выпивали по две чашки, сахар и сливки мы передавали друг другу с каменно-суровыми лицами, наверное, так же на похоронной процессии раздают белье перчатки тем, кому нести гроб. Нередко Леа приносила домашнее печенье или бисквиты, наскоро (и, видимо, тайком) завернутые в вошеную бумагу. Она с порога неуверенно совала мне в левую руку свое подношение. Надо ли говорить, что мне кусок в горло не лез. Во-первых, рядом с Леа я забывал о голоде, а во-вторых, мне казалось едва ли не кошунством уничтожатьстряпню с ее кухни. Во всяком случае, надобности в этом не было никакой.

Обычно за кофе мы молчали. А потом беседы наши, точнее потуги завязать разговор, возобновлялись.

— Хм. А... вот, окно... вы есть холодная там?

— Нет! Мне очень согрето, большой спасибо.

— Это хорошо! Хм... Здоровые ли родители? — Об этом я осведомлялся при каждой встрече.

— О да, очень! — Родители у Леа отличались богатырским здоровьем, даже в ту пору, когда мать у нее две недели болела плевритом.

Иной раз Леа сама выбирала тему для разговора. Правда, неизменно одну и ту же, при этом премило коверкая английский язык, так что большой беды в этом однообразии я не видел.

— Как ваше занятие сегодня утром?

— По немецкому? О, замечательно. Зер гут.

— Что вы занимали?

— То есть, что проходили? Хм... Это, как его... ну, это — спряжение сильных глаголов. Очень интересно!

Не одну страницу мог я заполнить нашей с Леа тарбаршиной. Только думается мне — ни к чему. Ведь по сути мы так ничего друг другу и не сказали. За четыре месяца мы виделись, наверное, раз тридцать, не меньше, но не обмолвились ни словом. И без того скудные воспоминания все больше утопают во мгле времени. Сейчас я уже знаю наверное: случись мне оказаться в Аду, мне отведут отдельную каморку, куда не проникнет ни жар, ни холод, зато шквалами будут налетать на меня из прошлого наши разговоры с Леа, усиленные сотнями динамиков с самого большого в Нью-Йорке бейсбольного стадиона «Янки».

Однажды вечером без всякого умысла я вдруг переключил ей президентов США, как мне казалось, всех по порядку: Линкольна, Гранта, Тафта и остальных.

В следующий раз я часа полтора пытался растолковать ей правила американского футбола. По-немецки, разумеется!

Другим вечером вдруг вызвался (разумеется, по собственному почину) нарисовать ей карту Нью-Йорка. Богом клянусь, в жизни карт ни для кого не рисовал, да и картограф из меня никудышный. Но для Леа... Ничто и никто — будь то хоть отряд морской пехоты — меня б не остановил. Четко помню, что Лексингтон авеню я расположил на месте Мадисон авеню — и глазом не моргнул.

А однажды я прочел ей свою новую пьесу под названием «Парень не промах», об одном малом, который никогда не терял присутствия духа, был красив лицом и (что само собой разумеется) могуч телом — в общем, очень смахивал на меня. Его специально вызывают из Оксфорда, чтобы помочь сыщикам из Скотланд-Ярда спасти свою репутацию. Некая леди Фернсуорт — коварная алкоголичка — каждый вторник получает почтой по пальцу с руки ее злодейски похищенного мужа.

Я прочел Леа всю пьесу в один присест, самые пикантные эпизоды я старательно опускал, пьеса от этого, естественно, изрядно пострадала. Закончив читать, я хрипло растолковал Леа, что «работа еще не есть завершённый». Это она, похоже, поняла лучше всего. Более того, она как могла уверила меня, что окончательному варианту

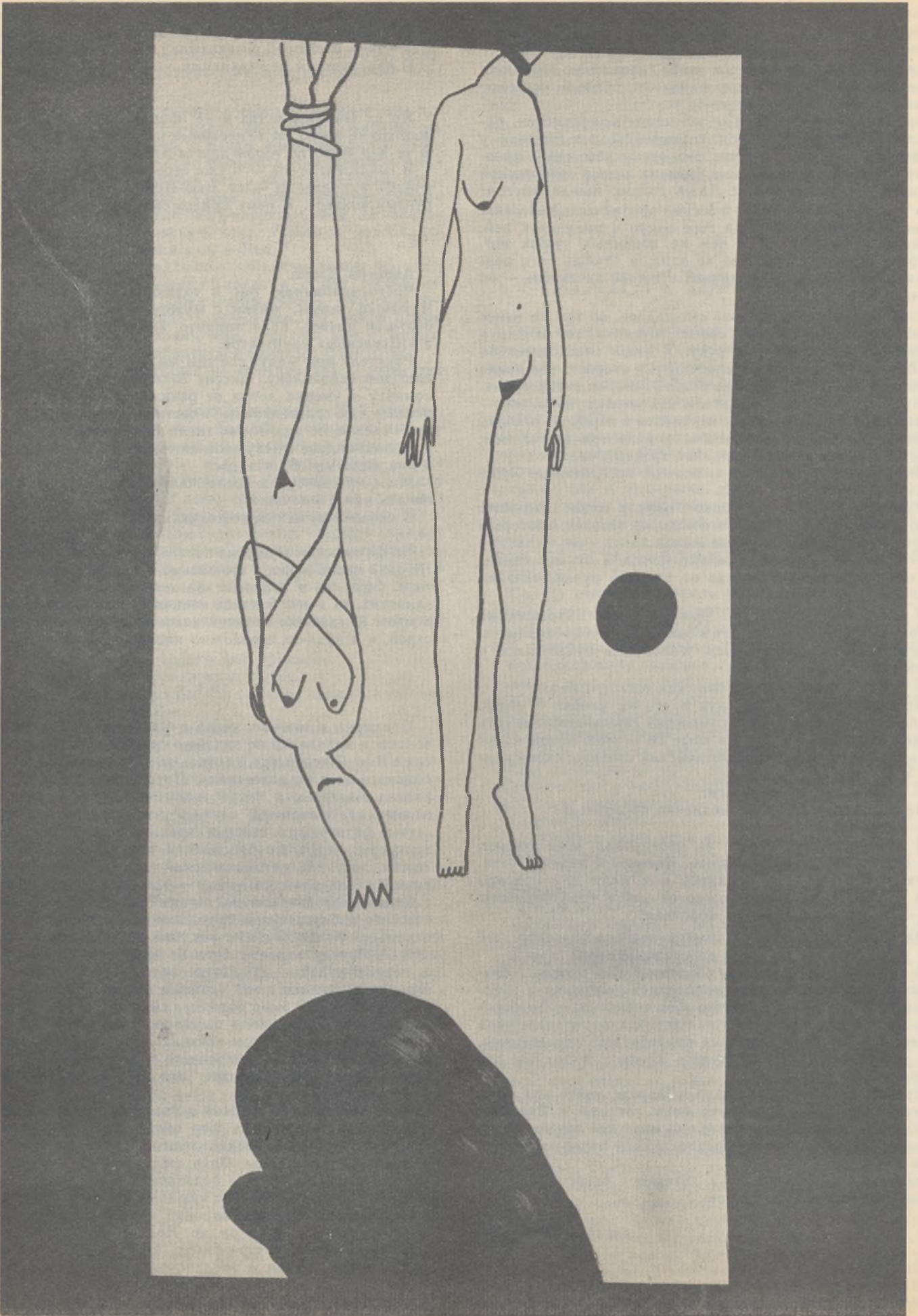


Рисунок АННЫ ХЕЙНРИХСОНЕ

только что прочитанной мною вещи не избежать совершенства... А как чудно она слушала, сидя на подоконнике.

Про то, что у Леа жених, я узнал совершенно случайно. Конечно, из нашей беседы я никоим образом не смог бы почерпнуть таких сведений.

Примерно месяц спустя после нашего знакомства, однажды воскресным вечером я увидел Леа в очереди у «Шведского кино» — в Вене это очень известный кинотеатр. Впервые видел ее не с балкона и не в собственной комнате. Не может быть! Даже голова пошла кругом: Леа — здесь, в кино, стоит в весьма прозаической очереди. Я, не задумываясь, бросил свое место и ринулся к ней, отдавив с дюжину ни в чем не повинных чужих ног. Я сразу заметил, что Леа не одна, и отнюдь не с подружкой, а с солидным мужчиной в шляпе набекрень — он годился ей в отцы!

Леа, увидев меня, заметно смешалась, но тем не менее отважно представила мне своего спутника, тот щелкнул каблукми и стиснул мне руку. Я лишь снисходительно улыбнулся — пусть хоть напрочь руку оторвет, все равно он мне не соперник. Ясно как божий день, он здесь чужак. Минут пять мы втроем болтали без умолку, но о чем — не разобрать. После этого я извинился и вернулся в конец очереди. Уже во время фильма я раза три пошел между рядами, приосанившись и приняв грозный вид.

Ни Леа, ни ее спутника я, однако, не заметил. Хуже фильма я в жизни не видел.

Назавтра вечером за чашкой кофе у меня в комнате Леа, покраснев, объяснила, что молодой человек, с которым она была вчера в кино, — ее жених.

— Мой родитель меня женит, когда я стукну семнадцать, — не отрывая взгляда от дверной ручки, сказала она.

Я лишь кивнул в ответ. Бывают такие запрещенные удары, особенно в любви, да и в боксе, не то что вскрикнуть, вздохнуть потом не можешь. Наконец я откашлялся и спросил:

— Хм... простите, я забыл, как есть его имя?

Леа повторила, но на слух я его не уловил — что-то чудовищно многозвучное, в самый раз для любителя носить шляпу набекрень. Я подлил кофе ей и себе, потом вдруг встал, заглянул в немецко-английский словарь, снова присел к столу и спросил Леа:

— Вам нравится жениться?

Не поднимая глаз, Леа медленно произнесла:

— Я не знаю.

Я кивнул, мне в ответе ее прозвучала сама логика. Мы сидели молча, потупившись. Наконец я поднял глаза, и увиделось мне, что комнатка моя мала для красоты Леа. И только в словах можно ей найти соразмерность.

— Знаете, вы есть очень красивая.

Она вся зарделась, и я спешно перевел разговор: что мог я предложить ей вслед за комплиментом?

В тот вечер, в первый и последний раз, наша, с позволения сказать, близость выразилась не только в рукопожатии. В половине десятого Леа соскочила с подоконника и сказала, что «уже очень запоздало», и поспешила к двери. Я, конечно, бросился проводить ее до лестницы, и в узкой двери мы столкнулись лицом к лицу. Мы так и обмерли.

Пришло время отправляться в Париж, учить еще один европейский язык. Леа в ту пору гостила в Варшаве у родных жениха. Так и не довелось мне с ней познакомиться, я лишь оставил записку, предпоследний черновик храню и по сей день.

Залечив все раны и увечья, которые я нанес немецкому языку, прочитаем следующее:

Вена,

7 декабря 1936 года.

Дорогая Леа,

Мне нужно ехать в Париж, поэтому прощаюсь с Вами. Было очень приятно познакомиться. Надеюсь, вы не скачае-

те в Варшаве среди близких Вашего жениха. Думаю, с предстоящей женитьбой у Вас все в порядке. Пришлю Вам книгу, о которой рассказывал, — «Унесенные ветром».

С наилучшими пожеланиями,

Ваш друг

Джон.

Но из Парижа я так и не написал Леа. Я ей больше вообще не писал. И «Унесенные ветром» так и не послал. В те дни было по горло других забот.

В конце 1937 года — я уже вернулся в Америку и снова учился в колледже — из Нью-Йорка мне переслали округлый конверт. К нему приложена записка.

Вена,

14 сентября 1937 г.

Дорогой Джон,

Часто вспоминаю Вас и гадаю, что с Вами случилось. Я вышла замуж, живем с мужем в Вене, он шлет вам большой привет. Если помните, вы познакомились с ним в «Шведском» театре.

Родители мои живут все там же, я часто их навещаю — наш дом неподалеку. Миссис Шлоссер, вы у нее снимали комнату — умерла летом от рака. Она просила меня переслать вам граммофонные пластинки, которые вы забыли при отъезде, но долго я не знала Вашего адреса. Недавно я познакомилась с девушкой-англичанкой, Урсулой Хамер, и она дала мне Ваш адрес.

Мы с мужем будем чрезвычайно рады, если вы станете писать нам (и почаще!).

С самыми лучшими пожеланиями,

Ваш друг Леа.

Ни фамилии по мужу, ни нового адреса она не написала. Не один месяц носил я это письмо повсюду и перечитывал: то в баре, то в перерыве баскетбольного матча, то на занятиях, то дома. В конце концов от долгого пребывания в моем бумажнике цветной кожи бумага тоже стала пестрой, и я куда-то переложил письмо.

* * *

Примерно в тот час, когда в Вену вошли гитлеровские войска, я находился по заданию геолого-разведочной партии в Нью-Джерси, где, не очень-то утруждая себя, пытался отыскать залежи известняка. После того, как Гитлер захватил Австрию, я часто вспоминал Леа. И не просто вспоминал. Например, случись мне увидеть свежие газетные фотографии: венские евреи, стоя на коленях, чистят тротуары, я тут же бросался к столу в комнате общежития, доставал автоматический пистолет, бесшумно выпрыгивал из окна на улицу — там уже ждал моноплан с бесшумным двигателем, готовый по велению моего отважного и безрассудно-прихотливого сердца отправиться в дальний полет. Я не из тех, кто сидит сложа руки!

В 1940 году в конце лета на вечеринке в Нью-Йорке я познакомился с девушкой, которая не только знала Леа, но и училась с ней в одной школе с первого класса до выпускного. Я было подвинул ей стул, но она принялась рассказывать о каком-то парне из Филадельфии — вилитом Гэри Купере. Потом сказала, что у меня безвольный подбородок, потом — что терпеть не может норковый мех. Потом — про Леа. Дескать, она либо уехала из Вены, либо осталась.

Во время войны я служил в разведотряде при пехотной дивизии. В Германии в мои обязанности входил опрос гражданских лиц и военнопленных, среди последних попадались и австрийцы. Один фельдфебель, сказавшийся уроженцем Вены (хотя я подозревал в нем баварца. Мне так и мерещились короткие кожаные штаны с бретельками под его серой формой) зародил кое-какую надежду. Но выяснилось, что знал он не Леа, а ее однофамилицу. Еще один венец, унтер-офицер, стоя передо мной навзятку, рассказывал о злодействах, учиненных евреям в Вене. Вряд ли мне приходилось дотоле видеть столь благородное, исполненное состраданием к безвинным жертвам

лицо. Но все же, любопытства ради, я велел ему закатать рукав. И на самом предплечье увидел татуировку с номером группы крови — такую носили все матерые эсэсовцы. Вскоре я вообще перестал задавать интересующие лично меня вопросы.

Кончилась война, и спустя несколько месяцев мне довелось везти в Вену кое-какие документы. Жарким октябрьским утром мы еще с одним военным сели в джип и на следующее утро — оно выдалось еще жарче — были уже в Вене. Нам пришлось ехать через «русскую» зону, там нас продержали пять часов. Двое караульных никак не могли налюбоваться на наши наручные часы. За полдень попали мы в американскую зону, там-то и находилась улица, где некогда жили и я, и Леа.

Я расспрашивал продавца в табачном киоске на углу, аптекаря, женщину-соседку (когда я с ней заговорил, она от неожиданности даже подпрыгнула), мужчину, который уверял, что в 1936 году мы ехали с ним в одном троллейбусе. Двое сказали мне, что Леа нет в живых. Аптекарь посоветовал обратиться к доктору Вайнштейну — тот только что возвратился из Бухенвальда — даже дал мне его адрес.

Я сел в джип, и мы поехали к штабу. Мой спутник, шофер, сигнализировал чуть ли не каждой девушке, а мне нескончаемо долго жаловался на армейских дантистов.

Мы отвезли документы, я сел за руль джипа и уже один поехал к доктору Вайнштейну. На свою старую улицу я попал уже под вечер. У дома, где некогда жил, поставил машину. Сейчас здесь были расквартированы офицеры. На первом этаже за столом сидел рыжий старший сержант и чистил ногти. Он поднял на меня глаза, но, поскольку я не был старше чином, взгляд его сделался пустым и равнодушным — в армии так смотрят часто. При других обстоятельствах и я бы тем же ответил.

— Что, никак нельзя заглянуть наверх, хоть на минутку? Я здесь жил до войны.

— Здесь, приятель, только для офицеров.

— Да знаю. Я ж только на минутку.

— Никак нельзя, извини, — и он снова принялся чистить ногти перочинным ножом.

— Мне б на минутку только, — повторил я.

Он спокойно отложил нож.

— Послушай, приятель. Я пропускаю только тех, кто здесь живет, ясно? Могу и пояснее сказать, если не понял. Да будь ты хоть сам Эйзенхауэр. У меня приказ... — на столе вдруг зазвонил телефон, и сержант осекся. Поднял трубку, но глаз с меня не сводил.

— Да, господин полковник. Я у телефона, да, сэр... слушаюсь, сэр... Я велел капралу Сантини поставить их на лед. Сию же минуту. Холодное вкуснее. Оркестр, по-моему, лучше посадить на балкон. Там всего-то трое... Да, сэр. Я передал майору Фольцу, он говорит, дамы могут оставить пальто у него в кабинете... Да, сэр. Совершенно верно, сэр. Вам бы лучше поспешить. Стоит ли пропускать такую ночь, ха, ха, ха! Слушаюсь, сэр. До свидания, сэр! — сержант положил трубку, лицо у него повеселело.

— Ну так как? — прервал я его мечты, — можно на минутку, а?

— Да что ты там забыл-то? — уставился он на меня.

— Ничего не забыл, — и глубоко вздохнул, — поднимаюсь только на третий этаж, взгляну на балкон. В той квартире раньше жила одна знакомая девушка.

— Ишь ты! А где она сейчас?

— Погибла.

— Ишь ты! Это как же?

— Ее с семьей сожгли в крематории, насколько я знаю.

— Ишь ты! Еврейка, что-ли?

— Да. Ну так можно?

Нетрудно было заметить, что интерес сержанта увядает. Он взял карандаш, провел им по столу слева направо.

— Ох, прямо не знаю, что с тобой и делать. Заметят тебя, мне крепко всыпят.

— Да я только на минутку.

— Ну, валяй. Да поживее.

Я взбежал по лестнице, заглянув в свою комнату. Там стояли три по-армейски заправленные койки. В 1936 году все было по-иному. Сейчас же повсюду на вешалках офицерские мундиры. Я подошел к окну, открыл его, выглянул — внизу на балконе когда-то стояла Леа. Я спустился на первый этаж, поблагодарил сержанта. Уже на пороге он окликнул меня: что делать с шампанским? Класть бутылки набок или держать стоймя, черт бы их побрал? Я ответил, что не знаю, и вышел из дома.

СОЛДАТ ВО ФРАНЦИИ

Сидя прямо на раскисшей после дождя земле, он съел полбанки яичницы со свиной, лег на спину, остервенело, не жалея головы, сорвал каску и закрыл глаза. Все мысли схлынули — словно из бочки враз вынули сотни затычек, — и солдат мгновенно уснул. Проснулся он в десять часов вечера, в десять часов военного бессмысленного и пустого вечера. Холодное, плаксивое французское небо уже подернулось мглой. Поднялся он не сразу, лишь приоткрыл глаза, и тут же вновь стали стекаться неотвратимые военные мысли и мыслишки, их не вытряхнуть из памяти, они порождены не благодатной праздностью. Вот в голове не осталось уже ни одной разнесчастной свободной клеточки, и верх взяла одна безутешно-ночная мысль: ИЩИ НОЧЛЕГ. ВСТАНЬ. ВОЗЬМИ ОДЕЯЛО. ЗДЕСЬ СПАТЬ НЕЛЬЗЯ.

Солдат оторвал от земли усталое, грязное, пропахшее потом и гарью тело, сел, потом, уставшись прямо перед собой, поднялся на ноги. Нагнулся, пошатнулся, как хмельной, подобрал каску, надел. Нетвердой походкой подошел к интендантскому грузовику, из груды грязных одеял вытащил свое. Зажал тощую, совсем не греющую скатку под мышкой, пошел по кустистой кромке поля. Вот усердно окапывается Гуркин; они равнодушно переглянулись. Солдат остановился подле Ивза, тот тоже рыл себе окоп.

— Тебе сегодня в ночь заступать?

Ивз взглянул на него, буркнул «угу», с кончика его длинного, как у всех выходцев из Вермонта, носа упала блестящая капелька пота.

Солдат попросил:

— Разбуди меня, если начнется заваруха!

Ивз ответил:

— А откуда мне знать, где ты?

Солдат сказал:

— Как место себе выберу, крикну.

СЕГОДНЯ ОКОПА РЫТЬ НЕ БУДУ, отойдя от Ивза, подумал солдат. НЕ БУДУ НАДРЫВАТЬСЯ, КОВЫРЯТЬ ГЛИНУ ЛОПАТКОЙ. МЕНЯ НЕ УБЬЕТ. ЭЙ, ВЫ, ТАМ, НЕ ДАЙТЕ МНЕ ПРОПАСТЬ СЕГОДНЯ. А НАЗАВТРА, ЕЙ-ЕЙ, ВЫРОЮ ОКОПИЩЕ НА СЛАВУ. А СЕЙЧАС У МЕНЯ ВСЕ ТЕЛО НОЕТ, ДАЙТЕ Я ПРОСТО ЛЯГУ ГДЕ-НИБУДЬ И УСНУ. ОДНУ ТОЛЬКО НОЧЬ. ХОТЬ ПАРУ ЧАСОВ ДАЙТЕ. Тут он заметил окопчик, явно немецкий. Его покинул какой-нибудь фриц всего несколько часов тому назад, несколько нескончаемо долгих и дождливо-промоглых часов тому назад.

Натруженные солдатские ноги зашагали быстрее.

Подойдя, солдат заглянул в окоп, и его душа с телом возопили: на дне лежала грязная, но аккуратно свернутая форменная американская куртка, недвусмысленно указывая, что место «застолблено». Придется идти дальше.

Вон еще один немецкий окоп. Солдат торопливо заковылял к нему. Заглянув, увидел на сыром дне небрежно разостланное немецкое одеяло. Страшное одеяло: совсем недавно на нем лежал, может, исходил кровью, а может и умирал неведомый ему немец.

Солдат бросил скатку подле окопа, снял с плеча винтовку, противогаз, вещмешок, каску. Встал на колени,

нагнулся над окопом, вытащил тяжелое окровавленное одеяло безвестно погибшего фрица, скомкал его и забросил в густые кусты. Снова заглянул в окоп, увидел две темные отметины, там, где приходились края одеяла, достал из вещмешка лопатку, спустился в окоп и непослушными руками стал очищать дно. Закончив работу, он вылез из окопа, достал одеяло, развернул, сложил вдвое по длине и бережно, точно ребенка, опустил на руках в окоп. Затем взял винтовку, противогаз, каску и аккуратно разложил все наверху у изголовья окопа.

Потом откинул край одеяла и прямо в грязных ботинках вошел в свою «спальню». Снял куртку, скомкал, бросил в изголовье, попытался лечь. Однако окоп оказался короток, пришлось изрядно подогнуть ноги. Солдат накрылся краем одеяла и откинулся грязной головой на грязную куртку. Взгляд на вечернее небо. Со стенки окопа за шиворот подло проникли комочки земли, одни угнездились на шее, другие, шекоча спину, ниже. Однако солдат даже не шелхнулся.

Вдруг в ногу — чуть выше гетры — злобно и безжалостно укусил рыжий муравей. Солдат хлопнул ладонью по ноге, чтобы расправиться с обидчиком, но тут же отдернул руку и резко, со свистом втянул воздух — больно! Живо вспомнилось, где и как сегодня утром он лишился целого ногтя. Палец обожгло и заломило, солдат поднес руку к лицу и стал в полутьме рассматривать. Потом бережно и заботливо, словно занемогшего друга, укрыл всю руку одеялом и начал повторять про себя, может, и нелепые сейчас, но знакомые всякому солдату на войне самые солдатские чаяния.

«Вот вытащу руку из-под одеяла, а ноготь уже отрос, и пальцы чистые, и сам я весь чистый. На мне чистые трусы и майка, белая рубашка. Голубой галстук-«бабочка». Серый костюм в полоску. Я приду домой и крепко-накрепко запру дверь. Сварю кофе, поставлю пластинку — и крепко-накрепко запру дверь. Буду читать книги, налью кофе, послушаю музыку и — крепко-накрепко запру дверь».

Открою окно, впущу девушку, милую, кроткую, не чета Фрэнсис или кому из прежних — и крепко-накрепко запру дверь. Скажу, походи просто так по комнате, а сам буду любоваться ее американскими лодыжками. Скажу, почитай мне стихи: из Эмили Дикинсон — про неприкаянность и из Уильяма Блейка, про Агнца — твоего творца. И крепко-накрепко запру дверь. Я услышу, наконец, родной говор; она не будет вымогать жвачку и конфеты. И я крепко-накрепко запру дверь».

Солдат поспешно выпростал из-под одеяла руку, хотя не верил в чудо. И чуда не случилось. Он растегнул клапан нагрудного кармана заскорузлой от пота и грязи гимнастерки, вытащил пачку замызганных газетных вырезок. Положил их себе на грудь, снял верхнюю, поднес к глазам. То была подборка новостей театра и кино — и, едва различая слова, стал читать: «Вчера вечером мне крупно повезло, доложу вам. Заглянул я в «Уолдорф», хотелось посмотреть на очаровательную Джинни Пауэр — она приехала на премьеру своего нового фильма «Яркое пламя ракет». (Очень советую посмотреть. Картина что надо!). Мы спросили юную звезду (она впервые попала в большой город с необъятных полей Айовы), чего бы ей больше всего хотелось в Нью-Йорке. И что ж ответила наша отнюдь не спящая красавица? «Еще в поезде я мечтала встретиться в Нью-Йорке с простым славным парнем в солдатской форме. Так надо же! В первый же день в фойе «Уолдорфа» столкнулась нос к носу с Бэбби Бимисом! Он майор в службе пропаганды, и их часть стоит не где-нибудь, а в Нью-Йорке! Надо ж, как повезло!» Вашему корреспонденту оставалось лишь промолчать. Повезло больше Бимису, подумал я и...»

Солдат скомкал вырезку, скатал ее в серый комок, собрал остальные и выбросил за бруствер. И вновь стал смотреть на небо, на французское небо, с американским его не спутаешь. И он глубоко вздохнул, а может, горько усмехнулся или воскликнул: «О-ля-ля!»

Вдруг, словно спохватившись, солдат достал из кармана повивавший виды конверт. Торопливо вытащил письмо

и принялся перечитывать его в тридцать бог-знает-какой раз.

Манаскван, Нью-Джерси
июля, 5-го 1944.

Дорогой Малыш: мама думает, что ты еще в Англии. А я думаю, что ты во Франции. Ты во Франции? Папа говорит маме, что он думает, что ты еще в Англии, а я думаю, что он думает, что ты во Франции. Ты во Франции?

Бенсоны этим летом приехали на побережье рано, и Джеки целыми днями торчит у нас дома. Мама привезла и твои книги, она думает, что к лету ты вернешься. Джеки попросила две: одну, ту, что про русскую даму, а другую — из тех, что у тебя всегда на столе. Я разрешила, ведь она сказала, что не будет загибать страницы и вообще. Мама говорит, что Джеки много курит, и она пообещала бросить. Она перегрелась на солнце и болела, когда мы приехали. Она тебя очень любит. Она, наверное, свихнется от этого.

Я ехала на велосипеде и видела Фрэнсис. Я ее окликнула, но она не расслышала. Она большая зазнайка, а Джеки — нет, и прическа у Джеки красивее.

В этом году на побережье девочек больше, чем мальчиков. Их вообще не видно. Девочки без конца играют в карты, мажут друг дружке спины маслом для загара, лежат на солнце.купаются больше, чем раньше. Вирджиния Хоуп и Барбара Гизер из-за чего-то подрались и теперь рядом на пляже не сидят. Лестера Брогана убили в армии, он был там, где япошки. Миссис Броган больше не ходит на пляж, разве что по воскресеньям, да и то с мистером Броганом. Они просто сидят на берегу, а ведь ты знаешь, как хорошо мистер Броган плавает. Я помню, как однажды вы с Лестером плавали до буйка и брали меня с собой. Я теперь плаваю до буйка одна. Диана Шульц вышла замуж за солдата-моряка, она ездила с ним на неделю в Калифорнию. Сейчас он в армии, а она вернулась, ходит на пляж одна.

Еще до нашего отъезда умер мистер Олинджер. Братец Тимерс пришел в лавку, чтобы попросить мистера Олинджера починить велосипед, а тот за прилавком мертвый. Братец Тимерс заорал и бегом в суд. Там его отец заседает с судьями и вообще. Братец Тимерс так и орал всю дорогу: Папа, папа, мистер Олинджер помер!

Прежде чем уехать к морю, я вычистила твою машину. После того, как ты съездил в Канаду, под передним сиденьем осталось полным-полно карт. Я положила их тебе на стол. А еще я нашла расческу. По-моему, у Фрэнсис была такая. Я тоже положила ее тебе на стол. Ты во Франции?

Целую.
Матильда.

P. S.

Ты возьмешь меня в следующий раз с собой в Канаду? Я буду сидеть в машине молча, отвлекать болтовней не буду, обещаю раскуривать для тебя сигареты, но затягиваться не буду.

С искренним приветом
Матильда.

Я очень соскучилась. Поскорее возвращайся домой.

Целую и обнимаю.
Матильда.

Солдат бережно вложил письмо в засаленный, истрепанный конверт и спрятал в нагрудный карман. Потом чуть высунулся из окопа и крикнул:

— Эй, Ивз! Я здесь!

Ивз заметил его со своего поста на другом краю поля и кивнул.

Солдат опустил в окоп и сказал вслух, обращаясь неизвестно к кому:

— Поскорее возвращайся домой.

Потом рухнул на подстилку, неудобно поджав ноги, и тотчас заснул.

Перевод с английского
ИГОРЯ БАГРОВА

ОЛЕГ ДАРК

ПОДПОЛЬЕ ЮРИЯ МАМЛЕЕВА

Ю. Мамлеев — один из интереснейших современных писателей русского Зарубежья... Написал и сразу же почувствовал двойную неточность формулы. Значение Мамлеева давно переросло масштабы и русской «колонии», и русской литературы в целом. Его с полным правом можно назвать писателем с мировым именем. Его охотно переводят для альманахов и журналов, на французском и английском выходят его книги, сборники рассказов. Статьи о Мамлееве и отклики на его произведения печатают за рубежом не только русские периодические издания.

Другая неточность — в определении «современный». Конечно, Мамлеев продолжает плодотворно работать, постоянно развивается. Его рассказы, философские эссе и статьи, роман «Московский гамбит» (1985), написанные в эмиграции, — это в чем-то «другой» Мамлеев, еще менее знакомый советским читателям, даже тем, кто всегда его читал и любил. Но одновременно Мамлеев уже принадлежит истории русской литературы, его можно считать классиком. «Русский» Мамлеев, т. е. доэмигрантский, — явление состоявшееся, законченное. Его произведения 60—70-х гг., единый целостный замкнутый организм, стал и эпохой в русской литературе, несмотря на их тогда сравнительно неширокий, по независимости от автора причинам, резонанс.

На произведениях Мамлеева воспитывается и учится уже не одно поколение читателей и писателей. Мамлеевская традиция заняла прочное место в русской и «советской» литературе. У истоков многих ее современных явлений стоит проза Мамлеева, в том числе «объясняет» теперешних так называемых «молодых», о которых столько толкуют и спорят. Рассказы Мамлеева и его роман «Шатуны» (1966—68), распространявшиеся в списках и магнитофонных записях авторского чтения, оказывали могучее воздействие на воспринимающее сознание, его деформировали и разрабатывали. Я знаю, что первое знакомство с мамлеевской прозой вызвало у многих своего рода шок. Даже сейчас, во время сплошного и непрекращающегося потока самых разнородных публикаций и литературных «открытий» наших журналов, многое в Мамлееве, его сюжетах, идеях, парадоксальной образности, покажется иному читателю трудно перевариваемым. Мамлеев был и остается, непосредственно и опосредованно — через последователей, одним из факторов, формирующих сегодняшнее мировосприятие.

И тем не менее не кажется странным, что в пору настойчивого и последовательного обращения к творчеству эмигрантов имя Мамлеева «вспоминают» едва ли не одним из последних. Я думаю, это объясняется отсутствием у него какой бы то ни было политической репутации. В жизни Мамлеева, и не только творческой, политические интересы, по-видимому, не занимают сколь-нибудь заметного места. В его писательской судьбе создалась, кому-то покажется — парадоксальная, но отнюдь не единичная, ситуация, когда причиной литературного «подполья», а затем эмиграции стала художественная и метафизическая чуждость, враждебность официальной культуре, а не политическая.

В биографии Мамлеева никогда не было периода постепенного отторжения от советской культуры, как у многих его «приятелей по рассеянию». Он как-то изначально и навсегда оказался «вне», его как будто «не было», и его действительно не было — для массового читателя. Ни в одной, ни в двух, ни в 10 публикациях невозможно «исчерпать»

мамлеевскую прозу. Мне хочется предложить только стилистический «ключ» к художественному творчеству Мамлеева в целом, сосредоточиться на самом главном и глубинном для него, представить произведения, в которых напряженные духовные поиски автора и его героя явлены, на мой взгляд, с наибольшей открытостью. Рассказы печатаются по сборнику «Живая смерть» (Париж, 1986).

Юрий Витальевич Мамлеев родился в 1931 г. в Москве в семье профессора психиатрии. В 1955-м окончил Лесотехнический институт, затем учил математике в школах рабочей молодежи. Летом 1974-го выехал в США. С 1983-го живет в Париже. Это невыразительная, «усредненная» внешне жизнь. Я знаю, что поклонники Мамлеева нередко испытывают разочарование, когда видят его впервые, так не соответствует его «физический» облик его произведениям: Мамлеев похож на обыкновенного «старшего научного» какого-нибудь НИИ. Подлинно значительные события происходили во внутренней жизни, в духовном существовании. Там были индийская философия, эзотерические и оккультные учения, теософия и, конечно, труд писателя. «Подполье» Мамлеева не окончилось с эмиграцией. «Это очень страшно», — отзываются французские читатели о его произведениях. Мамлеев продолжает пугать и Запад.

Что прежде всего встречает читателя, погружающегося в мамлеевскую прозу? Фантастичный, абсурдный, гротесковый мир, окружающий героя, враждебный ему и чуждый, населенный какими-то хохочущими хряками и странными, то появляющимися, то исчезающими, демонами. Это реальная дисгармоничность мира, уплотненная в конкретные образы, подобные Недотыкомке солгубовского Передонова. Страх и одиночество — неприменные атрибуты человека в этом мире. Утрачено даже такое традиционное утешение, как религия. А герой Мамлеева — добровольный изгой из этого мира. С одной стороны, сознательный, поддерживающий и влекущий в себе ощущение своего избранничества, а с другой — трагически неспособный «стать как все», даже если б хотел. Своего рода «дон кихот», его так же ведет мечта, грозящая безумием и в конце концов его насылающая. Прикосновенность к некоей тайне, скрытой от других, представление о своем мессианстве. Это подвижники и фанатики, монахи, свихивающиеся на пути к трудной истине.

В «мамлеевении» принято говорить о продолжении традиций Достоевского. Но у мамлеевского героя — не «подполье» идеи, как у интеллектуальных героев позднего Достоевского, а «подполье» предчувствия, как у раннего, — «господ Голядкина и Прохачина» — «подполье» предчувствия неотрафлктрованного, скорее чувственное, нежели ментальное, но в которое ничуть не хуже можно уйти с головой, порвать связи с миром. Как и ранний Достоевский, Мамлеев имеет дело с «чистым», не замутненным культурными или образовательными наслоениями сознанием, это человек вообще, упрощенный, т. е. обнаженный, до предела. Герои могут условно различаться социальными или профессионально, но типологически они тождественны. Это не характеры, а символы. Рассказы Мамлеева, не утрачивая трагичности, оборачиваются притчами о духовных исканиях человека.

Свои художественные «связи» с Достоевским Мамлеев знает. Не случайно в его рассказах возникает сознательная стилизация Достоевского, во многом пародийно окрашивае-

мая и взрываема изнутри. Неожиданно мы узнаем совершенно другой и противоположный мир — «мамлеевский». Мамлеев продолжает традиции Достоевского, но и полемизирует с ним. Основа идеологической концепции Достоевского — традиционный дуализм: Человек и Бог, их противостояние и параллельность. Судьбы героев определяются их отношением к Пути, извне благословленному внеположенным Богом. Задача Мамлеева, метафизика и художника, и его героя — преодолеть дуализм, слиться и отождествиться с Богом. Но то, что Мамлеев рационально формулирует в специальных работах, посвященных этому вопросу, его герой только хаотически ощущает как некую загадку, требующую разрешения. Идеальный герой Достоевского может быть сколь угодно странен, чудаковат, «ненормален», с точки зрения окружающих, но не теряет «человечности» как атрибуте, наоборот — утверждается его «высшая» нормальность, с точки зрения христианского «нормы». «Идеальный» герой Мамлеева, потерявшись в метафизических замысловатостях, предстает монстром.

Прозу Мамлеева невозможно адекватно воспринять без знания трансцендентального учения «метафизики Я», адептом которого считает себя Мамлеев и разрабатывает в философских статьях и книгах. Тайна, к которой прикоснулся герой Мамлеева, — открытие внутри себя Бога, не пантеистического его «кусочка», а Бога «целиком», полностью совпадающего с Абсолютом. Этого «внутреннего» Бога Мамлеев называет «Я», в отличие от «Эго», конечного и ограниченного. Раскрыть в себе «Я», отождествиться с ним до полного в нем растворения — задача, оказывающаяся непосильной для человека, потому что рационально не понятна им. Правильно, но стихийно, интуитивно угадывая в себе незнакомую и загадочную субстанцию, а также единственно возможную целевую установку, которую она требует, герой тем не менее не способен правильно назвать, идентифицировать ни то ни другое, гипертрофирует, абсолютизирует их внешне, периферийные проявления. Отсюда его лихорадочные метания, роковые ошибки, уход из света реальностей в подполье мнимостей, окончательное выпадение, выбрасывание из действительности. Как итог — своеобразное метафизическое безумие, превращающее человека в монстра. И осознание собственной личности как единственной ценности и, как следствие, поклонение ее вместилищу — телу, целиком или какой-то произвольной его части (живот, зад, нога, горло), сакрализация тела, вплоть до физиологических отравлений и болезненных проявлений, как и совершенно противоположное — навязчивые стремления к оставлению тела в других рассказах, — все это ложные интерпретации предчувствуемой истины, на разных этапах прогрессирующего безумия героя, в судорожных действиях которого подлинная, рациональная концепция «метафизики Я» трагически пародируется.

О мамлеевской иронии, постоянно создающей стилистическую двусмысленность, следует сказать особо. Она, кажется, направлена и на героя, и на его метафизические искания. На самом деле Мамлеев крайне серьезно относится и к тому, и к другому. Ирония воплощает некую «вышнюю» точку зрения Абсолюта, перед которой все человеческие метания и страдания, вплоть до завершающей смерти, так «комично» противоречащей бесконечности духовной жажды человека, в равной степени смешны и забавны.

ЮРИЙ МАМЛЕЕВ



НЕЖНОСТЬ

Неудачный я человек. Очень нежный и очень жестокий. Нежный, потому что люблю себя и, наверное, от страха хочу перенести эту нежность вовне, смягчив ею пугающий меня мир... Очень жестокий, потому что ничего не нахожу в мире похожего на меня и готов поджечь его за это.

... Уже два года назад все свои претензии к миру я перенес на маленькое, изящное существо с тронутыми, большими любопытством глазами — мою жену... Огромный, чудовищный, как марсианские деревья, мир смотрел на нас в окна, но мне не было до него никакого дела... Теперь это все позади... Медленно, как закапывается гроб в могилу, тянется последний акт нашей драмы... Жене — ее зовут Вера — имя-то какое ехидное — хочется нежности... Боже, до чего ей хочется нежности!.. В некотором смысле нежности хочется и мне. Ну, скажите, почему такой гнусной, изощренной в жестокости твари, как человек, непременно нужна нежность?! То, что человеку нужен топор, — это понятно, но почему нежность? А может быть, наоборот, и жесток-то человек только потому, что ищет и не находит нежности, и все войны, кровопролития, драки, самоубийства объясняются этим крикливым, вопиющим походом за несбытающей нежностью... А все почему: хочет человек, чтобы его все любили, носились с ним, признавали до самых патологических, гнойных косточек — а раз нет этого, так и получай пулю в лоб... Нет чтобы только в себе искать основу всего... Слаб человечешко-то, слаб...

Так что нежность-то, господа, вовсе не такое уж кроличье свойство, как кажется на первый взгляд. Совсем даже напротив. Ничего более непримиримого я не встречал...

Маленькая, бедная девочка, как она на меня смотрит своими добрыми, самоотверженными глазами... Кажется, готова умереть за меня... Но не за меня, а за комочек полнокровной, от кончика пальца до души, ласки... О, нет, нет, я не так жесток — или не так честен, — чтобы говорить ей, что уже давно не люблю ее... Потому что я настолько мерзко, обреченно и жутко влюблен в себя, что могу настоящему любить душу, не отличающуюся от моей, а таких не может быть... Есть только родственные более или менее... А мне этого мало... Да, впрочем, есть ли родственные!? Правда, это я только относительно своей жены говорю...

— Принеси чего-нибудь поесть, — говорит Вера, а сама пристально следит за мной...

Чувствует сердечко-то, чувствует... Я горделиво подхожу к ней и нежненько так, почти религиозно, целую ее в висок... У нее, правда, очень красивый висок, и жилки, умные такие, в глубине бьются... Если бы ее висок отделился от нее и жил сам по себе, то я, может быть, любил бы его... Холоден и чист мой поцелуй, как поцелуй праведника... Верины глаза наполняются слезами.

— Ты любишь меня? — спрашивает она.

— Конечно, милая, как могу я не любить, — смрадно и проникновенно отвечаю я.

И выхожу из квартиры... за покупками.

... Веселое, сумасшедшее солнце заливает мир своей параноидной неугасимостью... Это правда, что я уже не люблю Веру; но точно таким же я буду по отношению к любым женщинам; значит, в своеобразном смысле я все-таки по-своему люблю Веру.

«А если и не люблю, то есть долг, — визгливо думаю я. — Долг превыше всего: если не будет долга, жизнь превратится в игру слепых, эгоистических сил, и связи между людьми разрушатся... Но кто, в конце концов, взял, что я не люблю Веру?! Люблю, люблю, вот топну ножкой и скажу: люблю! Разве она изменилась с тех пор, как мы впервые встретились? Разве изменился я? Разве не дарю я ей конфетки по воскресеньям?! Я люблю ее больше жизни, больше поэзии, больше самого Творца... Но больше ли самого себя?!»

... Какая длинная и нудная очередь за маслом... Хохотливые голоса людей играют моим воображением... Я стою в стороне, боясь уронить себя на пол... Меня надо пожалеть, я тоже хочу нежности... Но опять передо мной стоит, как больной призрак неосуществимого, Вера, моя любовь... Куда я от этого денусь... Мне снова надо идти домой... Что скажу я ей, какой веночек одену на бедную женскую головку, какой возведу хрустальный замок... Ведь ей всего двадцать лет... Маленькая, вот она высунулась из окошка и машет мне рукой... Беатриче... Однако я заворачиваю в библиотеку... Беру книгу, вдруг откладываю ее, вспоминаю, иду в коридор... И вхожу в строй моей души... Большие круги мыслей тяжелеют в моем уме... Может быть, они глупые, но они — мои и давят своим существованием... Это очень приятно — носить странный, инфантильно-инфернальный мир в своей душе... С этим миром я выхожу на улицу, раскачивая сумку... Вхожу домой... Раскладывая масло, одинокую картошечку... Вера весела, как бьющий через край кипящий чайник... Поглаживает меня по головке... Но мой мир давит меня... Я, как все люди, ем салат, но заглядываю только в самого себя... И повторяю, что люблю Веру...

Она сердится:

— Я и так мало тебя вижу. Но пока ты здесь, будь со мной, будь со мной... О чем ты думаешь?!

Я отвечаю, что думаю о ней.

— Почему же ты не думаешь вслух? — наивно и детски дружелюбно спрашивает она. — Расскажи, — тянет она меня за рукав, как ребенка.

Я говорю о том, что наш комод переполнился бельем и что я ее люблю. Мне становится страшно... Но не от жалости к ней, а от огромной, черной пустоты, опять возникнувшей в моей душе... Все предметы становятся как игрушечные и чужие... А Вера с ее милым, пухленьким лобиком напоминает куклу из магазина. Но почему эта кукла такая умная и человечная?!... Я встаю и выхожу на улицу в новую, более спокойную форму одиночества... Вера остается одна... Наверное, будет чистить мой пиджак и через любовь к этому пиджаку опять успокоится... Только бы она не строила лишних иллюзий...

Вечером я прихожу, окруженный своими мыслями, как синими облаками... Вера плачет... На минуту мне становится сентиментально и интересно, как будто заплакал шкаф или занавеска... Я очень люблю, когда плачут. И если бы плакали тротуары, я был бы к ним более снисходителен.

Вера протягивает мне худенькие дрожащие руки... Она очень больна; говорят, что у нее начинается истощение нервной системы, а это плохой диагноз...

Какими тяжелыми камнями наполнена моя душа... Одни камни и камни... И мир такой же: из камней... Мне холодно... Я дотрагиваюсь до Вериных слез... Как жутко смотреть на когда-то любимое лицо, где каждая тень, каждая черточка вызывает к бессмертному, теплomu, родному, и проводить по нему рукой, как по высеченному из камня лицу далекого и чуждого сфинкса... Камни... Камни, одни камни в моей душе...

— Верочка, — взвизгиваю я, — не верь!

Она испуганно смотрит на меня.

— Чему не верь?

— Не верь, что я не люблю тебя, — шепчу я.

Она улыбается грустной такой и больной и счастливой улыбкой. Какая жалость, что я не успел сегодня выпить четвертинку водки. Но выпью завтра, холодным, пустым, как ожидание, утром.

Наконец я укладываю Веру спать... Даю ей лекарство. Она засыпает... Не улизнуть ли сейчас, когда она крепко спит, за четвертинкой... Но нет — не хочу! Сегодня мне хочется нежности... Да, да, нежности... Или вы думаете, что одной Вере этого хочется!? Скоро, скоро наступит мой час!.. А пока я укрылся за одеялом... Жду... Тихо тикают часы и мое жаждущее сердце... Я знаю, это случится в середине ночи...

Наконец начинается. Я осторожно всматриваюсь и поглаживаю подушечку... Верочка, как деревянный, больной шизофренией призрак, медленно приподнимается с постели... Это немного страшно. Ночью в нашей комнате чуть светло от непонятных лучей с улицы...

«В состоянии», — шепчу я... Один раз я ошибся: оказалось, она просто встала попить воды; это был тяжелый срыв... Но теперь все в порядке... Я знаю это по вытянутым, спокойным рукам. Бедная девочка, она страдает лунатизмом и, кажется, не подозревает об этом... Я умиленно так, пролив одинокую, чуть лицемерную слезинку, вскакиваю с кровати... Вера медленно, как слепая, бродит по нашей пустой, с приютившимися по углам стульями, комнате... Я включаю, но тихо — таинственную музыку: Моцарта... Забиваюсь в угол и смотрю на нее. Ее лицо — измененное, синее, о, это уже не Вера, а кто-то другой, больной и вставший из могилы, ходит по нашей комнате... Моя ночная возлюбленная... Я включаю танцевальную музыку... Что-то средневековое... И, надев свой лучший костюм, не прикасаясь к Вере, чтобы не разбудить, начинаю танцевать около нее... Иногда ее раскрытые, напоенные каким-то вторым, странным существом глаза смотрят на меня... Но она видит, наверное, скомканные просторы других миров... Мое сердце тает от нежности, как член от истекающей спермы... Я становлюсь удивительно ловок и гибок в танце, как изгибающийся под ветром цветок...

Почему она не говорит со мной!? Хотя бы шепот, хотя бы смутный язык подсознания...

Я страдаю от того, что не могу поцеловать ее... Ее, а не Веру... потому что Вера — нет... Всего одно прикосновение — и опять, точно от гроба своей оболочки, восстанет живая Вера... О, как не хочу я этого!.. Но неприкасаемость только распяляет воображение... Почему она так тихо, бесшумно ступает?!... Потому что сейчас — во втором своем существе — она знает, как ужасен мир и как тихо-тихо надо ступать по нему... Чтобы никто не услышал... даже Бог... Тссс!

О, что, что сделать для нее великое!?!... Хочу, хочу дать ей все... Но что — наряды, автомобили, бессмертие!?! Я не могу подарить ей даже конфетку... Даже конфетку...

Лучше я съем за нее сам... И почувствую токи в своем животе...

Вот она медленно уходит в свою постель... Я вижу ее нездешнюю синюю улыбку: «до свидания», — хочет она сказать... Тсс! Все кончено. Я выключаю музыку. В стуже сердца ложусь к себе...

Вдруг Вера зовет меня... Проснулась... Просит пить...

Лежит вся мокренькая, в поту, и ничего не знает и не помнит... Я нарочно никому не говорю об этом... И не вожу лечиться к врачам... Пусть... Так лучше... Мне... И нежности...

— Ты ведь любишь меня, правда, — чуть слышно спрашивает Вера, отпив глоток бледными, как вода, губами.

— Да, люблю, — повторяю я и ухожу в темноту, в свою постель...

А ведь суровая штука эта нежность, господа!

ВАНЯ КИРПИЧИКОВ В ВАННЕ

Нельзя сказать, что обитатели коммунальной квартирки, что на Патриарших прудах, живут весело. Но зато частенько их смрадная, кастрюльно-паутинная конура оглашается лихо-полоумным пением и звоном гитары, раздающимися из ванной. Это моется, обычно подолгу, часа три-четыре, Ваня Кирпичиков, давний житель квартиры и большой любитель чтения. Больше за ним никаких странностей не замечали.

Предлагаем его записи.

Записи Вани Кирпичикова

Иные людишки, особенно которые не от мира сего, все время говорят мне: чево-то ты, Ваня Кирпичиков, так долго моесси в ванне. А я им, оскалась, отвечаю: оттого что тело свое люблю. И верно, ванна наша грязная, никудышная, клозет рядом, а тараканов и крыс, как баб на пляже, так что окромя моего тела там ничего интересного нету. Правда освещение палит, как все равно свет в операционной, но это для того, чтобы тело видней было. А в теле-то и весь смак... Я на собственное тело, как кот на полусумасшедшее масло смотрю... Вроде вкусно, но чудно больно.

Но начну, впервой, по порядку.

После работы, когда я, через каждый день, заграбастав одежку погрязней — я, читатель, люблю, из ванны вылезаячи, во все грязное одеться, так противуречия больше — так вот, заграбастав одежку, с гитарой под мышкой, шныряю я по нашему длинному коридору в ванную.

Соседи, как куры глупые, уже сразу волноваться начинают.

— Наш-то уже в церкву свою безбожную побег, — говорит обычно старушка Настасья Васильевна.

А я, Ваня Кирпичиков, уже из ванны, запершись, иной раз крикну: «Душу, душу трите, паразиты!» Потом уши духом заткну, чтоб не смущали меня всякие собачьи вольности и крики. Разденусь и брык — в воду. Вода для меня, что слезы Божьи, ласкают, а все равно непонятные. Но каюсь, опустил, опустил... Таперича я этим мало занимаюсь, больно страшно... Но раньше бывало... Прежде чем воду напустить, я, бывалоча, ложусь в сухую ванную, без воды, голышом, и раздвинув пасть, со смешком в единственном моем глазу люблюсь чудесами тела своего... Если и ржу, то громко, на всю хвартеру... Мне стучат, а я еще громче кричу, потому что в пухе-то я совсем обособленный...

А чудес на мне видимо-невидимо... Ежели взять, например, волосье, так что ж я, по Божьему пониманию, всего-навсего лес дремучий?! Ха-ха... Меня не обманешь...

Еще люблю язык свой в зеркалах разглядывать... Иго-го... Больно большой и страшный, как сырое мясо... А какое я, Иван, имею отношение к сырому мясу. Во мне душа во внутренних — а не сырое мясо. Часто, положив, помню, ногу на ногу, я в другое мясо свое, на бедре, долго-долго вглядываюсь.

— Ишь, мясо, а ведь не скушаешь, — подмигиваю глазком своим.

Иногда лупу возьму и через нее в ногу всматриваюсь — извилин-то сколько, извилин, а еще профессора говорят, что они только в мозгу... Я те дам в мозгу... Я сам себе доктор. Было дело, правда, один раз я забыл, что я доктор и совсем дошел.

Взял я тогда с собой в ванную вместо гитары ржавый столовый прибор и решил самого себя съесть. Я ведь иной раз бываю религиозный. Что ж — думаю — кур жрем, а до себя не дотрагиваемся. Не ладно это, Иван Пантелеич. Почесал я член и пошел себя жрать. Дело было к вечеру, тихо везде, спокойно, даже птички щебетать перестали. Им-то что, птичкам. Они себя не едят. Потому как нет у них разума.

Так вот, помню, разлегся я тогда в сухой ванне, нож о зубы свои, как следовало, поточил... И нет чтобы тело все сделать, по-интеллигентному, по-товарищески, обципать там мясо на ляжке, приглядеться, обнюхать, облюбовать — нет, раз! как саданул что было сил в ляжку... Крови-то, крови потекло, хоть святых выноси... Я и облизнуться не успел. Изогнувшись пообезьянью, я все-таки припал. И радость-то велика, Ваня, собственную кровь пить! По губам у меня все текло, неповоротливый я такой, словно простуженный. Кровь-то в мое горло так и хлещет, в животе, как в берлоге, тепло, а я думаю: боевой ты, Ваня Пантелеич, — думаю — Бонопарте, — и почти поэт... Я в ентуй крови как бы сам из себя переливаюсь... Из ляжки — в горло... Круговорот природы, игра, так сказать, веществ... Ване Пантелеичу бы по этим карманам у руля Всяленной стоять, с звездами перемигиваться... Их... Только помню ослаб я тогда. Ванна в крови и в каком-то харканьи... Встаю, еле подштанники одел — и в коридор, к народу! Вид у меня, правда, был дикой, окровавленный, тело голое, как в картине, и глаз блуждает... Но ничего, народ — добрый, подсоблять начал. А я кричу — «я уже нажрамшись, спать теперь хочу... Ишь, ангелы»...

Вот какая была история. Рана потом зажила. Но этот случай стал, можно сказать, экстренный. Снова я себя так неаккуратно не ел. Иной раз только кулак в рот засунешь и сусеешь для воспоминания. Но больше я теперь к телу своему отношусь умственно, с рассуждением... Пугает оно меня. Иной раз вот ляжу, ляжу в сухой ванне — час, другой — все в тело свое пристально, как етот инквизитор, всматриваюсь... Мозга почти не работает, только удивление так шевелится, постепенно, часами: ух — думаю — тело какое белое, с закорючками, загадочное, ух и чудеса, чортова мать, и почему нога впрямь растет, а не вкось... Ишь... Так гул-то во мне нарастает и нарастает, я глаза на тело свое пялю, пялю, да вдруг как заору. Выскочу из ванной, дверь настежь и бегом по коридору. Это я от тела своего убежать хочу... Бегу стремглав... А сам думаю: ха-ха, тело-то свое ты, Кирпичиков, в ванне оставил... Ха-ха... Скорей, скорей... Беги от него... Надоело ведь... Ошалел от него, проклятого.

Соседи во время этих историй на крючки запираются. А свет погашу и в шкаф плотный такой с дверцей забьюсь: от собственного тела прячусь. Как бы еще не кинулось, не придушило меня, ненормальное... Я из шкафа тогда, граждане, по два дня не выхожу. Даже молитвами меня оттуда не выманишь.

И то правда, было со мной одно происшествие, не пойму, то ли во сне, то ли наяву. За мной собственное тело, голое, с топором по улице гналось. Я бегу — а оно за мной. «Караул, — кричу, — куда милиция смотрит!»

Так вот, бежим мы, бежим — я с криком, а тело молча, за

мною, мимо старушек сиворылых и всяких оглоушивающих вывесок. Народ на нас — ноль внимания, только одно дитя рот разинуло. Я вижу — спасу нет; юрк в подворотню и в — помойный бак. Сознание у меня совсем неприятное сделалось. Жду. Вдруг стук о крышку помойную. Обмер я. Потомуч крышка приоткрывается и вижу я — харю тела моего, на меня смотрящую... Ну я туда, сюда... Съеживаюсь... И вдруг — чмок! поцеловал тело мое в губки. И знаете, разом сняло! Тела уже не было, тело стало при мне, спокойное, как у всех. Я из бака остро-роженно так вылез, огляделся на Божий свет и покачал головой: «и какую же только хреновину Создатель на этом свете не выкинет... Ишь, проказник». И удавил маленького, тшедушного котенка... Ну а вообще-то я веселая... Не всегда, не всегда Ваня Пантелеич так кондов. Я ведь побаловаться люблю. Но только не в сухой ванне. Я уже говорил, что вода — как Божьи слезы. Когда я гнусность свою — телеса — окунаю в эдакое, теплое пространство, то я совсем сам не свой делаюсь. Точно меня Душа расслонявила. И весь я от мира — водичей этой — огороженный. Мыслишек никаких, но зато слух — на радость и на полоумие обращен. Оплескав слезками мира сего тело свое драгоценное, наглядевшись, нанежив клетку каженную, я ручищу протяну — и с табуретки гитару — хватить!

И улыбка-то на мне тогда Божья, как все равно у князя Мышкина. Прямо до ушей. Но громкая. Треть тела моего с головой — вне воды, в руках мускулистых — гитара... И как зальюсь, как зальюсь, бывалочи, песнею... «Не брани меня, родная, что я так его люблю» или «Не могу я тебе в день рождения...»

Так что гул по всей квартире стоит. Милицию вызывали, но я от всех диаволов водичей этой завсегда огороженный.

Но хватит, хватит об этом, братцы. Я ведь иди к концу учо.

А недавно я на все плюнул.

Посоветовавшись — смеха ради — со старым корытом, висящим у нас в ванне, я насчет тела своего точку поставил. Нет у меня тела — и все. А что же я тогда мыть буду?

И решил я тогда, Ваня Кирпичиков, мыть вместо себя вешалку. Куклу на нее драную, без личика, для видимости одел — и все.

Сам на тумбочке голый сижу, в темноте, иной раз песенку заунывную завою — но вешалку полоскать полощу, водичей горячий брызну. И словно я теперь становлюсь загробней. Нет у меня тела — и все. Вместо тела — вешалка, которая там, не у меня, а в ванной. А я сам по себе, холеный такой и высокоумный. Соседи ничего не понимают, а я все отдаляюсь и отдаляюсь.

И чудно — как тело свое я таким путем от себя отдалил, грусть у меня сразу пропала. И тело мое стало спокойней: с топором за мной уже не гоняется. Знает — я ему честь отдаю, в ванне мою. В шкаф я больше не прячусь, знаю, знаю, покой для меня наступает на свете. А то раньше: лишь в комнату свою зайду, то под стол загляну, то под кровать — не прячется ли где с ножом мое тело?! Все ведь от него можно ожидать, одичавшего.

Но теперь спокойней, спокойней. А когда во вне спокойно, никто тебя не тревожит, съесть не хочет — я теперь никогда не порываюсь, читатель, себя съесть; пропало все, не пустоту же есть — когда во вне спокойно, то и в душе весело-весело и все на дыбы становится.

А вчера я с телом своим навсегда расстался: помыл вешалку, как следовало, поцеловал словно мать родную, простился — и все разом сжег. В ванне. В сухой. Огонь так и польхал из окон. Прямо на улицу... Пожаром.

... О, Господи, какое во мне спокойствие. Таперича Ване Пантелеичу большие дела предстоять.

ХОЗЯИН СВОЕГО ГОРЛА

Этот человек жил в затемненной, сумасшедшей комнатушке, разделенной висячими, полурваными одеялами на четыре равные части.

В каждой части жила своя, отъевшаяся салом и заглядывающая в пустоту, семья. Только в одной, задней части, куда солнце проглядывало только через рваное одеяло, — жил он. Комаров Петр Семенович, хозяин своего горла. Формально это место называлось общежитием, а на самом деле было скоплением мертвых, без всякого потустороннего выхода, точно застывших душ. Но Комаров не входил в их число. Раньше он любил на гитаре играть, малых деток ведром с помоями пугать. Но сейчас — все это позади. Свое новое, импульсивное существование Комаров начал с того, что неожиданно, столбом упал на колени и так долго, долго простоял в своей конуре за колыхающимся одеялом.

Уже тогда эти тени мелькали у него на стене. Но сумеречно, вернее, это были тени теней. Главное — находилось в нутре.

С этого момента Петр Семенович почувствовал, что он становится хозяином своего горла. Точнее, он теперь понял, что его сознание предназначено и появилось на свет для того — и только для того — чтобы ощущать это горло и жить его внутренней, в некотором смысле необозримой жизнью.

Поднявшись наконец, Петр Семенович засуетился и, подхватив сумку, поспешил на работу, в учреждение, где учитывались свиньи и прочий скот.

И сразу же он почувствовал неудовольствие, чего раньше с ним никогда не случалось. Именно: ему стало неприятно, что он настраивает свой интеллект на все эти учеты и прочие размышления, в то время как он — интеллект — теперь должен быть предназначен только для горла.

Просидев часика два, Комаров не выдержал и, схватив со стола часы, убежал.

Пришел домой в несколько взбудораженном состоянии. За одеялом раздавался угрюмый вой; кто-то большой и голый ползал по полу, заглядывая в соседние, отделенные одеялом «комнаты».

Закутавшись в другое, спальное одеяло, Комаров лег под кровать, что он делал всегда, когда хотел создать видимость своего отсутствия. Конечно, не только для людей.

Взял в руки Библию и стал читать. Но опять поймал себя на огромном, неизвестно откуда взявшемся сопротивлении. Его вдруг снова стало раздражать, что приходится использовать сознание для ненужного, несвойственного ему дела. Точно он испытывает свой дух не по назначению.

В конце концов, Комаров скрутился калачиком и задремал, погрузив свое «я» в горло. Чудесные картины открывались ему! Порой ему казалось, что его горло распухает, приобретая дикие размеры, уходящие в загробные миры. И он сквозь красные прожилки своей гортани видел немислимые, беспорядочные реалии: Божество, бегущее с ведром за курицей, некие линии и мышонка, запутавшегося в сплетениях Гегелевского духа.

Но внешнее мало интересовало его: иногда этот, виденный им загробный мир казался ему просто загробным сном, более соответствующим, правда, своей действительности, чем обычно земной сон — своей.

В целом он весь жил этим горлом. Нырлял своим «я» в его кровь, и его сознание как бы плыло по крови, как человек в лодке по реке. Шептался с шевелениями своих жилок; заглядывался на их бесконечную красоту.

— Что кашлять изволите, Петр Семенович, — вернул его к так называемой реальности человеческий голос.

Толстый голый мужчина в тапочках — сосед — сидел у него на кровати и играл сам с собой в карты.

Петр Семенович показал с пола свое бледное, изможденное течениями лицо.

— Тсс! Никому не говорите, что я у вас, — приложив лапу к губам, проговорил сосед. — Меня ищут. Но ребенок запутался в одеялах.

Комаров смрадно выругался, чего раньше с ним никогда не бывало, и неожиданно ущипнул толстяка в задницу.

Тот, перепуганный, что-то прошипел и на четвереньках пополз в соседнюю одеяльную комнату.

Вообще, действительность рушилась.

Комаров теперь ясно видел, что мир не имеет никакого отношения к его сознанию, особенно как некая цель. Цель состояла в горле.

Идя по этому пути, Комаров бросил свою карьеру в учреждении по учету свиней. Он вообще перестал работать. Неизбежную же пищу он добывал на огромных, величиной, наверное, с Германию, помойках, раскинувшихся за чертой города.

Существовать так не предстояло труда, но Петра Семеновича все время смущала малейшая направленность его сознания на «пустяки» или «бесполезность», то есть, иными словами, на мир.

Рано утречком — еще соседи колыхали своим храпом одеяла — Комаров бодренько, обглодав косточку, выскакивал на улицу и замирал в изумлении. Божие солнышко, травка, небо — казались ему противоестественными и ненужными.

«Надо жить только в горле», — думал Комаров.

Даже от его бывшего увлечения молоденькими женщинами не осталось и следа.

Он пытался также сократить прогулки до помоек, набирая свою относительную пищу на целые дни. Впрочем, и во время этих встреч с творением он наловчился так погружать свое «я» в горло, что фактически вместо мира ощущал темное пятно. Он брел как слепой.

И все-таки все реже и реже он выходил на улицу.

Только высокие, пестрые, уходящие в потолок одеяла окружали его. Иногда он видел на них смещения цвета.

Рев, доносившийся из соседних «комнат», уже не доминировал. А голый мужчина больше никогда не заглядывал к нему.

Скрючившись, Комаров жил в горле.

Он уже явственно ощущал в своей глотке пустоту, потому что его сознание ушло в сторону. Иногда, закрывши глазки, он издавал какие-то непрерывные урчания, звуковые липучки, просто нездешние звуки.

Но, в основном, была тишина.

Комаров видел перед собой внутреннее существование своего горла — эту радостную непрерывную настойчивость! Его «я» барахталось в горле и было бы смрадным осознанием каждого его движения, глотка. Внутренними глазами он видел весь безбрежный океан этих точек, кровеносных сосудов, мигающих неподвижностей. Плавал по их длинному, уходящему ввысь бытию. И его потрясло это настойчивое, уничтожившее весь мир существование.

Редко, протянув руку за кружкой, он отпивал глоток холодной воды, чтобы смешать ее с этим новым открытием. Тени теней на стене становились все более грязными и видимыми. Они сплетались, расходились и уходили в другой мир.

Иногда нависали над комнатой.

Его больше всего удивляло, что же сделалось с сознанием?

Оно превратилось в узкую точку, больную своим непосредственным великим существованием. Это противоречие смешило и раздражало его.

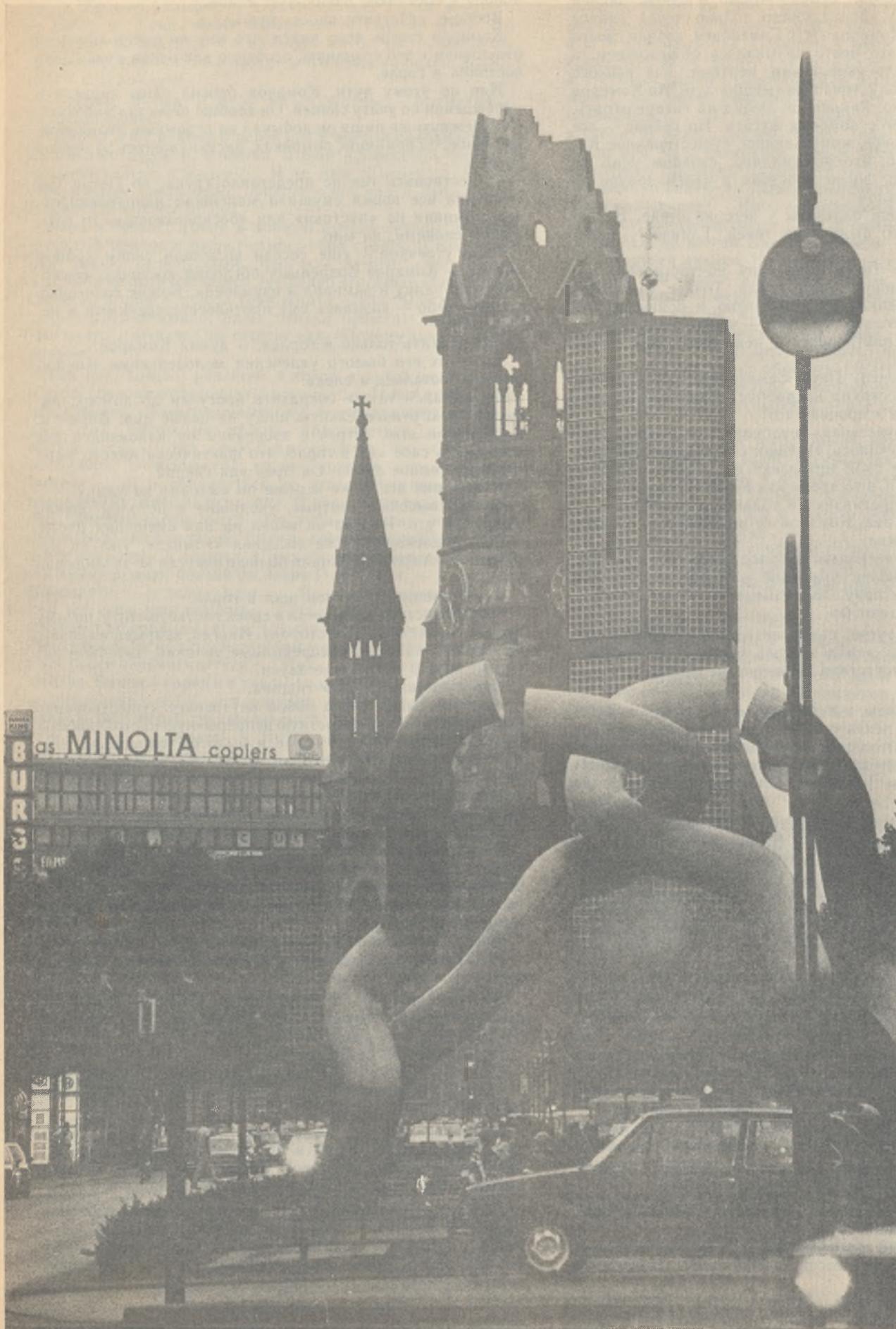
Но наконец он смирился с ним.

Он видел даже цвет своего сознания, погруженного в горло. Оторванное от своего прежнего существования, оно жило новым миром.

И вдруг — все это неожиданно разрешилось. (За его комнатой, кажется, колыхались ватные одеяла.) Сначала он умер. А потом, а потом — вот он был выход, который он так ждал, который он так предчувствовал!

Его душа, оторвавшись от жалкой, земной оболочки, ушла. Но так, что обрела невиданную, страшную устойчивость, почти бессмертие — потому что в ней, в душе, не было ничего, кроме отражений жизни Комарова в горле.

А тело Комарова выбросили на помойку; кто-то заглянул ему в рот и увидел там, в глубине, изъеденные, черные впадины.



ХЕЛЕНА ДЕМАКОВА

Гвидо Кайонс (фото)

**ИНТЕРФЕРЕНЦИИ, ИЛИ В ГОРОДЕ ИСКУССТВ,
ОКРУЖЕННОМ ВОСТОКОМ**



НАЧАЛО

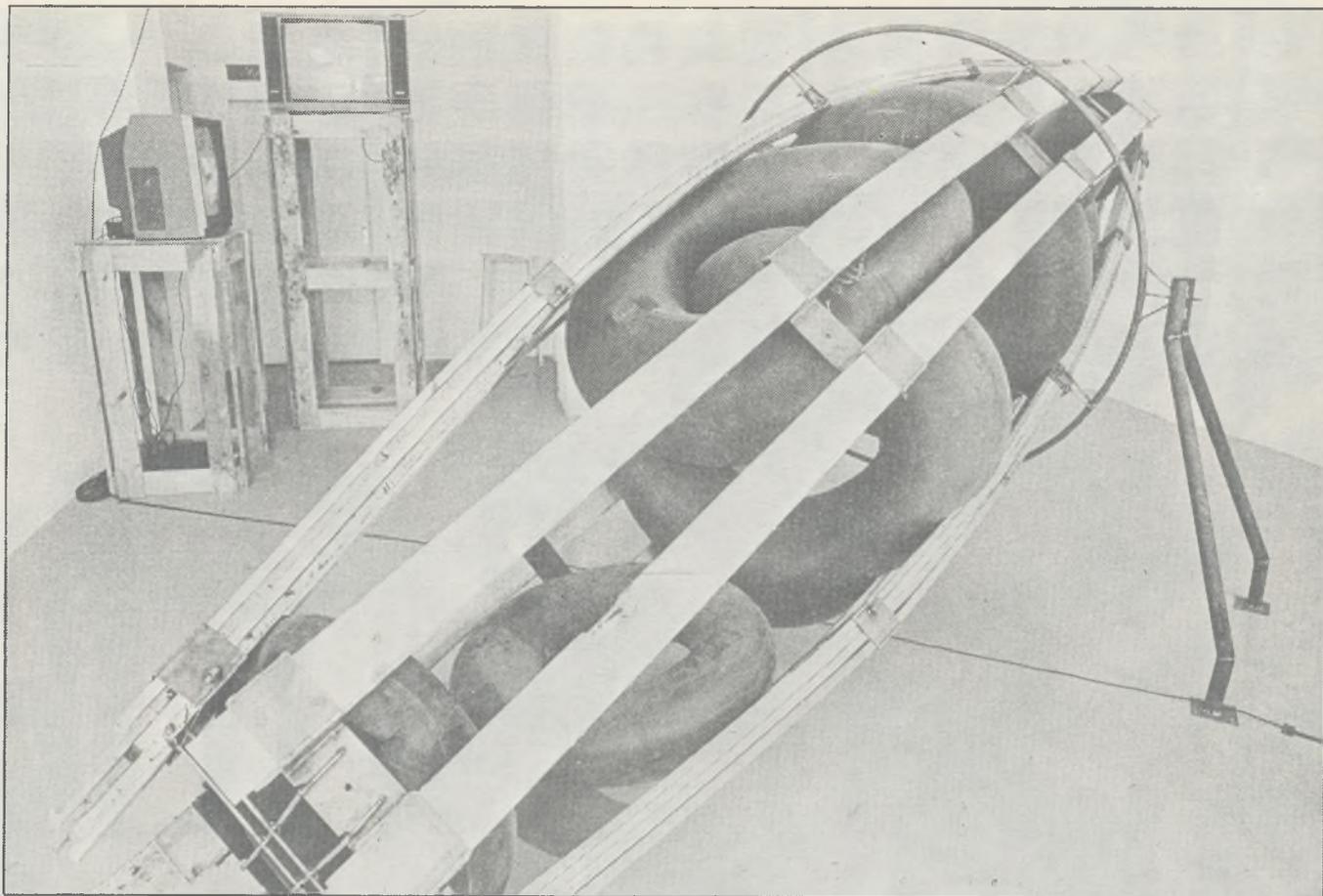
Деньги выделены. Можно браться за перо.

Ситуация такова: за плечами четыре поездки в Западный Берлин и полный разлад с редакцией «Родника», которой давно была обещана статья. Но как объяснить всем редакциям, что на сей раз речь шла больше о деньгах, чем об искусстве?

Искусство в Западном Берлине никуда не денется... Наши деятели культуры привыкли работать бесплатно, то есть на голом энтузиазме, и на этом строить т. н. «культурную политику». Но чего стоили бы все красивые и содержательные слова насчет Западного Берлина, коли не эта только что выделенная сумма — гарантия того, что выставка западноберлинского искусства летом 1991 года в Риге не пустой звук? 600 тысяч западногерманских марок — и все выставочные помещения в Риге будут заполнены, акции и *performanse* вдохнут новую жизнь в примолкшие Дни искусства. Мы, сотрудники Комитета по культуре и Союза художников, держали кулак, ездили на переговоры с Сенатом по культуре Западного Берлина, писали письма и созванивались с западноберлинским Новым обществом изобразительного искусства (НОИИ), пока наконец через полтора года деньги были получены. Вот так, на первый взгляд невероятно просто — лотерей-

ный совет Западного Берлина по рекомендации Сената по культуре взял и выделил какому-то малознакомому городу в Советском Союзе кругленькую сумму на проведение одной культурной акции. Зачем? Для чего им это? Для чего нам?

С ними всё просто. Восток там сегодня в моде, и они хорошо усвоили сказанные Горбачевым известные слова о том, что Прибалтика — это «окно в Европу». У них есть возможность продемонстрировать (финансовая возможность) свою терпимость и поддержку развитию отношений между Востоком и Западом. И все же главное в том, что Западный Берлин — это такой остров-миф, для поддержания которого необходимы непрерывная деятельность, пропаганда и неустанное подкармливание. Они убеждены, что в Западном Берлине особое ощущение мирового пространства и времени, особая атмосфера и своеобразная культурная ситуация. Конечно, они правы. Они убеждены, что Западный Берлин превратился в одну из метрополий мировой культуры потому, что там, например, в *Schaubühne* работают Петер Штейн и Хайнер Мюллер, в филармонии играет выдающийся симфонический оркестр (увы, уже без Герберта фон Караяна). Что ежегодно проводится Международный кинофестиваль, имеется огром-



Вальтер Грамминг. Выставка «Рабочая поэзия», 1989.

ное число музеев, выставочных залов и художественных галерей.

Западноберлинские художники часто рассуждают попроще: в городе самое большое количество кафе на душу населения, большинство которых открыто почти всю ночь (в отличие от ФРГ), алкоголь и жилье тоже долгое время были дешевле, чем в ФРГ, к тому же юноши не служат в армии. Западный Берлин — дорогое удовольствие для ФРГ... Теперь и мы вкусим от этого пирога.

Никому не известными просителями нас, правда, не назовешь. Летом 1988 года мы смогли предложить им выставку «Рига — латышский авангард», но, опять же, выложили за это мероприятие несколько тысяч, они целых 60 000 немецких марок.

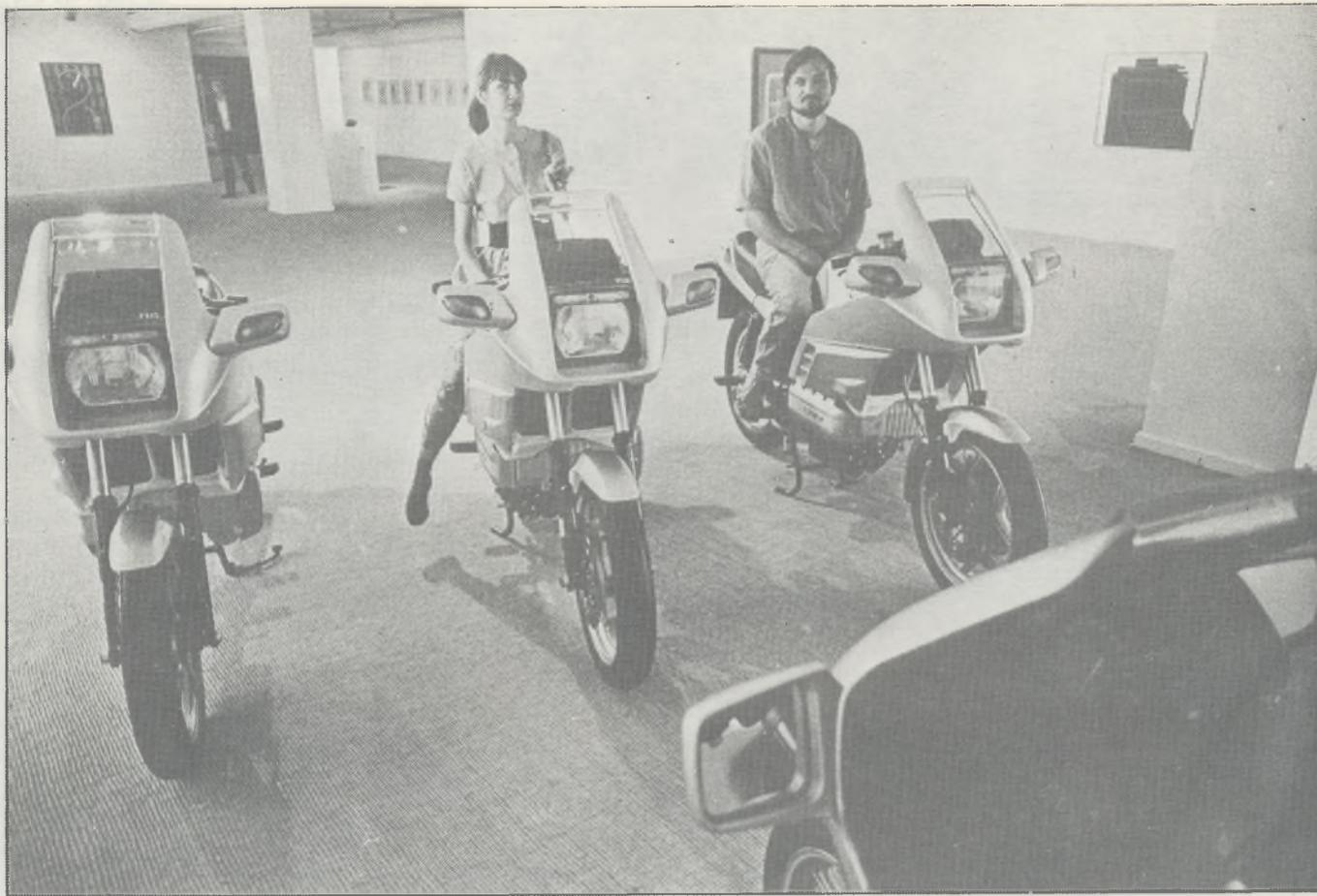
В те жаркие дни лета 1988 года в западноберлинском Сенате по культуре, у бывшего сенатора Ф. Хассемера, впервые прозвучал призыв Дж. Скулме об организации ответной выставки в Риге, на которой были бы представлены работы западноберлинских художников. Партнер — организатор выставки нашелся бы. Все то же НОИИ, организовавшее выставку нашего авангарда, и во главе всего снова Барбара Штрак — человек компетентный, энергичный и, как мы убедились на месте, со стабильными позициями на небосклоне западноберлинского искусства.

Итак — что даст нам эта выставка? На этот вопрос ответит целая серия статей, за подготовку которых взялись наши искусствоведы «левого крыла», если понимать под левизной многолетнее углубленное изучение процессов в западном искусстве XX века.

Осмелюсь утверждать, что надежды, которые мы, члены рижской рабочей группы, связываем с реализацией этого проекта, выходят за рамки отражения художественной жизни одной западной метрополии. Признаюсь, правда, что я успела полюбить именно этот город, его искусство, художников и функционеров от искусства, но тем сильнее во мне сознание, что сердце мое навеки отдано столице Латвии, рижским художникам. В силу стечения

обстоятельств долголетним руководителем НОИИ был латыш Валдис Аболиньш, а приглашенная им латышская художница из Риги Майя Табака сумела зарекомендовать себя в Западном Берлине с лучшей стороны и поддерживать живой контакт с тамошними художниками. Это великопное совпадение, что членами НОИИ являются четыре нетипичных западных латыша из ФРГ — наследники 68-го года Марута Шмите, Индулис Билзенс, Эдвинс Паас и Мартиньш Буманис. Но не случайное совпадение, а логическая закономерность, вытекающая из нормализующего круговорота искусства, — достижения нашего так называемого поколения авангардистов, созвучный эпосхе талант этой части наших художников, заинтересовавший немецких искусствоведов, активизировавший с помощью проекта «Рига — латышский авангард» связи между Ригой и Западным Берлином, убедивший западноберлинцев в том, что наша столица действительно является культурным городом.

Словом, мы связываем свои надежды с возможностью впервые за послевоенные годы наглядно показать беспрепятственное развитие искусства на протяжении трех десятилетий, с 1960 по 1990 год. То, что типично для искусства Западного Берлина, типично и для всей Западной Европы, правда, с оговоркой — пространственная изоляция этого города породила и своеобразные темы и настроения. Я имею в виду и, особую политизацию тамошних художников в начале 60-х годов, и более раннее отрицание ими всего политического как реакцию на сверхполитизацию недавнего тоталитарного прошлого. А также множественную культурную среду этого города, интернациональный момент как органическую составную часть целого. В Западном Берлине много зарубежных художников, которые там, пожалуй, неплохо устроились. По крайней мере американцы Эдди и Нэнси Кингольцы, которых я заметила за соседним столиком в «Парижском баре», где собираются художники, производили впечатление берлинцев, которым уютно в своем городе. Вот и Бенуа Мобрэ (француз? американец?), в мастерской которого я провела



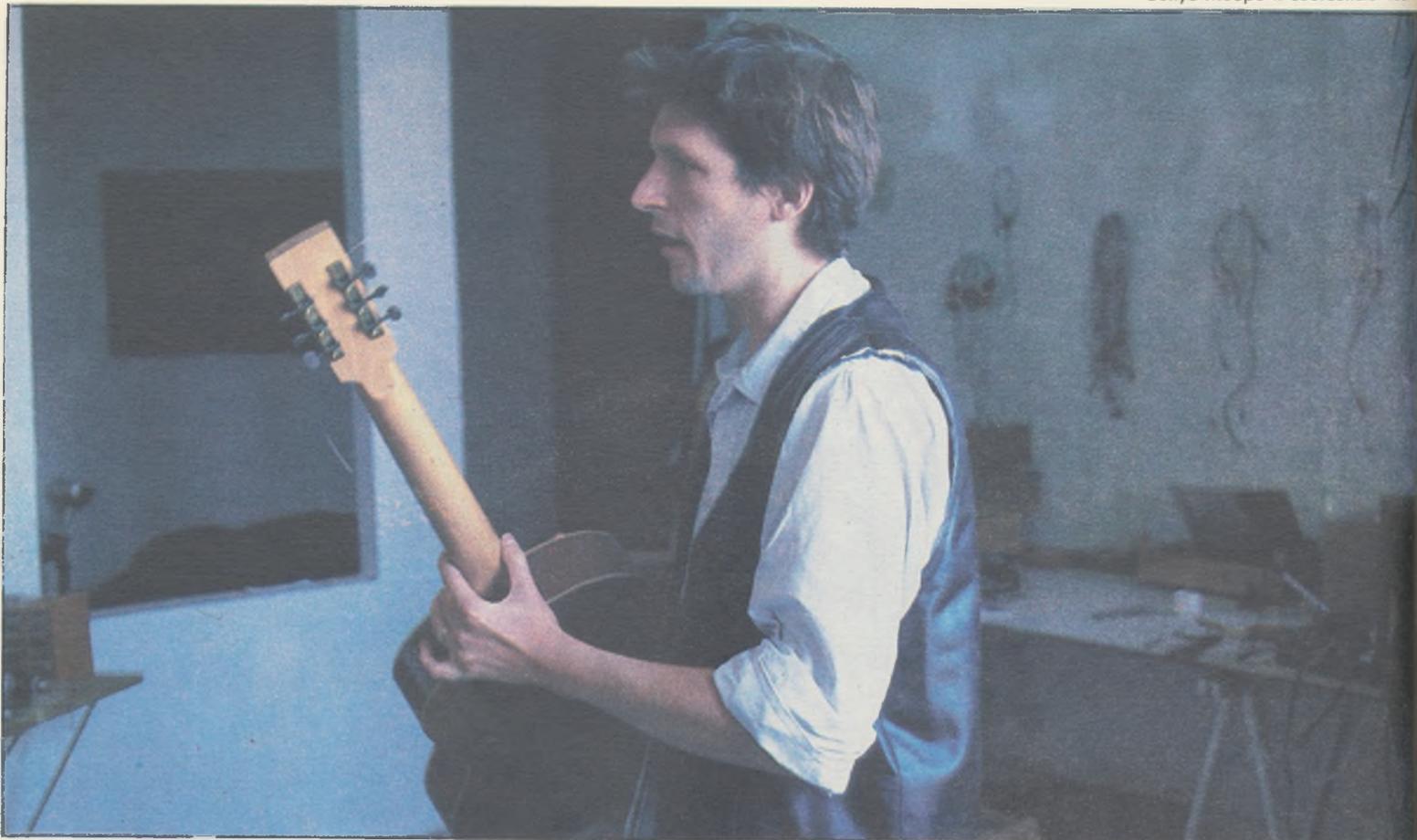
Выставка «Люди—машины» — на произведениях А. Лечи сидят автор статьи и Олег Тиллберг (оба из Латвии).

несколько часов, делает теперь, по его собственному выражению, «берлинское искусство» и «маленьких берлинцев» (его маленький сынишка ползал по полу). Живет этот молодой художник небогато, но фантастична сама возможность подвизаться в подобной сфере искусства — он творит акустические сооружения, нечто такое, что невозможно продать. По концепции Мобрэ, люди + звукоаппаратура есть неповторимый художественный образ, его воображение простирается от обыгрывания звуков и среды метро до потока ассоциаций, вызванных рассеянным стадом животных, бродящих по зеленым холмам. Максимальная степень общения со случайным прохожим или посетителем какого-нибудь большого фестиваля — вот цель искусства Бенуа Мобрэ, ради которой он забросил живопись. На что живет? Конечно, спонсоры за спонсорами. И еще интерес институтов культуры к его искусству, что позволило ему задешево (!) оборудовать большую мастерскую в бывшем фабричном корпусе. (Я сразу вспомнила зов о помощи живущей в коммуналке Аи Зарини — все ее просьбы предоставить подходящее для занятий живописью помещение натываются на глухую стену.) Может, мы и стали думать о культуре иначе в тесных узах своих нищенских материальных возможностей, но опять-таки о культуре «вообще», забывая, что культуру творят люди, которые однажды могут выдохнуться вопреки всему. Восхищаясь изобретательностью и размахом, с каким работает Мобрэ, я все же, да простится мне такая ересь, как сравнение различных по сути талантов, отдаю предпочтение Аие. Мир не слеп и нем, персональные выставки Аи путешествуют и будут путешествовать из Нью-Йорка в Западный Берлин, из Чикаго в Стокгольм. Это мы не замечаем алмазы своего искусства и его творцов, и я очень надеюсь, что как раз громадная выставка западноберлинского искусства в Риге пробьет хоть какую-то брешь в этом доморожденном самодовольстве. Главную услугу искусство этого города, по моему, нам уже оказало: дало заряд большой группе рижских художников и искусствоведов. Но еще бывает, что

местные стереотипы берут верх, и какой-нибудь организатор художественной жизни, навосхищавшись творчеством того или другого берлинского художника, по приезде домой третирует сходные явления в нашем искусстве, презрительно называя их «авангардом» и по привычке отлучая от «подлинных ценностей». Ну коли так, то все экспонаты и свершения предстоящей в 1991 году выставки западноберлинского искусства в Риге следует называть авангардистскими, может быть, за исключением небольшого числа полотен начала 60-х годов, выдержанных в социально-критическом духе, и части объектов дизайна. Ибо то, что предлагает в своей концепции выставки рабочая группа НОИИ, это, цитируя Барбару Штрак, «включенность в общий контекст истории европейского искусства», «импульсные и сигнальные функции развития западного искусства в среде Западного Берлина», отражение «современного искусства Берлина», взятого в развитии с 1960 года в **расширенном контексте понятия искусства** (выделено мною. — Х. Д.), и «определение тем для разных точек зрения и их вовлечение в полемику по таким стилистическим классификациям и понятиям, как «реализм», «концептуальное искусство», «авангард», «постмодернизм» и др.».

Именно размышляя об этой концепции НОИИ, которая предполагает отразить, с одной стороны, основные направления в искусстве Западного Берлина за последние 30 лет, а с другой — более «классическое» направление, что там означает более радикальные проявления, меня терзает сомнение в способности нашей публики воспринять всё это. Да, конечно, большое искусство говорит само за себя, но что толку апеллировать к тем, кто надел глухую шапку. Большинство уютно себя чувствует в состоянии глухоты и шапку снимать не желает. Искусство упомянутой выше Аи Зарини — типичный пример того, как мы реагируем на то, что тревожит наш привычный комфорт.

Непривычно и словосочетание «концептуальная выставка». Большинство наших музейных работников ничтоже







OK
15:-

May 15 1968

15:-

15:-
15:-

Handwritten scribbles



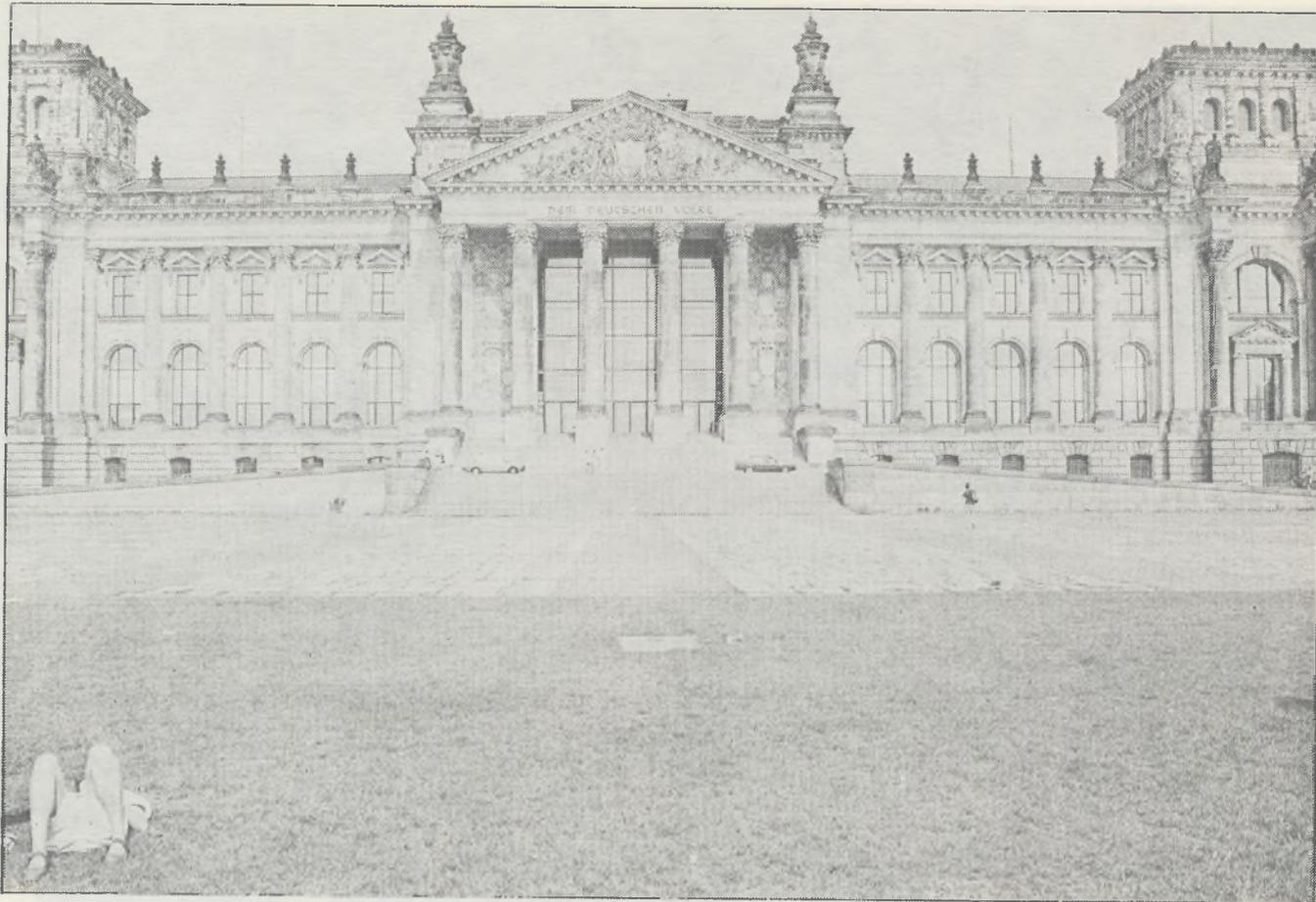
сумняешься полагает, что они-то и делают такие выставки, не понимая, в сущности, разницы между «тематическим» и «концептуальным». Оставим, однако, эту грустную тему. Просто мне хотелось бы на нескольких примерах показать, как устраиваются выставки там, то есть как приблизительно будет рождаться и большая экспозиция 1991 года. Как известно, вначале было Слово. Может, по отношению к царству образов это звучит и странно, однако идею крупной, солидной художественной выставки кто-то вначале облакает в слова, и лишь затем можно рассчитывать на второе слагаемое в формуле «искусство + деньги». Значит, сначала не **что**, а **почему**, и в декадентском настрое самооценности вещей, характерном для конца столетия, это лучик надежды, подчинение капитала интеллекту, не отрицая при этом ценности факта искусства как такового. Творческая мысль обрастает делами, и это вовсе не отрицание творения художника как первичной ценности в процессе искусства. Потому что, как я уже говорила, речь идет о **выставке**, о целенаправленном отборе произведений, отражающих определенную идею, некий феномен, какой-либо процесс, конкретный отрезок времени, завершённую эпоху или длящийся период. Приведу ярчайшие примеры подобных концептуальных выставок из представленных в Западном Берлине.

В конце 1988 года на бывшем железнодорожном вокзале Вест-Энд проходила выставка «СПИД», организованная членом НОИИ Франком Вагнером. С целью показа разрушительных последствий этой болезни для общества, сознания и взаимоотношений между людьми Вагнер пригласил участвовать в экспозиции группу самых ярких художников Западного Берлина и ФРГ, а также зарубежных мастеров. Часть из них неизбежно были гомосексуалисты, поскольку именно эти люди представляют наибольшую группу риска в смысле заболевания СПИДом. Огромная экспозиция включала в себя как произведения всемирно известных немецких неоэкспрессионистов (Саломея), так и концептуальные увеличенные фотографии (Астрида Клейн), выразительную современную пластику, которая, пожалуй, самым непосредственным образом передает

напряженность страстей и коллизии (Ф. Дорнзейф). Рядом со всем этим — документальные снимки и видеоматериалы с последней исповедью умирающих, и тут же ряд небольших помещений, в точности воспроизводящих интерьер профилактических и благотворительных учреждений. Такая выставка убеждает в сто раз сильнее сухих газетных статей, и сравниться с ней, на мой взгляд, может разве что посвященная теме СПИДа пьеса Уильяма М. Хоффмана «Как оно» («As is»), признанная самым выдающимся произведением американской драматургии в 1985 году.

Совершенно иной характер носила состоявшаяся тоже в завершение 1988 года грандиозная выставка «Опорные точки модернизма» («Stationen der Moderne») в Берлинской галерее, которая на первый взгляд представляла собой тематический смотр искусств. Произведения, относящиеся к основным направлениям искусства XX века, как бы сами собой располагаются в определенном порядке, но сущность концепции и проявляется в таком расположении и отборе. Что является предвестником модернизма? Что важнее — показать произведения конкретного периода или воспроизвести среду какой-либо выставки? Где должен доминировать документальный материал — фотографии, документы, видеofilмы, а где — сами произведения искусства? Такие миллионные проекты, как «Опорные точки модернизма», своей логикой и наглядностью действительно перевешивают множество альбомов и книг, и мелких выставок в постижении феномена «искусства XX века». В сущности, это была выставка о выставках, о значительных событиях в жизни искусства, послуживших импульсом для последующих перипетий (скажем, о первой выставке дадаистов и втором Кассельском *documenta*).

Выставка «Люди — машины» в июне 1989 года в западноберлинском центре Кунстхалле вобрала в себя произведения искусства из многих музеев и коллекций мира, и все представленные картины, рисунки, скульптуры, разного рода (в том числе и видео) сооружения раскрывали



Фриц Гилов на Сицилии.

связь человека с техникой, его приспособление к ней или, наоборот, сопротивление, не говоря уже о чисто эстетическом восприятии механизмов. Наряду с работами классиков модернизма Марселя Дюшана и Жана Тингели экспонировались сооружения из зеркальных стекол «Танец дроздов» молодой талантливой немки Ревекки Хорн и внушительная видеoinсталляция «Стальные слезы» бельгийки Мари Жо Лафонтен. Интересно, что те молодые латышские художники, с которыми мы тогда вместе были в Кунстхалле, наиболее высокую оценку дали именно этим дамским работам. В другом большом «халле» — западноберлинском *Kongresshalle*, где проходила всемирная ретроспективная выставка видеoinсталляций, самое большое впечатление тоже произвела новая работа М. Ж. Лафонтен. Это только несколько примеров, должествующих показать, что «женское искусство» — отнюдь не надуманная тема в западноберлинской художественной среде и не блистательный феминистский каприз нового западноберлинского сенатора по культуре Анке Мартини с ее Культурной программой. Эта программа, о которой много писалось в западногерманской прессе, хотя и нацелена на большую экономию в области культуры для перекачки средств на социальные нужды, все же убеждает своими демократичными пропорциями в плане распределения средств между признанными «официальными» явлениями искусства, сосредоточенными в центре города, и культурными проявлениями на окраинах Западного Берлина (вольные театральные группы, библиотеки, новые виды искусства масс-медиа). И хотя Анке Мартини утверждает, что не намерена «финансировать всякие фейерверки» (см. «Шпигель», № 14/1989), имея при этом в виду дорогостоящие репрезентационные проекты прежнего правительства Западного Берлина по случаю 750-летия города, а также мероприятия 1988 года, представлявшие Западный Берлин как европейскую культурную метрополию, все же в программе делается акцент на то, что «Берлин не был и не будет заштатным городом».

Мне довелось увидеть телевизионные «Talkshow», где Анке Мартини отвечала на вопросы под перекрестным огнем журналистов, художников и обывателей. Осанка, логика, умение держаться, своя позиция — всего этого новому сенатору не занимать, и все же... как уныло однообразны такие сценки в разных частях света, если люди не говорят самое существенное. После многих «за» и «против» «красно-зеленой культурной политики», после детального изложения предложений, касающихся дальнейшей судьбы берлинской культуры, встал под конец седовласый западноберлинский профессор и напомнил о том, что и без всяких громких фраз чувствует каждый интеллигентный человек, независимо от своей профессии. Он просто сказал, что культура есть и будет, что она складывается равным образом как в русле течения господствующего духовного настроения и главенства той или иной партии, так и против течения, и единственное, о чем не следует забывать, это что культура способна гуманизировать отношения между людьми.

На этом мне и хотелось бы поставить точку в своей первой статье из серии статей о западноберлинском искусстве (и жизни), остальное вы увидите сами из иллюстраций, которые в комментариях не нуждаются. Снимкам Гвидо Кайона можно доверять полностью — в жизни всё так, как на фотографии. Это потому, что у него абсолютное зрение, которого нам так не хватало в наших первых поездках.

Мои друзья, по причине пунктуального начала рабочего дня, не могли встретить Гвидо в Западном Берлине. Я попросила их прикрепить к вокзальному киоску на станции маленькую записочку:

«For Gvido Kajons:
Hellen is waiting
You in Hamburg».

Они в его абсолютное зрение не верили, но просьбу мою выполнили. Гвидо приехал, записочку, разумеется, узрел — и вот перед вами последствия его дальнейших скитаний.

P. S.

Теперь будет самое главное,
или
«Что еще за говенные деньги!!»

Фриц сиял, как майское солнышко, как дитя, как непроказивший грешник.

Он жил тогда в состоянии эйфорического восторга — от воспоминаний о «Ледоколе» и от пива и водки и снова от пива (Петерис Банковскис сказал мне потом: «Ледокол был четкий»). А я всегда верю всему, что Петерис говорит об искусстве, и о Ледоколах в особенности. Увидеть «Ледокол» я не успела. Не зная о его существовании, приехала в Западный Берлин спустя несколько недель после закрытия выставки. По справедливости, так оно и должно было быть, потому что Петерис куда больше моего заслуживал поглазеть на Ледоколы.)

В тот день в Бетании в самом воздухе было разлито какое-то ведьмовство — выставленные здесь объекты, вернисаж очередного стипендиата, жара, стаканы, да, и люди, и мы тоже (пока еще «не совсем те люди» — истощенные от информационного голода)... Это искусство, что было тогда в Бетании, — я его просто не помню, потому что мне теперь всю жизнь суждено вспоминать Фрица, его огромный кулачище, и как он фыркает, смеясь, его «сестер», Ледоколы, Архимедов, Оси и Корабли... Во всем виноват Эдвинс, тот самый Эдвинс Паас из Кёльна, который там, в том мире, предстал перед нами совсем в ином свете, чем здесь, в Риге, где он вечно корчил из себя такого меланхоличного опоздавшего посланца. Эдвинс знаком с Фрицем давно, и я поверила ему на слово, когда он сказал: «А не хотите познакомиться с Фрицем Гиловом? Интересный художник».

Плен у Фрица тянулся часами... Мы поняли, что его келья в то время определено была самой шаманской, самой богемной и самой наэлектризованной во всей Бетании. И как только небольшое помещение вместило в себя Фрица и его идеи, ведь в хаосе студии прорезывался Космос?!

Его стихия — весь мир. Со своими объектами он был Архимедом из Сиракуз, где долго отшельничал в какой-то пещере. Его работы в южноамериканской пустыне Наска не менее закономерны, чем в Италии. Наборы диапозитивов в студии и детский восторг Фрица перед собственными же произведениями...

В тот день он говорил что-то об оси, которая будет протянута из Бетании куда-то там в Италию. Во вторник, да, во вторник придет владелица галереи — спонсорша процесса протяжения оси на начальном этапе.

А мы? А мы из Риги. Наверное, наш вдохновенный рассказ о Риге второй раз повторить не удастся... Сейчас, у себя дома, могли бы мы снова утверждать, что в Риге найдутся люди, которые поймут или по крайней мере захотят понять его искусство?

Фриц улыбался и, вертя головой, всё повторял:

«Вы меня с ума сведете своей Ригой!»

Ладно, он готов приехать. Но на пароходе, и его акция начнется прямо на палубе. Акция «Entre deux mers» — между двумя морями. Следовательно — между двумя мирами. Необходимо осуществлять акции, посвященные тому, что происходит между двумя мирами, может быть, тогда Фрицу уже не придется плакать. В продолжение всего вечера он дважды был потрясен до глубины души — в первый раз, когда мы сказали, что не поедем к нему в Италию, где одной из его многочисленных «сестер» принадлежит дом, мы просто не можем вот так взять и в следующем месяце туда отправиться. Услышав это, художник сжал кулак, по щекам у него катились слезы, он тряс головой, приговаривая: «Scheiß bei!»¹. Ничего другого он не мог. Если не считать акции «Entre deux mers».

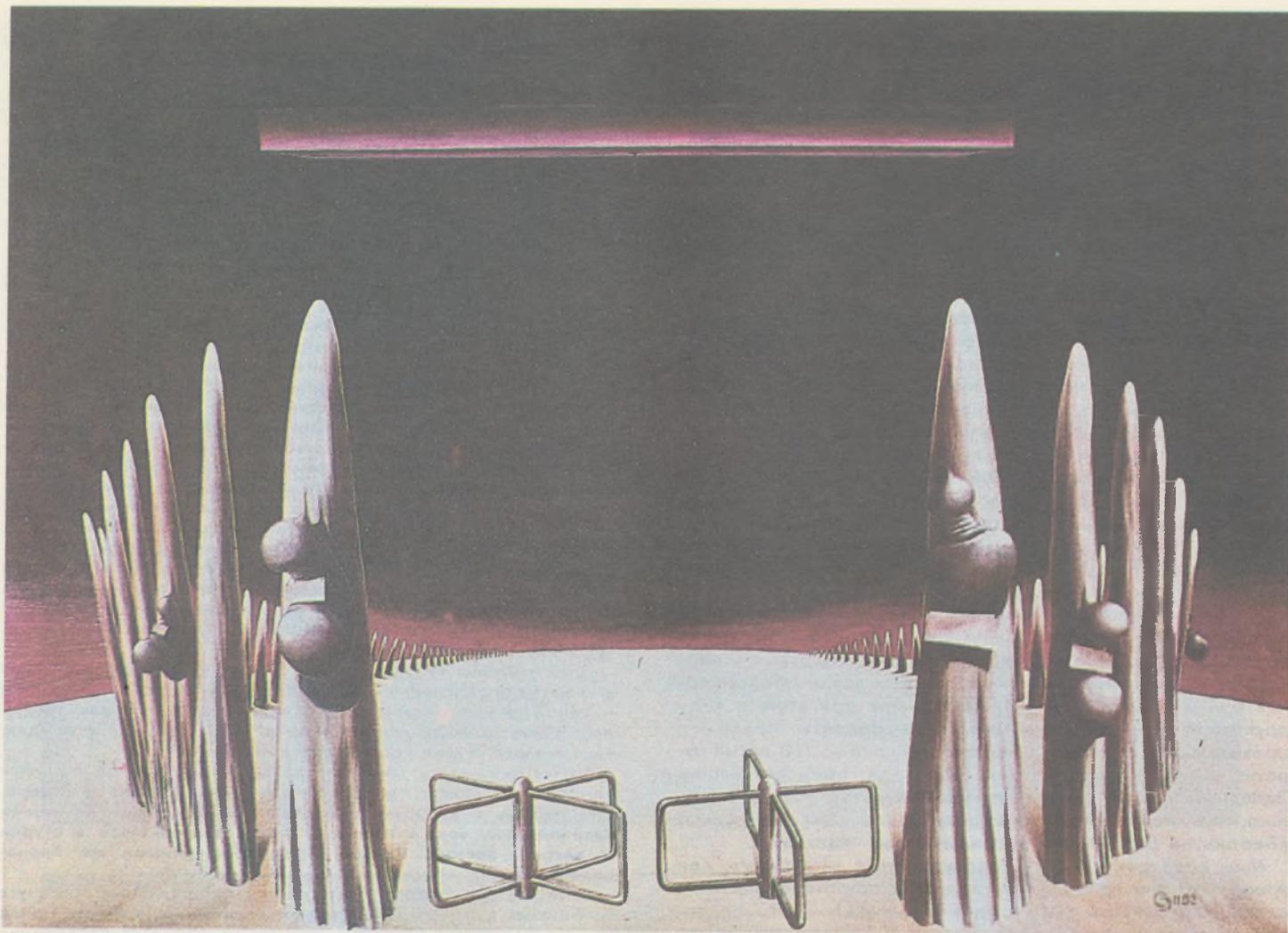
Но его вулканический темперамент с наибольшей силой сказался в тот вечер в другом. Мы говорили о многом, обо всем — искусстве, дальних странах, берлинских кабачках, о Риге и наконец о деньгах. Способен ли он прокормить себя своим искусством? И вообще, приносят ли его произведения хоть какой-то доход?

Фриц сначала не понял вопроса, а сообразив, о чем речь, трахнул кулаком по столу: «Was für ein Scheißgeld?!» (Что еще за говенные деньги!) Эта же моя жизнь!»

* * *

Я твердо знаю: Фриц Гилов приедет в Ригу во время большой западноберлинской выставки 1991 года только в том случае, если почувствует, что будет здесь услышан и понят.

¹ «Дерьмо» (нем.)



Владислав Сухоруков, «Территория», 1982, масло, 100×75 см.

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВ

Опубликованные тексты являются фрагментами дневника* Георгия Николаевича Михайлова и связаны с началом деятельности и «колымским» периодом жизни коллекционера.

Организованная Георгием Михайловым и Фондом свободного русского современного искусства (в рамках программы «Возвращение» под эгидой Советского фонда культуры) постоянная выставка — единственная такого рода в России — располагается в Ленинграде, в Кикиных палатах.

Вопросы и ответы

— С чего началась Ваша деятельность как коллекционера, и как образовалась Ваша коллекция?

— Интерес к живописи появился у меня еще в детстве, когда я школьником начал ходить в кружок при Эрмитаже. Потом, когда я был уже студентом, у меня появилось много друзей-художников, и уже тогда у меня на стенах появились их рисунки. Но говорить о том времени как о времени возникновения коллекции, конечно, нельзя. Реальное начало созданию моей коллекции было положено одновременно с началом экспозиций картин художников в моем доме.

Это случилось в 1973 г., а в 1974 году с 12 октября мои экспозиции стали регулярными. С этого дня каждое воскресенье с 18 до 22 часов у меня дома, без предупреждения и согласования об этом заранее, каждый из моих друзей мог приехать в мой дом, будучи уве-

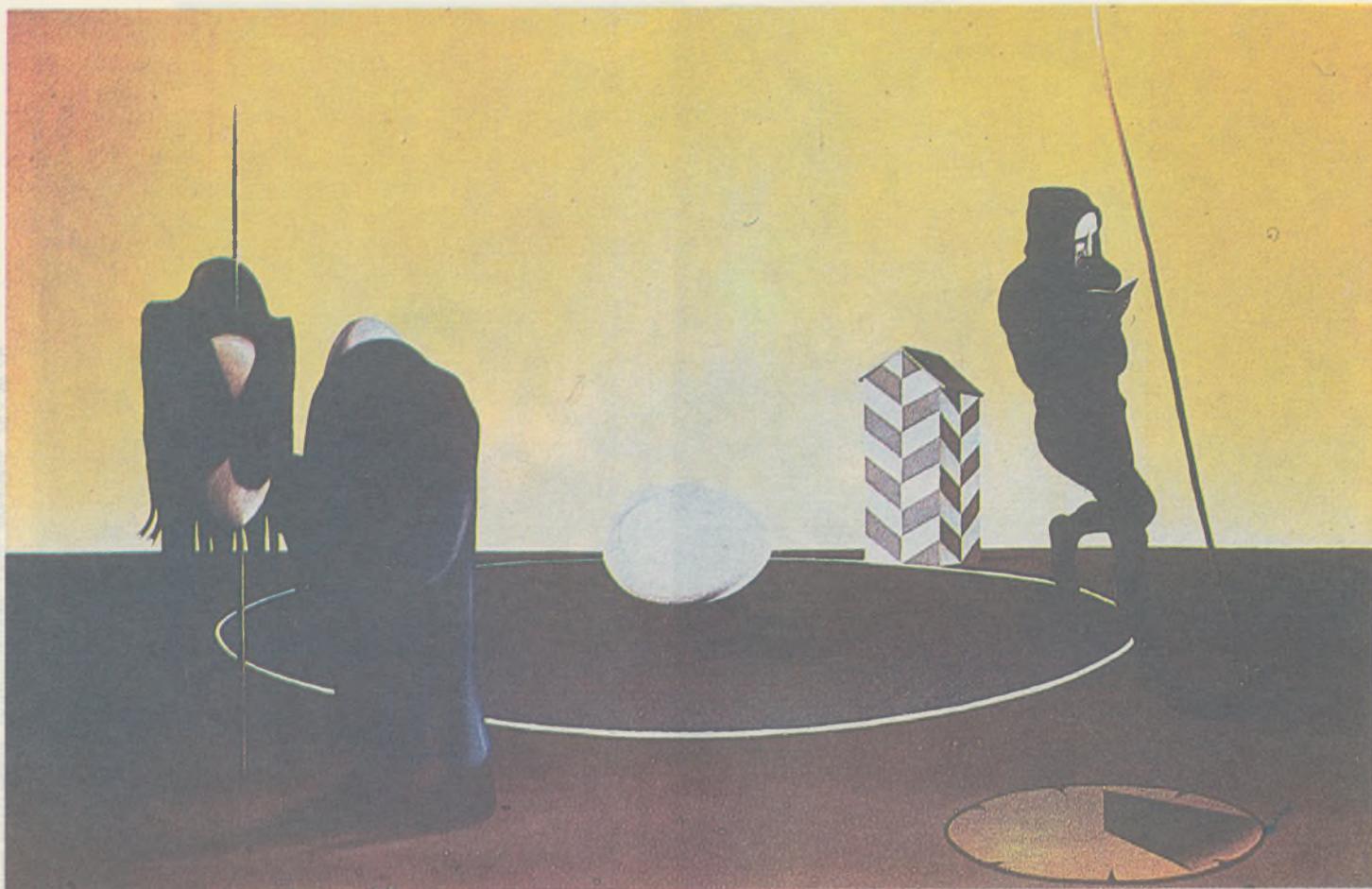
ренным, что обязательно либо застанет меня самого, либо будет принят в моем доме кем-либо из художников.

Такая жесткая и малоудобная для меня система была связана с тем, что у меня не было телефона, поэтому договориться оперативно не было возможности. Со временем и я, и все мои друзья привыкли к этой системе, и она продолжала сохраняться и позднее, когда у меня появился телефон.

— Какие художники начинали с Вами вашу деятельность?

— Я считаю началом моей деятельности, как я уже говорил, день 12 октября 1974 года. Именно в этот день художник Юрий Галецкий развесил в моей квартире около 70 своих рисунков и картин. В этот день мы созвали ко мне всех моих и его друзей. К моему тогдашнему удивлению, нашу первую экспозицию посетило более 70 человек. Это было неожиданно много, но, главное, успех Юриной экспозиции был еще более неожиданным: в этот же день было куплено 6 или 7 его картин. Это было очень много по тогдашним меркам.

(*Начало в № 1, 1990 г.)



Владислав Сухоруков, «Инкубатор», 1982, масло, 100×80 см.

— Почему возникла необходимость использовать Вашу квартиру для экспозиции картин?

— Дело в том, что у нас в стране получить право на выставку чрезвычайно трудно даже для официальных художников. О тех же художниках, которых стало принято называть «неофициальными», и говорить не приходится. Им получить подобное право было просто невозможно. Именно поэтому в те годы и стали неожиданно возникать на частных квартирах демонстрации картин таких художников. Такие демонстрации формально законом не запрещены, однако буквально у каждого, кто осмеливался начать подобную деятельность, начинались неприятности с КГБ, и почти все, кто пытался было заняться экспозициями картин художников, вынуждены были вскоре выйти из игры.

И все же такие выставки случались. В качестве примера могу привести две такие выставки в Ленинграде в 1974 г., зимой, в Кустарном переулке, с участием многих художников, таких как Галецкий, Жарких, Овчинников, а также — в доме Кузьминского, где приняли участие более 20 художников, включая уже вышеназванных, а также Путилин, Исачев, Васильев, Росс и другие.

— Это были художники авангарда?

— Я не хотел бы использовать этот термин в отношении тех художников, которые тогда начинали это движение. Я считаю, что путаница в терминологии вообще могла приводить и приводила к досадным искажениям дел, истинной картины, существовавшей в то время и в дальнейшем.

— А как бы Вы назвали этих художников?

— Я считаю, что ни один из тех ярлыков, которыми мы сейчас вынуждены пользоваться, не является удачным. Чаще всего этих художников именуют как авангард, или как «нонконформистов», или «непризнанных», или «левых». Терминов, повторяю, много, но все они, по-моему, не очень удачные.

Мне пришлось иметь дело с очень многими худож-

никами, и я хорошо знаю, насколько пестр спектр самих художников, их проблем, их творческих изысканий и их взаимоотношений с властями. Поэтому я считаю, что пользоваться любым из этих терминов можно лишь условно — для отражения (поверхностного) того явления, которое имело место в те годы.

— Что сблизило Вас именно с этими художниками?

— Прежде всего их искусство, а также понимание той безобразной ситуации, в которой они оказались.

— Что Вы имеете в виду?

— То, например, что многие из них в буквальном смысле этого слова голодали, не имея никаких средств к существованию, и это при том, что у большинства из них были прекрасные руки, прекрасные способности, а иногда и явный талант.

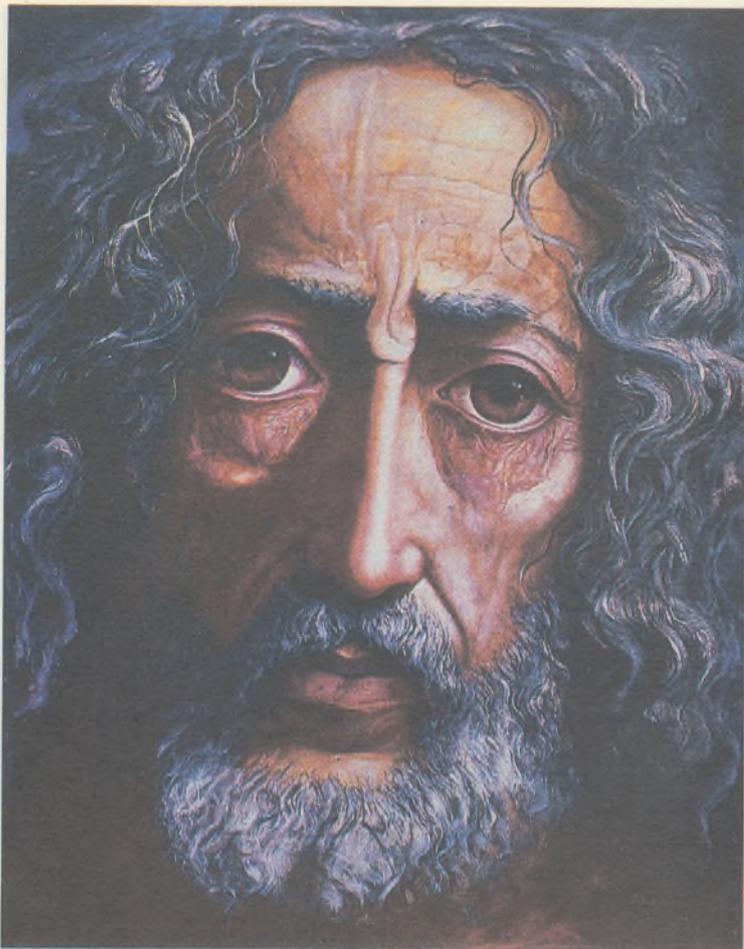
Я считал, например, и считаю Юру Галецкого, т. е. художника, с которым мы начинали нашу деятельность, безусловно талантливым художником, и для меня ситуация, в которой он и его семья оказались, казалась просто дикой: ведь у него уже была масса рисунков — изящных, красивых, эффектных и в то же время очень глубоких. И его творчество практически никто не видел. А те, кто видел, были сами в таком же положении, как и художник, и, естественно, ничего купить не могли.

Вот тогда-то у меня и возникла мысль восстановить или создать заново те цепочки взаимосвязей между художником и зрителем, которые столь усердно и безжалостно разрушили или пытались разрушить власти.

Я считаю, что многие представители тогдашних властей прекрасно понимали конкурентоспособность этих художников и ту опасность, которую они несут своим творчеством для серятины, бездарности и бездуховности официально насаждаемого и признаваемого искусства.

Ну а средства борьбы властей, как Вы, видимо, хорошо помните, принимали самые дикие, самые уродливые формы. Вспомним хотя бы «бульдозерную» выставку.

Однако вернемся к 1974 году. Итэк, с 12 октября 1974



Александр Исачев, «Апостол Петр», 1977, 80×90 см.



Юрий Брусовани, «Композиция», 1986, акварель, 20×30 см.

года в моем доме начались постоянные, каждое воскресенье, экспозиции картин художников. До конца ноября 74 года у меня была экспозиция только картин Галецкого, а в конце ноября Юра предложил мне устроить большую экспозицию с участием многих художников, и около 20 из них привезли тогда картины в мой дом.

— Кто принимал в этом участие?

— Это Овчинников, Дышленко, Любушкин, Кубасов, Гуменюк, Жарких, Геннадиев, Арефьев и другие.

— Долго ли длилась Ваша тогдашняя выставка?

— Она не прекращалась больше никогда, и только мой арест в 1979 году разрушил эту традицию. Другое дело, что сами художники время от времени меняли свои картины и потому, что хотели показать новые, и потому, что часть из работ покупалась, а свободного места на моих стенах быть не могло, и всякое освободившееся место немедленно занималось какой-либо другой картиной.

— Была ли цензура с Вашей стороны при отборе картин на Вашу экспозицию?

— В те дни, когда мы все начинали, этот вопрос вообще не мог возникнуть, поскольку я приглашал к себе тех художников, которых знал, любил и ценил, поэтому, естественно, никаких ограничений я на их выбор не накладывал. Позднее же, когда картин и художников стало так много, что оказалось невозможным одновременно повесить в моем доме даже по одной картине каждого художника, мне, естественно, пришлось вводить ограничения.

Буквально со всеми художниками отношения были добрыми и уважительными, конфликтов при отборе работ для экспозиции не было ни разу.

— И все-таки, каким образом производился отбор и кем?

— Правила для всех были едиными, и я не хотел создать прецедента преимущественного отношения к кому-либо

из художников. Обычно в доме или в мастерской у художника мы конкретно обговаривали, какие из его картин он привезет для экспозиции.

— Бывало ли так, что картины Вам самому не нравились?

— Ну конечно, бывало и такое. И даже часто. Случалось, что сам художник мне был близок как человек, но то, что он делал как художник, не вызывало у меня никаких чувств. В этих случаях я, разумеется, давал возможность художнику выставлять то, что он хочет, но при этом предлагал ему самому определить то, что он хотел бы показать, не вмешиваясь в его выбор.

Правильнее было бы сказать, что моим первым вопросом вообще к любому художнику был вопрос о том, что он сам считает наиболее значительным в своем творчестве, и уже после этого я делал свой выбор, если делал его вообще.

Для меня оказался чрезвычайно интересным и совершенно неожиданным спектр мнений моих друзей и вообще посетителей. Он оказался столь широким и полярным, что предвидеть его я, конечно, не мог. И это обилие мнений моих друзей и знакомых послужило мне хорошим уроком: я стал с гораздо большим вниманием относиться к чужим мнениям. Я считаю теперь, что до начала моей деятельности я был весьма ортодоксальным в моем отношении к живописи, в частности. Я думаю, что это были остатки влияния школьного воспитания.

— Каким образом стала образовываться Ваша коллекция? Дарили ли Вам картины, или Вы их покупали?

— Нет, подарков я категорически не принимал, и если это и случалось, то только на день рождения. Все остальное я всегда отвергал. Более того, в последние годы перед арестом у меня в доме даже было повешено объявление для тех, новых, не знающих правил моего дома художников, которое гласило: «Не ставьте, пожа-



Фоторепродукция ОЛЕГА ЗЕРНОВА

Юрий Ярких, «Невиновный», 1985, масло, 53 × 45 см.

луйста, ни меня, ни себя в неудобное положение — не предлагайте мне картин в подарок. Все, что я делаю, есть выражение моего внутреннего убеждения в том, что я делаю нужное и полезное дело, и я вполне удовлетворен сознанием этой нужности».

Поэтому картины моей коллекции я только либо покупал, либо обменивал на слайды и фотографии, которые я делал для художников по их просьбе. При этом я считал свою работу бесплатной, и стоимость слайдов или фотографий определялась только ценой фотоматериалов, на них израсходованных. Таким образом, это обходилось художникам раз в 5—10 дешевле, чем им приходилось за это платить обычно.

— И сколько же картин оказалось в Вашей коллекции?

— К 1979 году картин, мною приобретенных, оказалось около 100—120. Здесь следует специально оговорить еще два очень важных момента. Это важно потому, что они имели решающее значение во время моих судебных процессов.

Дело в том, что в то, что я называл своей коллекцией, входили и картины, которые не принадлежали мне по праву собственности. Многие художники просили меня принять в подарок какую-нибудь из их картин для того, чтобы эта картина или эти картины могли представлять данного художника в моем доме, в моей экспозиции. Как я уже говорил, подарков я никогда не принимал, однако, естественно, разрешал многим художникам постоянно держать в моем доме какие-то свои картины. Так было, например, с художником Овчинниковым.

Естественно, что своими такие картины я никогда не считал. Они, разумеется, продолжали принадлежать авторам, но спустя многие годы сами художники стали считать, что они подарили их мне, не видя в этом ничего криминального. И вот именно за этот факт и уцепились те, кто начал фабриковать мне уголовные дела. Именно в этом они усмотрели зацепку для того, чтобы упрятать меня в тюрьму.

Кроме того, с одним из художников, Сашей Исачевым, у меня установились особые отношения. Вызвано это было разными причинами, но одной из них было то, что Исачев жил не в Ленинграде, а в Белоруссии, и связь с ним была затруднительной. Поэтому мне приходилось по его поручению выполнять те функции, которые обычно должны были выполнять сами художники. Например, я категорически отказался заниматься чем-либо, связанным с продажей картин. Для этой цели каждое воскресенье художники сами должны были приходиться ко мне домой и иметь прямые контакты с возможными покупателями. Реально же это выглядело несколько иначе: обычно присутствовал дежурный художник, который и вел все переговоры и от своего имени, и от имени других художников. Иногда подобные переговоры приходилось вести и мне, и в частности по вопросам, связанным с картинами Исачева. Но и здесь мои требования были жесткими и непреклонными: даже если переговоры о покупке картин вел я сам, даже если в редких случаях я брал за проданную картину деньги для передачи их Исачеву, я требовал непременно личной встречи Исачева и покупателя в то время, когда Исачев приезжал в Ленинград. Мне это было необходимо для того, чтобы исключить подозрение в посредничестве, от которого я «что-то имел». Я подозревал, что властям необходимо уличить меня именно в том, в чем они чаще всего уличали других организаторов подобных мероприятий, вынуждая их угрозой привлечения к судебной ответственности прекратить свою деятельность. Я знал о подобных прецедентах и самым тщательным образом исключал любую возможность быть уличенным в коммерческом посредничестве.

Так вот, с Исачевым у меня сложились особые отношения. Он, живя у себя в Речице Гомельской области, все свои картины сразу же присылал ко мне в Ленинград. У меня была доверенность от него на ведение всех его дел. Картины его в те годы покупали довольно хорошо,

и они, в основном, недолго находились в моем доме. Многие работы Исачева того времени мне нравились, но средств приобретать эти картины у меня не было. Однако благодаря нашим добрым с ним отношениям за некоторые картины Исачев разрешил мне не платить сразу полную стоимость, и я платил только часть денег. Таким образом, за несколько лет у нас с Исачевым образовалось то, что мы с ним именовали «фондом», т. е. образовалась часть картин, которые являлись нашей совместной собственностью. Я потому подробно остановился на моих взаимоотношениях с Исачевым, что они также явились объектом спекуляций при фабрикации мне уголовных дел.

Также к категории картин, мне не принадлежащих, но, как я считал, входящих в мое собрание, относились и картины, которые были оплачены либо моими друзьями, которых я также старался приобщить к моей деятельности и к коллекционированию, либо моими родными. Эти картины попеременно висели то у меня дома, то у кого-то из моих друзей.

Дело в том, что, когда у меня оказалось уже довольно много картин и разместить их у себя в моей маленькой квартире я уже просто физически не мог, я, опять же желая приобщить к моей деятельности моих друзей, стал развешивать эти картины в их домах. Я считал, что картины не имеют права находиться в запасниках, закрытые от зрителей. Пусть вместо этого они висят на стенах в домах моих друзей, где их могут видеть. После этого действительно многие из моих друзей начали заниматься коллекционированием. Бывали случаи, когда они приходили мне на помощь, когда нужно было не упустить ту картину, которую я считал интересной и ценной. В этих случаях я обращался к родным или друзьям с просьбой помочь мне выкупить картину; такая картина, естественно, принадлежала покупателю, но за мной оставалось право со временем выкупить ее.

И эти отношения также явились объектом спекуляций властей при фабрикации мне уголовных дел. То есть для них были пригодны любые средства, лишь бы добиться главной цели — арестовать меня и представить как уголовника.

Как я уже говорил, одной из главных моих задач было расширение числа таких экспозиций, какая была в моем доме. Кое-чего и на этом поприще мне удалось добиться. Так, в 1977 году у моих друзей Краснянских (они оба, муж и жена, — юристы) была организована экспозиция на тех же условиях, что и у меня, т. е. все абсолютно бесплатно. В том же году был организован еще один дом, дом Валентина-Мариин-Тилия, и тоже на тех же условиях. Я считал, что неукомое выполнение этих условий делает всех нас неуязвимыми для любой провокации против нас. Так же, как и мой дом, эти дома функционировали регулярно, один раз в неделю, и мне хотелось сделать так, чтобы в Ленинграде было как минимум семь таких домов и чтобы в любой день можно было посетить какую-то из экспозиций, а там соответственно получить информацию обо всех других подобных экспозициях.

— О какой информации идет речь?

— В каждом доме, где имела место экспозиция, висела подробная справка о том, где, когда и как можно посмотреть другие картины. Кроме того, в каждый дом я передавал фотографии или слайды, по которым можно было получить представление и о том, что можно увидеть в других домах, и о том, что вообще делают отдельные художники. Дело в том, что многие из них, поняв, что значит для них реклама, заказывали много фотографий и слайдов со своих картин и свои каталоги старались разместить во всех домах. Исачев, например, каждого своего покупателя награждал подборкой фотографий или слайдов. Работы по изготовлению таких фотографий и слайдов у меня было очень много, и абсолютно всё свое свободное время мне приходилось этим заниматься. В эти же годы, помимо уже упомянутых экспозиций,

организовала свою постоянно действующую выставку группа самих художников: Ковальский, Митавский, Лоцман и Балашова, а также был основан в Ленинграде Музей современного искусства Нечаевым и Недробовой. Так что властям было от чего беситься, ибо запугивание действовало все меньше и меньше.

С 20 октября 1978 года в течение двух недель у меня проходила большая выставка литографий Михаила Шемякина. Ленинградские власти расценили ее как вызов, им брошенный: ведь Шемякин был эмигрантом, и его картины попали в СССР каким-то непонятным путем.

Мне известно от человека, лично присутствовавшего на каком-то идеологическом совещании в Смольном в то время. Сын этого человека, мой ученик, приехал ко мне домой неожиданно, в час ночи, со словами: «Георгий Николаевич, мама послала меня срочно предупредить Вас об опасности. Сегодня Романов (это бывший ленинградский властитель) топал ногами и орал: «Сколько можно терпеть это осиное гнездо — квартиру Михайлова? Куда смотрят наши правоохранительные органы и органы КГБ? Долго это еще будет продолжаться? Ведь так он вообще всех эмигрантов рекламировать начнет!»

Это было в начале ноября 1978 года, а 21 февраля 1979 года я был арестован накануне организацией нами совместно с москвичами и парижанами выставки Москва — Париж. В Ленинграде она должна была состояться на трех квартирах: у меня, у Валентина-Тилия и у Ковальского.

О взаимоотношениях ленинградских художников и местных органов КГБ

2 сентября 1983 г. ко мне на работу, в трест Севзап-электромонтаж, неожиданно явились два сотрудника КГБ, одним из которых был Лебедев. Мне было приказано собраться и следовать за ними. Я был посажен в «Волгу» и доставлен на Литейный, в приемную КГБ.

Там и произошла моя первая встреча с Павлом Николаевичем Коршуновым. Во время этой встречи Коршунов, делавший все возможное, чтобы заверить меня в благожелательности его личного отношения ко мне, без всяких стеснений заявил мне, что идеологическая группа КГБ, им возглавляемая, была основана сразу же после моего процесса 1979 г. Он заявил, что новое руководство КГБ изменило свою позицию в отношении молодых художников Ленинграда. Мой процесс показал, что одними репрессиями власти ничего не добьются, и тогда-то и была создана идеологическая группа. Я повторяю, что это сказал мне лично Коршунов в присутствии еще одного сотрудника КГБ Железнова. Тогда же Коршунов, разоткровенничавшись, заявил, что мой процесс был «большой ошибкой», а приговор об уничтожении картин — просто дикостью.

Он объявил, что он сам — любитель авангарда, призвал меня «забыть» то, что было в прошлом, и активно включаться в новую жизнь. Он пытался убедить меня в том, что теперь другие времена и что теперь КГБ не преследует художников, а, наоборот, защищает их, помогает им при разрешении конфликтов с Управлением культуры.

Я предложил любителю авангарда доказать искренность его слов тем, чтобы добиться отмены приговора об уничтожении моих картин. Коршунов, по-видимому, искренне изумился, заявив, что он считал, что приговор об уничтожении давно отменен. Он горячо стал заверять меня в том, что немедленно выяснит все, что касается приговора, и известит меня.

Многое из того, о чем говорил Коршунов, действительно было справедливым. Действительно, после моего процесса художники получили право дважды ежегодно устраивать большие выставки. Действительно, почти все запреты на выставляемые картины, которые вводились приемными комиссиями Управления культуры, отменились после того, как художники обращались к Коршунову.

Действительно, уровень отношений работников КГБ и художников был почти по-домашнему дружеским: сотрудники идеологической группы — Коршунов, Колосов, Лебедев — встречались с художниками и в кафе за чашкой кофе, и на собраниях художников, и, разумеется, на открытии выставок, на обсуждениях и т. д. Все они предлагали художникам звонить им в любое время, если возникнет необходимость в их помощи.

Все, что требовалось от художников, конечно же, это прекращение всяких контактов с иностранными гражданами, а уж если таковые контакты и возникли, то ни в коем случае не допускать их огласки.

Я считаю, что такая политика Коршунова, безусловно, имела успех. За прошедшие три года не было вообще никаких инцидентов, связанных с ленинградскими художниками, паническая эмиграция художников полностью прекратилась, и идеологическая группа КГБ могла рапортовать о полной победе избранного курса.

Проблемы у художников, конечно же, оставались, и главными среди них были отсутствие мастерских, материалов и, разумеется, отсутствие официальной, узаконенной возможности продавать свои картины через магазин или лавку художников.

Но и здесь новое поколение КГБ проявило достаточную изворотливость. Все последние годы художникам постоянно ОБЕЩАЛОСЬ принять меры к тому, чтобы решить все эти проблемы, и художники жили ожиданием больших перемен, тем более что авансы в виде регулярных выставок, в виде помощи в случае отставания работ, запрещенных Управлением культуры, располагали большинство художников к доверию.

Ситуация резко изменилась после того, как 5 мая 1984 г. в ленинградском аэропорту была задержана одна моя немецкая знакомая, которая собиралась выпустить открытки с теми картинами, которые были приговорены судом к уничтожению. Для этого выпуска ей необходимы были расписки художников, дающих свое согласие на выпуск таких открыток. Естественно, что все художники, к кому она обратилась, дали ей такие расписки. Эти расписки и были изъяты при обыске.

Реакция идеологической группы КГБ была немедленной: все художники, подписавшие свое согласие, были поодиночке вызваны в КГБ для «обработки». Всем им было заявлено, что решение о выпуске открыток — это моя антисоветская провокация. От них потребовали отречения от идеи выпуска открыток и от дальнейших контактов со мной. Однако почти все художники в тот же день были у меня, и каждый из них подробно изложил то, как с ним «беседовали».

Однако Коршунов и его команда не ограничились индивидуальной работой с каждым из подписавших. Были собраны собрания художников, на которых Коршунов и Колосов информировали художников о том, что я занимаюсь антисоветской деятельностью, что я нахожусь на содержании иностранных разведок и что у меня джинсов в доме больше, чем у любого спекулянта в Ленинграде. Это была их грубая промашка: ведь все художники бывали в моем доме и могли все видеть своими глазами, поэтому такая попорная работа ничего, кроме смеха, ни у кого из художников не вызвала. Более того, Совет Товарищества художников написал письмо в КГБ, протестуя против явной клеветы и методов её распространения.

Это письмо художников произвело эффект разорвавшейся бомбы. КГБ настолько не ожидал, что покровительствуемые ими художники после такой-то массивной обработки вдруг осмелятся поднять голос, что для решения вопроса об ответе на письмо был отозван из отпуска сам Коршунов. Долгое время КГБ обещал дать, как формально положено, письменный ответ, но... ничего художники так и не получили.

Зато, с другой стороны, с этого момента началась прямая подготовка для нового дела против меня.

Коршунов, Колосов и Лебедев начинают атаку на судебного исполнителя Андронову, понуждая ее дать по-

казания против меня о том, что при передаче картин, подлежащих конфискации, я якобы обманул ее. Они угрожают ей тем, что в случае отказа дать такие показания против меня они привлекут ее саму к ответственности за целый ряд процедурных нарушений, действительно допущенных ею. Андропова после каждой такой «обработки» прибегала ко мне, рассказывала обо всем, что с ней делали, просила совета, как же ей быть.

Параллельно с этим в среде художников Коршуновы начинают распускать слухи о том, что против меня возбуждено прокуратурой уголовное дело за обман судебного исполнителя и что не сегодня-завтра я буду арестован. Больше того, Коршунов с Колосовым собирают общее собрание художников, на котором они показывают художникам картины, изъятые у меня судебным исполнителем. Им даже не приходит в голову, что изъятие конфискованных картин из суда — это прямая противозаконная акция. Просто они настолько уверовали в полную безнаказанность своих действий, что поленились даже задуматься о законности такой демонстрации.

Основной целью же этой демонстрации была спекуляция на чувствах художников. Они показали художникам не самые значительные картины со словами: вот, дескать, смотрите сами, что вы все защищаете, вот из-за каких работ Михайлов раздувает сыр-бор и всех вас хочет вовлечь в свою антисоветскую деятельность. Так стоит ли из-за таких работ портить наши хорошие отношения, зачем вам вообще нужен Михайлов и его дело, когда буквально на днях он будет снова арестован?

Должен признать, что кое-какого эффекта Коршунову добиться удалось, и многие художники, особенно те, кто меня плохо знал, поддались на эту провокацию. Кроме того, Коршунову удалось и в среде художников, и в среде писателей заполучить апологетов своего «нового курса»: именно эти люди просто с холуйским рвением принялись распространять самые дикие вымыслы и обо мне, и о моем деле, и о моей коллекции. Я бы мог назвать многих из них, кто принял за это неблагодарное дело, но не хочу сейчас делать это. Один из таких «верных соратников» Коршунова был исключен из Совета Товарищества за чрезмерное усердие на поприще распространения клеветы.

На последнем собрании, предшествующем моему аресту, Коршунов неожиданно официально объявил художникам, что приговора об уничтожении картин не было вообще, что распространение сведений о приговоре об уничтожении картин — это моя антисоветская выдумка. Такой наглый натиск на художников, многие из которых сами присутствовали на суде и сами слышали и потом многократно читали этот приговор, тоже произвел впечатление — иллюзии и улыбочки кончились, как кончились и приватные беседы за чашечкой кофе: идеологическая система вновь показала свой подлинный оскал.

18 сентября 1985 г. я был снова арестован, причем моим арестом руководил лично Коршунов.

Формальное обвинение — некое анонимное письмо художников, которых я якобы обманул, не вернув им их картины.

Ну, а с подробностями всего моего нового процесса — это уже особый разговор и в другой раз.

О положении бывших «подпольных» художников

В последние полгода ситуация с теми художниками, которые ранее преследовались и запрещались, резко изменилась, и надо признать, что явно к лучшему. Вы, наверное, уже знаете о том, что в Москве, в парке Битца, что сравнительно недалеко от центра Москвы (это где-то рядом со станциями метро «Калужская» и «Чертановская», рядом с конноспортивным комплексом), организована постоянно действующая выставка художников. Каждое воскресенье в этом парке могли собираться практически все, кто хотел: как художники, так и зрители. Они же могли быть и продавцами своих работ, и по-

купателями предлагаемых на всеобщее обозрение картин, рисунков, предметов декоративно-прикладных.

Никаких ограничений на выставляемые работы не накладывалось. Правда, мне рассказывали художники, что в одно из воскресений милиционеры вдруг проявили себя в качестве цензоров и якобы потребовали убрать несколько картин, которые были, по их мнению, неприличными, но этому я сам свидетелем не был, хотя был в Битце три раза за три месяца, и уже одно то, что об этом эпизоде все говорят, свидетельствует о том, что такие случаи, по крайней мере, редки.

Проблема оказалась в другом. Управление парков предъявило художникам счет за ущерб, нанесенный парковому хозяйству как самими художниками, так и главным образом зрителям. Результатом этой акции стало то, что сам парк у художников отобрали и художников перевели на площадку, которая находится тут же, рядом с парком. Конечно, это стало гораздо менее удобно и для художников и для зрителей, но пока другого решения не найдено.

Художники — участники Битцы объединились, обсудили свои проблемы и решили создать свою организацию. Я присутствовал в парке в тот день, когда обсуждался проект устава объединения. У меня дома остался даже текст этого проекта. Как и полагается в таких случаях, был избран актив художников — участников Битцы, определены условия участия, членские взносы и прочее...

Это собрание состоялось, кажется, в начале декабря 86-го года, и тогда все происходило еще в парке; выгнали художников из парка позднее, уже в январе.

Должен вам сказать, что все, что происходило в Битце, — это удивительнейшее и совершенно необычное и непривычное для нас зрелище.

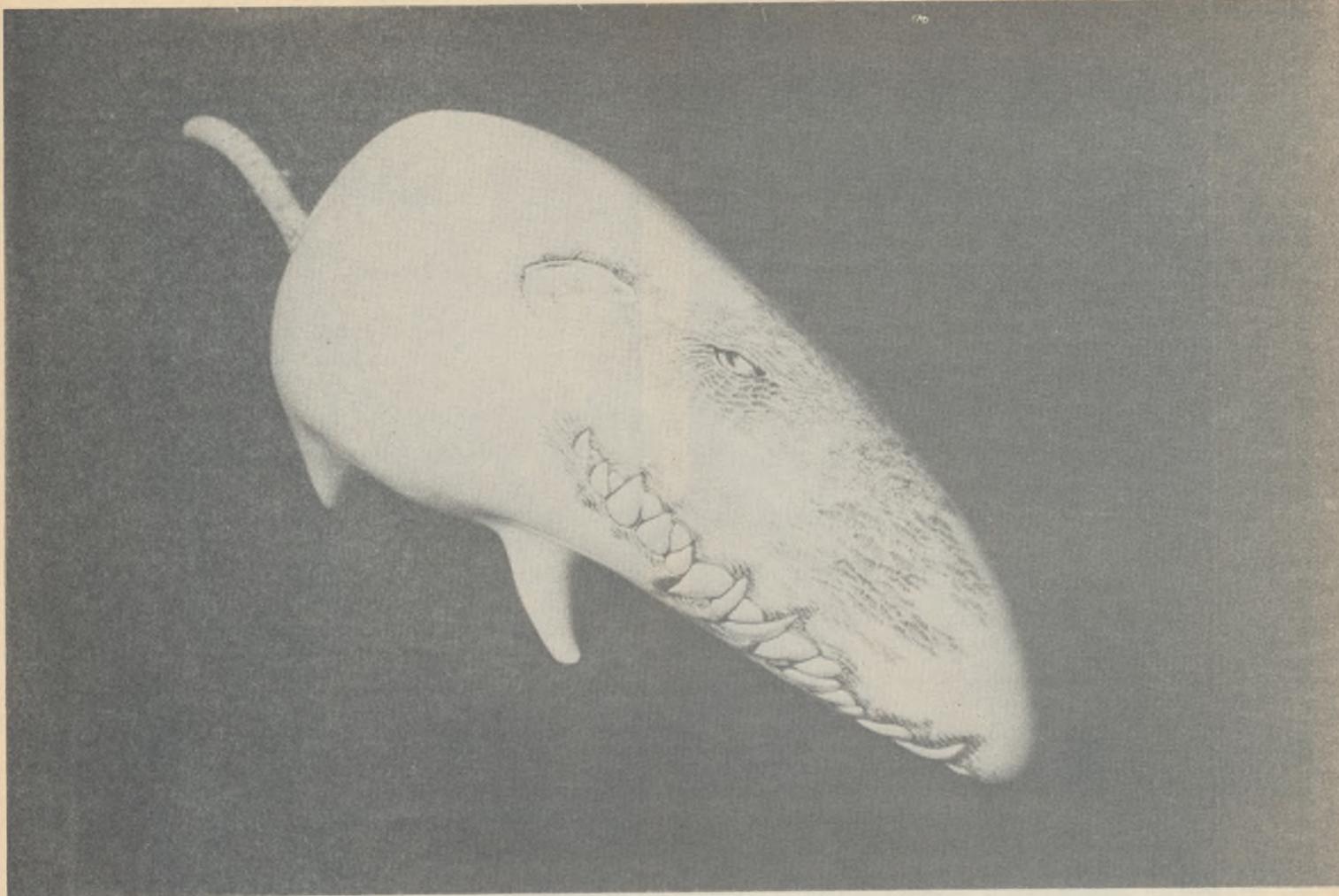
Прямо вдоль аллея, вдоль дорожек, а иногда и прямо на лужайках парка были расставлены, разложены, развешаны на ветвях деревьев работы самых разных направлений, манер, стилей и жанров. Мне приходилось многое повидать ранее, но должен сказать, что здесь и у меня разбежались глаза. Чтобы как-то что-то запомнить, я старался все фотографировать, но оказалось, что пленки я взял неосмотрительно мало. Кроме того, из-за огромной толпы, пришедшей в парк, несмотря на плохую погоду (мне не повезло: все три раза, когда я был в Битце, была слякоть), двигаться по аллеям и что-нибудь рассматривать внимательно, а тем более фотографировать было просто невозможно. Столпотворение было, как в метро в часы пик. В первый день моего посещения я тут же потерял своих друзей, с которыми приехал в Битцу, и найти друг друга потом было уже невозможно. Я действительно растерялся, поскольку не имел представления о размахах парка, о том, где и что в данный момент происходит. А происходила масса интереснейших событий: споры, хеппенинги, обсуждения, и я не знал, куда кинуться, чтобы не пропустить что-либо интересное. Милиции или каких бы то ни было распорядителей я вообще не видел. Споры велись очень живо, хотя и бестолково, но это, конечно же, от отсутствия навыка такого типа общения. Иногда споры превращались просто в перебранки с оскорблениями, страсти накалялись до того, что чуть ли не доходило до драки.

Пожалуй, в этих спорах меня больше всего изумила позиция московского Горкома художников. Они настолько ожесточенно набрасывались на «самозванцев» из Битцы, что невольно хотелось напомнить им о том, что ведь еще совсем недавно эти же ребята с таким трудом, с такой болью, с такими потерями пробивали себе дорогу на право показывать свои работы. И теперь мне было удивительно видеть ту враждебность, которая была так во всеуслышание проявлена к тем, кому так, без малейшего труда, без всякой борьбы, вдруг свалилось то, на что было положено столько сил и столько жизни. И все вдруг в единый миг оказалось ветряными мельницами. Вдруг безо всякой борьбы исчезли все запреты и страхи. И теперь уже те, кто действительно столько лет посвятил борьбе, неожиданно оказались даже в худшем положении по сравнению с теми, кто сегодня пришел и сразу все получил. Интересная ситуация!

Обойти Битцу, осмотреть все внимательно за один день, по-моему, нельзя. Условия, в которых находятся и художники, и зрители, и сами картины, конечно, ужасные — под дождем или снегом, — защитить картины или самих себя от непогоды пока невозможно, и поэтому одной из первых задач перед художниками стояла необходимость сделать какие-то крытые помещения, навесы или козырьки, чтобы уберечь картины. После наступления администрации садово-паркового хозяйства было решено принять меры к тому, чтобы не ломались деревья и кустарники, не вытаптывались газоны и т. п. Но — все равно их выгнали.

Что касается качества того, что было представлено в Битце, то здесь у меня мнение весьма определенное: для меня интересным всякий раз оказывалось не более 10% представленного. Остальное было просто рассчитано на обывателя, и уровень художественного творчества был низок. Но подумайте, пожалуйста, что такое даже 10% в целом океане работ. Оказывается, что это тоже очень много. Просто нужно действительно долго ходить, внимательно всматриваться в творчество художника. Но до этого время еще не дошло. Сейчас, мне кажется, главная цель Битцы — это удовлетворить естественную потребность массового зрителя не только свободно контактировать с художником и с его творчеством, но и показать ему все обилие художественных средств, которые столько десятилетий усердно скрывались от нас, клеймились, поливались грязью, уничтожались...

В Ленинграде нечто подобное Битце тоже было создано в последние полгода. Но это приняло иные формы. В Ленинграде нет определенного места, какого-то конкретного парка. Это место — официально именуемое Ярмаркой — назначается властями по воскресеньям в разных местах Ленинграда или в пригородах. Несколько раз, например, такие Ярмарки были в Павловске, под Ленинградом. Так же, как и в Москве, создан Совет, состоящий из художников, определен Устав, собираются членские взносы. Я знаю, что очень многим художникам эти Ярмарки помогли материально, т. к. на них покупаются действительно многие работы. Официальный статус этих Ярмарок до конца не определен, по крайней мере мне так и не удалось ничего узнать конкретно по этому поводу до моего отъезда во Францию, но я продолжаю интересоваться всем, что происходит в моей стране, и надеюсь вскоре получить новые сведения.



АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ДНЕВНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ О ВЕЛИЧИИ НОЧНОГО СВЕТА

Неинтересно, что делает Шитов вне прямоугольных (37.5 на 28.0 см) участков фарфора. Не то чтобы неинтересно, но там можно рассуждать о том, насколько Ж художник крутой, тонкий, похабный. К фарфоровым же его прямоугольникам подобные отношения неприменимы. Здесь, впрочем, возможно, подмешался субъективизм пишущего, который всерьез относится лишь к тому, что черным по белому, 210 на 297 мм; может быть, причина чуть сложнее: цветные картинки требуют непрерывного зрения, смежного с запахом, жестом, ощупыванием, а черно-белые — зрения дискретного: в родстве с голосом; они, то есть, не ввергают нас в медитацию, но выдают готовый текст. Но тогда при чем тут прямоугольность?

Прямоугольность при том, что легко выстроить ряд похожестей из жизни вполне обиходной. Например (первое, кажется, что приходит на ум), это — отпечатки рентгеновских снимков. Не потому только, что так кажется зрению, холодный кафель фарфора — почти то же, что и профессиональные прикосновения рентгенаппарата к ключицам, гладкий белый фарфор более чем в ладах с медициной.

Итак, рентгенограмма, отпечатанная в стандартном, как для справок куда-то, формате. Скелет без ничего прочего — что не вполне назначение рентгена: слишком, видимо, сильно просвечивающий импульс был пущен в ход. Скелет чего? Не тела, конечно, ситуация тут уже пост-Шемякинская, чего-то другого: скелет, в сущности, нам маловажен — все серьезное всегда происходит вне его, будь то близость с женщиной или происхождения мозга.

Скелет что, некоторая внешняя заданность, система — что поделаешь, термин наиболее точный, пусть скучный — аксиом, без них не обойтись, но о них не надо думать, они просто какая-то клетка, очередная таблица Менделеева или расписание авиарейсов. Впрочем, можно представить себе музей Фрейда в Лондоне,

где по банкам со спиртом рассованы отдельные подавленные желания, сны и гениталии.

Со снами расправимся сразу — рецензенту черно-белые сны не снились никогда. Можно, конечно, сказать, что все это — потакая вечной фразе о том, что искусство «сие таинство есмь», — отпечаток души художника: укреплять данное утверждение рецензент не станет, поскольку пишут, а тем более рисуют все-таки руками.

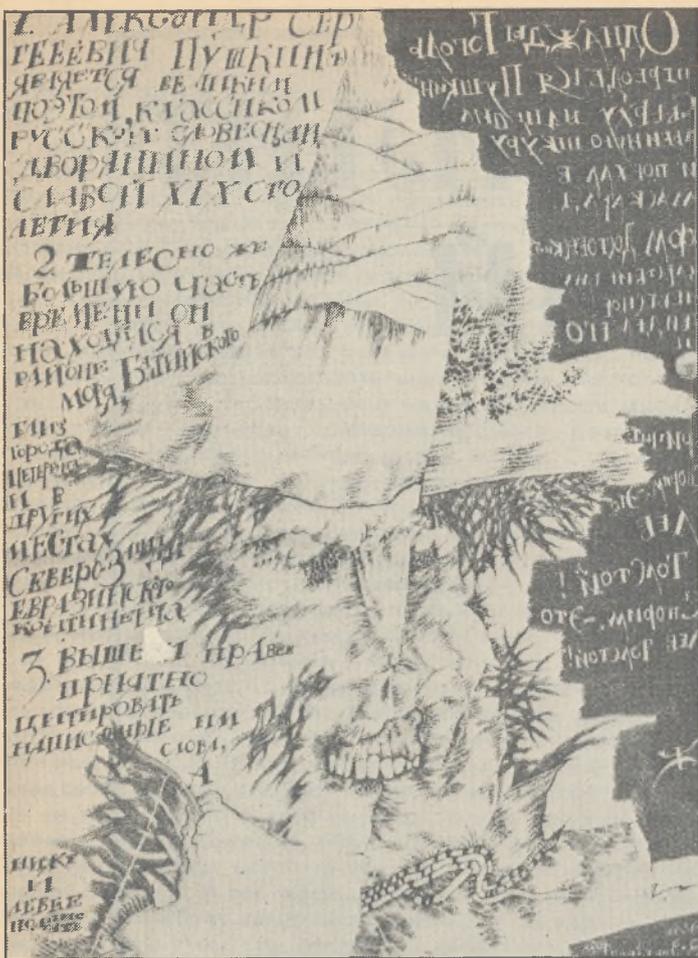
Рентген предполагает вспышку, сопровождаемую светом ли, радиацией ли или просто временем: все эти шуточки, когда тебя застукали вполоборота с весьма не выровненным перед зеркалом (из стоящих в фотомастерских комбината бытовых услуг, с расческой, привязанной пеньковой веревкой к верхнему гвоздику рамы) лицом. Полагаю, небольшой и лаконичный, хорошо всем знакомый археоптерис весьма негодовал тому, в каком невыигрышном ракурсе он — отразившись в известняке — достался разглядывальщикам следующих тысячелетий.

Предъявляемые нам Ж отпечатки слабо связаны с процессами, обуревавшими душу его. Если он — помимо рук — и принимал тут какое-то участие, то лишь в качестве такого уплотнителя времени. С тем вообще сложно: говорят «золотой век», «серебряный век», но о каких веках речь, когда все эти компании осуществлялись за десятилетие? А очень просто — речь о сумме. То есть, точнее, о произведении времени компании на число участников. Здесь же — компании нет (чисто биографически, потому что компанию можно устроить и так: ходя по пространству времени и знакомясь с людьми, тебе любезными).

Все это крайне индивидуалистично и напоминает индивидуальное сумасшествие Шлимана, то есть — мы вправе обратиться к теме холма и раскопок. Единственно, здесь нет корректной последовательности хода времени обратно — от города к городу со



Из цикла «Портреты русских писателей». Надглазурная роспись.



Надглазурная роспись. Фоторепродукции ОЛЕГА ЗЕРНОВА

Из цикла «Портреты русских писателей». Надглазурная роспись.

все более ухудшающимися условиями жизни его обитателей. Впрочем, это можно соотносить с убывающими обратно техническими возможностями автора.

У Шлимана все было достаточно просто: город насадет, насаживается на город (не обращая внимания на странность: зачем же садить дом на дом, образуя, что ли, для грядущего Шлимана именно холм), здесь можно говорить о последовательности каких-то внутренних городов автора, что, может быть, и верно, но его дело.

Это просто раскопки горы. По характеру изображаемого — горы Брокен, именно Брокен, а не Лысой — обнаруживаемое в перегнутой последней, думаю, имеет вид разнообразных писанок, также заслуживающих внимания, но требующих иного мастера.

Гора Брокен — шабаш, ведьмы, оргии, стробоскопический разврат, полеты на метлах и прочая литература, написанная на немецком. Но гора, очевидно, существует и вне своего описания на Deutsch и здесь, например, переводится почти на эсперанто.

Не надо бояться чертей и прочей нечисти, это ведь дела все немецкие, аккуратные, чтобы не сказать лютеранские. А что такое любой этот словесный бес противу Шитова — гражданина и организма, смешно. Да и не надо вешать всех собак на существа черного цвета, на демончиков, их ведь очень много, в книжке Уайта («Ceremonial Magic») описано штук так триста: ведь это же надо уметь отличить одного от другого, это, значит, образование, умение различать, понимать, что ты и где и что с тобой. Да и сама оппозиция «черное-белое» не вполне корректна, она не учитывает быдла. Не входящего, отметим, в число демонов ни у Уайта, ни даже у Парнова. Черное-белое, не надо быть гностиком, чтобы сообразить такую простую вещь: черное-белое и ничего кроме, это ведь нечто привычное не вполне: представьте себя в момент смутного душевного неустойства. Вы, скажем, выходите на поляну, где стоят два дуба — почти соприкасаясь ветвями, между ними, скажем, метровый прогал. Вы берете в руку случайную палку и загадываете, что ежели палка застрянет в ветвях левого дерева, то так; если правого — этак. Швыряете палку вверх, в прогал. Одно из двух осуществляется. Но ведь коряга могла упасть на землю.

Не могла. Вы находились в другом пространстве. Его можно назвать магическим, мистическим, чернокнижным, другим, а лучше всего не называть никак.

Вернемся, однако, в обиходное и, почти по Оруэллу, составим четыре предложения. Белая органика — хорошо. Черная органи-

ка — воняет. Белая неорганика — смерть. Черная неорганика — никак, но служит каркасом белой органике, предоставляя нам возможность что-то понять из технологии жизни и душевных переживаний.

(В этом абзаце будут начала рассуждений неиспользованных, мусор. Что фарфор — материал почти вечный и переживет нас надежно, и археологи через пару тысяч лет будут — по методу Герасимова — пытаться составить эти картинки в одно существо, но позвоночник даже, не то что скелет века описан еще не полно, и они ничего пока не поймут. Что у Ж всегда в его табличках что-то хочет превратиться во что-то: переводя на язык слов, можно представить себе фразы, где — не каждая, по необходимости — буква набрана своим, требуемым шрифтом. Что Ж когда-нибудь докопается до табличек с текстами, хотя и теперь стопку его плашек можно рецензировать как книгу. Что Шитов в свое время был человеком, и в связи с этим у него был ряд вполне конкретных проблем. Что Шитов, почти в той же связи, исполнял какие-то специфические функции внутри города Рига, каковые функции не вполне ясны, но выполняет, за что ему спасибо. И, совсем уже выдавливая слова из фарфора, можно представить себе космолетик многоцветного действия (буранный Шаттл какой-нибудь, облицованный этими плитками).)

Сказанное здесь можно расценить как текст если и не лирический, то отчасти с левой резьбой. Пустое. Мы все очень холодные. А что до выделения тепла в процессе этих слов, то это лишь разогрев горла речью, щекочущей трахею буквами Х, Ш, Щ, ну еще Ж и Ъ. Тепло выделяется речью лишь по поводу — будучи стесненной этим поводом, а иначе — черно-белый холод звука, не стесненной жанром, сюжетом и темой. Отсутствие же подобных обжимающих, удавливающих штук напомнит о школе еще не подожженного тернового куста на белом скосе крыши: «Качает ветер тоненькие прутья, и крепнет голос проволоки медной, и пятна света — яркие лоскутья — всё, что осталось от тетрадки бедной. О небо, небо, ты мне будешь снится! Не может быть, чтоб ты совсем ослепло, и день сгорел как белая страница: немного дыма и немного пепла! Жемчужный почерк оказался ложью, и кружева не нужен смысл узорный, и только медь — непобедимой дрожью — пространство режет, ниже бисер чёрный. Разве я знаю, отчего я плачу? Я только петлю и умирать умею. Не мучь меня: я ничего не значу и чёрный хаос в чёрных снах лелею».

А для тепла не обязательно лизать друг друга, можно и по-другому, так как-то, что даже проще, а получится — теплее.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ



ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАРОДНОГО
ФРОНТА ЛАТВИИ ДАЙНИСОМ ИВАНСОМ

ФОТО АНДРИСА КРИВИНЬША

Ты, конечно, не провидец, но все же: каким, по-твоему, будет этот, 1990 год!

Тяжелым. На улучшение экономического положения, облегчение быта, уменьшение чувства неуверенности в будущем надеяться нечего. Я поражаюсь близорукости и авантюризму новых постановлений правительства СССР, касающихся перестройки экономической и социальной жизни. Видно, тысчаголовой гидре сохранить себя и доказать свою «нужность» важнее, чем благосостояние народа. Вместо того, чтобы радикально децентрализовать народное хозяйство, развязать инициативу, предпринчивость, дать самостоятельность, чинят все тот же тришкин кафтан, скроенный по одной унитарной мерке для разных народов, придерживающихся различных принципов социально-экономической жизни. Старая колониальная погудка во взаимоотношениях «сильного центра» и «сильных республик» все еще звучит, хотя и на новый лад. К чему это приведет? Только к усилению политического противостояния центра и республик. Расцвет «единого народнохозяйственного комплекса» нереален, так как на деле отрицает экономическую свободу — и личности, и предприятия, и республики. А без нее, без рыночной экономики, материального улучшения ждать не приходится. Словом, все зависит от того, сумеем ли мы восстать против произвола центра, его грабительской политики, сможем ли стабилизировать свою внутреннюю экономическую систему. Однако и экономическая свобода, будь она Латвии предоставлена, сразу ничего не изменит. Но и этой свободы, равно как и политической, надо добиваться любой ценой. Предвижу, что в 1990 году это нам частично удастся — логика истории на нашей стороне. И все же год в любом случае будет нелегким, потребует самопожертвования и выдержки. Но если мы выдюжим, не потонем в собственных дрызгах, он может оказаться в какой-то степени даже удачным.

Каковы дела неотложные, программа-минимум?

Уцелеть, прежде всего. Ведь мы сидим на пороховой бочке объятый пламенем империи, которая рушится на глазах. Кто знает, где будет следующий Чернобыль, где произойдет еще одна гигантская авария. Поди знай, в какой момент «родная» армия повернет против нас танки, а «черная сотня» обрушит на наши головы резиновые дубинки. Нет гарантии, что КГБ по приказу очередного маньяка снова не объявит беспощадную войну «контрикам и врагам народа». У меня иногда такое чувство, что мы переживаем «пражскую весну», которую в любой момент может задуть победоносная Советская Армия, и опять настанет «триумф идей социализма». От нас требуется удвоенная бдительность, кстати, хитрость тоже не помешает. Но как бы то ни было, со всеми предосторожностями и при известном скептицизме, а вперед продвигаться надо. Избрать весной достаточно прогрессивно мыслящий Верховный Совет, сформировать демократичное правительство, которое поддержало бы независимость Латвии, государство партократии превратить в государство народовластия. В кратчайший срок после выборов создать иммиграционную службу и принять иммиграционный закон. Народный фронт Латвии должен будет наладить тесное взаимодействие со своей парламентской группой. Нужен закон о референдуме, надо подготовить народ к референдуму о самоопределении.

На Балтийском совете мы договорились с эстонцами и литовцами вступить в этом году в переговоры с правительствами СССР и других стран мира о восстановлении государственной независимости балтийских стран. Но политическая власть должна иметь экономическую опору, иначе это декларация и только, поэтому надо как можно скорее передать в ведение республики максимальное число промышленных предприятий союзного подчинения. На пользу независимости пойдет и республиканская валюта, и соответствующая финансовая политика (осуществляемая без промедления), а также экономическое сотрудничество балтийских стран. Подготавливая независимость

Латвии, следует позаботиться о том, чтобы в производстве сельхозпродукции определяющую роль играли не косные неповоротливые колхозы и совхозы, а индивидуальные крестьянские хозяйства, чтобы экономический капитал свободных крестьян стал нашим политическим капиталом.

И давайте терпимее относиться друг к другу, побеждать тоталитаризм и тупоумие в самих себе, выдвигать в качестве политических лидеров не простаков или демагогов, а честных, мыслящих людей. Сегодня у нас о политиках судят больше по словам, чем делам. Надо изменить молодежную политику, добиться решительного перелома в национальной системе образования. Должна быть и демографическая политика, гарантирующая выживание латышей.

Что ты думаешь о ситуации в Латвии после II съезда НФЛ?

Думаю, она довольно стабильная и благоприятствует прогрессивным переменам. Недаром Рижский горком Латвийского филиала КПСС так старается нащупать дестабилизирующие моменты. По-моему, взбаламученные нами воды скоро улягутся, и станет ясно, кто есть кто. Демократизация Латвии не остановлена, это главное.

Возникает все больше общественных и общественно-политических организаций. Партий. Процесс, понятно, неизбежный и закономерный, но иногда страшно становится, нас ведь всего каких-нибудь два миллиона. Смех сквозь слезы: люди, считающие себя политиками и уверяющие, что идут к общей цели, демонстрируют в раздорах категоричность, амбиции и нетерпимость, достойные худших времен. Как НФЛ может объединить столь разнородные силы! А с другой стороны, размежеваясь и отмежевываясь, не превратимся ли мы в песок, просыпавшийся между пальцев, чего многие ждут не дождутся!

Расцветающая у нас «многопартийность» мне иногда кажется комичной, а подчас вгоняет в отчаяние. Пожалуй, это пережиток недуга, характерного для старой Латвийской Республики. На Западе, в странах демократии, межпартийные различия не так велики, как у нас, и уж во всяком случае партии существуют не для того, чтобы имела многопартийность. А ради укрепления демократии, во имя общественного блага и для того, чтобы гарантировать соблюдение общенародных интересов в государственной политике. Что же наши главные политические движения — ищут в спорах лучших путей к общей цели? Пока мы в чем-то смахиваем на стадо упрямых баранов, которые непрерывно вносят протесты, обижаются друг на друга, словом, ищут повода для ссоры, чтобы засвидетельствовать свою «политическую последовательность». Представишь себе некотрых из этих новых лидеров в составе правительства латвийского государства — и невольно подумаешь: а не лучше ли все оставить как есть?

Может, я ошибаюсь, но порой мне кажется, что основанием разных партий, движений и организаций, их политическим ориентированием занимаются одни и те же люди. Или — одни и те же силы, которые заинтересованы натравить нас друг на друга — по мелочам?

Самое трагичное, что по воле ряда людей — провокаторов, или склонных к безответственным поступкам, или просто глупцов — мы все больше втягиваемся в смехотворные дискуссии о том, сколько ангелов уместится на острие иглы независимой Латвии, тратим драгоценное политическое время своего народа. Наши противники только того и ждут. И это парадоксально, потому что наш народ, по моим наблюдениям, сплоченней и разумнее пестрой политической «верхушки». Конечно, степень его политической зрелости еще недостаточна, и поэтому он поддается на удочку примитивных рассуждений и агитации. Мне, например, жаль, что из-за терминологических неувязок мы сдали в архив идею закона о латвийском гражданстве. Не нравился вариант Боярса, предложили бы другой. Верховный Совет Литвы такой закон принял, и новоприбывшие больше не будут пользоваться там привилегиями, которые имели те, кто раньше переселился в Литву. Думаю, они хлынут в Латвию, потому что в Эстонии аналогичный закон на подходе.

Полагаю, что наша собственная духовная ограниченность, нищета интеллекта и недостаток культуры несравненно ужаснее все еще существующего аппарата управления, армии, КГБ тоталитарного государства и возможных репрессий. Собственные изъяны могут уничтожить нас скорее. Да и мыслимо ли усваивать политический опыт, не имея основ общегуманистического, общечеловеческого, общедемократического опыта?

Без культуры общечеловеческих отношений демагогия и диктатура (все равно с чьей стороны), конечно, возможны, демократическая политика — нет. В конце концов, и тоталитарный государственный аппарат, нами правящий, — это плод невежества и бескультурья. Получается заколдованный круг, и порвать его способна только духовность — духовность и в политике, и в быту. Не случайно инициатором и движущей силой нашей национально-демократической революции стала интеллигенция. Недаром большевистский режим с таким рвением уничтожал и опутывал своими догмами людей умственного труда, мыслителей и гуманистов, противопоставляя их «трудовому народу». Интеллигенция — мозг народа, слой, выдвинутый народом для поддержания своих духовных ценностей и интеллектуального потенциала. Без нее народ обезглавлен, невежествен, любой деспот может манипулировать им, как хочет. Реальное оружие против старой власти и системы — это просвещение, образование, человечность и культура. Вопреки тому, что творится вокруг, вопреки произволу ограниченных чинуш. Чего ждет от нас противник? Чтобы мы натворили глупостей и прибегли к насилию. В этих делах они сильнее нас, тут они нам покажут. А в сфере культуры и духовности их может ожидать поражение.

Все это, разумеется, теория. Выйдешь на улицу, взглянешь на лица тех людей, которые, как одержимые, продолжают восхвалять партию, Октябрь и упрямо строить на помойке социализма свой коммунизм, а вокруг хамство, тупость, лень, разгильдяйство — оптимизма не прибавляется. Начинает казаться, что поезд ушел. Мне представляется, что не только массовые убийства, но и развал нормальной экономики были в числе главных преступлений большевиков. За 72 года эта система не только уничтожила громадное число интеллигентов, крестьян, рабочих, детей, она без малого выкорчевала понятия святости и греховности, нравственность и мораль, веру в Бога. Не знаю, простит ли Он нам все это, или ждет нас судьба Содомы и Гоморры, а может, Страшный суд уже настал в Чернобыле, Вентспилсе, Юрмале? Соберем же остатки духовности, чтобы наставить Латвию и народ ее на праведный путь, спасти от исчезновения, вернуть в лоно европейской демократии и свободы.

Сегодня в политике считает себя знатоком чуть ли не каждый. Но одного желания заниматься политикой мало, особенно, если на первый план выступают чисто личные мотивы. Например, десятилетиями вынашиваемые желание самоутвердиться, жажда власти и популярности, стремление щегольнуть бравой удачей, чего бы это ни стоило, и порой, да простят меня, психическая неуравновешенность. Твое мнение!

Психической неуравновешенностью как социальным явлением сыт по горло: за год существования НФЛ я сталкивался с ней чаще, чем за всю мою предыдущую жизнь. Ведешь прием — и хочешь позвать на подмогу психиатра, это бывает довольно часто. Уму непостижимо, какую бурную политическую активность развивают сверхчестолюбцы, а их тьма и тьма, и душевнобольные. Я, кажется, научился различать тот фанатичный блеск в глазах, который присущ психически больным людям. В часы хандры и сплина я ловлю себя на том, что не могу понять, кого же больше среди наших самостоятельных политиков — «стукачей» и «чекистов» или тех, у кого «крыша поехала». Помешательство на политике у нас, пожалуй, один из самых распространенных видов безумия. Но это беда, а не вина больных людей. Удивительно, как это наша «наоборотная» социальная и идеологическая система всех нас не превратила в сумасшедших. Психической неуравновешен-

ности отдельных людей способствовали нестабильность системы ценностей при существующем строе, дефицит серьезных идеалов, приемлемых для человека и соответствующих его природе, наконец, вечная ложь и лицемерие.

Есть, конечно, люди, просто не отдающие себе отчета в своей политической дурости. Раньше ведь в глупцах, если не сказать посылнее, ходили сиятельные государственные мужи. Теперь, понимаешь, многим кажется, что и те, кто демонтирует эту систему, под стать оным. Ах, как нужен нам сегодня свой Эразм Роттердамский, который написал бы «Похвалу Глупости» в Латвии конца XX века.

Что ты можешь сказать о латышском народе на пороге XXI столетия?

Это МОЙ народ. Мы достаточно сильны, я полагаю, если через пятьдесят лет русификации, советизации и угнетения еще живы, и не только живы, но не потеряли надежду вернуть себе землю и свободу, умеем любить друг друга и не воздавать угнетателям той же мерой, если мы сохранили претерпевший столько унижений и невзгод язык, свою историческую память и сознание национальной общности. Да, латышский народ, подобно многим несчастным народам этой империи, обездолен, изнурен, ввергнут в отчаяние и частично ассимилирован. Его спаивали, держали в невежестве, третировали, в нем нет более той тяги к культуре и образованию, что в пору первого нашего пробуждения в середине XIX века и в светлые годы независимости. Но в душе народа я вижу свет великий. И он спасет нас. Сегодня нас, видимо, политически покорить нельзя, уничтожить духовно и морально невозможно — только физически, только силой, только в лавине миграции. Мы восстанем к свету и снова сделаемся народом в полном смысле этого слова. Через рубеж веков мы должны переступить просветленными и одухотворенными.

Все говорят о консолидации и компромиссах. Не демагогическая ли это уловка? Ведь вся наша прежняя жизнь была сплошной консолидацией с великим русским народом и непрерывным компромиссом, при отрицании своей национальной идентичности и отечества. С кем, зачем и на какой основе консолидироваться сегодня? С кем, зачем и как долго мы еще будем строить свое будущее на компромиссах? Не рискуем ли проиграть свое будущее!

В условиях Совдепии консолидация малочисленного народа с многочисленным оборачивалась ассимиляцией первого.

И сегодня, когда мы, латыши, по-прежнему знаем, что русские, или, вернее, русскоговорящие «советские», могут, если пожелают, в любой момент с помощью армии, танков нас уничтожить, а численным перевесом — ассимилировать, что наша судьба в этом унитарном государстве зависит от соизволения или настроения других, никакая особая дружба, по правде говоря, между нами невозможна. Дружественными могут быть только два свободных народа, уважающих язык, права и неприкосновенность внутренней жизни друг друга, право бытования на своей земле. Когда после II съезда НФЛ мы встретились с маршалом Ахромеевым, он о событиях сорокового года, об аннексии Латвии высказался просто и недвусмысленно: «Мы должны были это сделать в интересах советского народа!» О каком же равноправии и взаимном доверии можно говорить, если в интересах многочисленного народа с малочисленным поступают как заблагорассудится и без малейшего желания впоследствии поправить дело? Такие принципы, такой порядок неприемлемы для цивилизации, которая хотела бы нормально существовать. И самим русским это не дает никакой гарантии. А взаимоотношения латышей и русских в Латвии, где латыши každодневно испытывают гнет русского языка и русских обычаев, абсолютно ненормальные. Для латышей никакие компромиссы или дальнейшая «консолидация» больше невозможны. Что еще нам прикажете отдать? Свой язык, свою жизнь? Для рукопожатия нужны две руки, а не одна, причем на равной высоте. Нас может сплотить только

идея восстановления свободного, независимого латвийского государства. Будем же сами собой, будем латышами и не станем гнуть спину и ломать язык перед другими, какую бы солнечную жизнь ни обещали нам в неволе. «Консолидации» не надо, мы будем жить вместе с другими народами по принципу взаимного уважения. Утешимся истиной древней, как мир, — все империи погибали от нарушений в пищеварительном тракте.

Об отношениях НФЛ и Компартии Латвии. Год назад, сегодня, завтра! В условиях, когда масса людей (коммунистов или недавно вышедших из партии) не скрывает своего разочарования и неверия в компартию.

Наши отношения неопределенны сегодня, как и вчера, потому что неопределенной остается политика КПЛ. НФЛ симпатизирует тем партиям, кто хочет достичь независимости КПЛ, восстановления латвийской государственности и ревизовать утопические цели этой партии. Мы не забываем, что в государстве партократии власть по-прежнему принадлежит партии. И если оставить ее в руках наших противников, то хоть лоб расшиби о Кремлевскую стену, а ничего не добьешься. Венгры показали пример самоликвидации компартии, создав на ее месте Венгерскую социальную партию, признав многопартийность и тем самым подорвав изнутри последнюю могучую опору системы. Собираются это делать и поляки. А мы что — рыжие? Можно попробовать. Конечно, не допуская простого перекрашивания фасада, которое позволило бы партии под дымовой завесой реформы и обновления уклониться от покаяния и увильнуть от ответственности за свои преступления. Думаю, выход из КПЛ сегодня не самый умный выход. Хотя это и нетрудно, и эффективно, и хочется.

Что побудило тебя в такой сложной, противоречивой ситуации баллотироваться в председатели НФЛ!

Никогда в жизни мне еще не было так плохо, как в тот момент. На учредительном съезде НФЛ я еще не знал, с чем это едят, теперь — знал хорошо. В голове прокручивался целый сюжет: прошедший безумный год, фактически брошенная (de facto) семья, и никаких иллюзий по поводу завтрашнего дня. Ведь и мне могла, в общем, надоесть роль ренегата, диктатора и предателя «светлых сил» в Народном фронте, и я мог, а почему бы нет, сделаться «кристально честным, предельно откровенным и очень прямым» оппозиционером. Победило другое — к выборам мы должны подойти максимально сплоченными. Многие из старой команды, возглавлявшей НФЛ, связывали свой дальнейший выбор с моим решением — уходить или оставаться. Еще был долг перед Балтийским советом, где мы с Эдгаром Сависааром из Эстонии и Витаутасом Ландсбергисом из Литвы неплохо сработались.

Сегодня всякий, кому не лень, может основать «партию», имея за душой одни призывы к немедленному обретению независимости и свободы, поскольку народ жадно им внимает. А тебе приходится считаться с тем, что по меньшей мере двести тысяч человек внимательно следят за каждым твоим шагом, анализируют каждое твоё слово. Вот я и думаю — не выгоднее ли уйти в оппозицию ко всем и вся. Тут хотя бы вмиг попадешь в патриоты и завоеешь ореол смельчака, покамест тем, кто пытается перейти море грязи, приходится брести бездорожьем, не говоря уж об отсутствии дорожных указателей. Слышать ропот спутников, понимать, что со временем замараешь и руки и ноги, а мыло, как известно, по талонам. Или я ошибаюсь!

Да, ныне легче протестовать и осуждать, чем делать дело. Впечатление такое, что в Латвии сегодня любая акция сопровождается протестами различных радикальных, и при этом находящихся на крайних полюсах, организаций. Мы, люди советской породы, готовы обливать грязью инакомыслящих, тех, кто выделяется на общем фоне и кто, естественно, не в состоянии угодить вкусу всех групп и группочек, всех кружков. Но время все расставит по своим местам.

Парадоксально — в лицо тебя знает вся Латвия, а чем ты занимаешься — известно немногим.

Телефонные звонки, совещания, визиты, неприятности, одни ругают, другие боготворят. Даже ночью не могу отключиться от мыслей об НФЛ. Бесконечный стресс, пытаешься объять необъятное. Опустошает это здорово, видимо, еще один такой тяжелый год, как прошлый, и я больше ни на что значительное не буду способен. Слушай, иногда я опасюсь, а не начинаем ли мы походить на большевиков, наступающих на горло собственной песне, готовых отрешиться от близких, семьи, своей личности ради идеи. Ничего хорошего в этом нет. А как соединить жизнь человеческую и цивилизованную с той работой, которая всем нам нужна, — не знаю.

Что из сделанного кажется тебе самым важным!

Сам удивляюсь, как это я, абсолютный непрофессионал и дилетант в политике, в руководстве организацией и антивождь по характеру, не довел Народный фронт до ручки. Он даже возрос и окреп. В росте его внутри- и внешнеполитического авторитета, в том, что НФЛ вместе со всей Латвией вышел на мировую и европейскую политическую арену, есть и частица моего вклада. Но оценку этому дадут только «благодарные потомки». Я доволен, что НФЛ за полтора года своего существования не обюркратился, не стал прибежищем хляков. Хотя мнения тут могут быть разные.

Все ударились в критику, а тружеников, на мой взгляд, не хватает больше, чем когда-либо. Что позволяет тебе сохранять душевное спокойствие и веру в себя, когда самоуверенные профаны чествуют тебя за несуществующие грехи!

Это, возможно, пафос и абстракция, но я скажу — Латвия, во всех смыслах этого емкого слова. И семья, через призму которой я вижу мою Латвию. Хула, а ее предостаточно, но особенно приятна, но у меня нет времени огорчаться, поскольку те, кто ропщет, что-то не спешат с реализацией своих правильных идей и проектов. Если я убежден, что делаю нечто полезное, я это делаю, не обращая внимания на камешки, которыми побивают меня с той или другой стороны. Ну, а если добьют, хоть знать буду — сделал все, что мог.

Порой от тебя требуют невозможного, поэтому внеси, пожалуйста, ясность — что может Народный фронт, а что лично ты, как его председатель!

Я могу высказать свое предположение, помочь найти равнодействующую разных точек зрения. Посоветовать, поддержать, отказать в поддержке. Но я не могу дать квартиру, уволить с работы подлеца, убедить неверную жену, что она должна любить и уважать своего мужа, или наоборот, хотя, увы, ко мне обращаются с подобными просьбами. Народный фронт может, и это его первейший долг, создать такой политический климат, при котором соответствующие организации непосредственно занимались бы обеспечением народного благосостояния и социальной справедливости. Моральная и политическая сила НФЛ такова, что он может добиться обоснования и гуманизации этих структур власти. Что мы можем сделать, это зависит от того, насколько силен и един наш народ. Мои же возможности зависят от того, насколько мне доверяют и поддерживают.

Банальный вопрос: тебе не страшно! Не боязно ошибиться, потерять больше, чем приобрести, утратить опору в друзьях и приобрести поддержку врагов! Нет ли страха перед будущим, за своих детей, за себя наконец!

Всего бояться — занятие интересное и увлекательное. Но чего же следует бояться? В нашей ситуации не работает даже закон Мёрфи — «никогда не бывает настолько плохо, чтобы не могло быть еще хуже». Если станет еще хуже, чем сегодня, то мы — это уже будем не мы. Я не страшусь, так как ощущаю за собой латышский народ и верю, что мы и впредь будем вместе, какая бы судьба нас ни ожидала. Мне кажется, мы не ступим вторично туда, куда старые люди ступать во второй раз не советуют.

«Авотс» представлял АЙВАРС КЛЯВИС



Фото АНДРИСА КРИЕВИНЬША

Петерис Цимдиньш

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАТУМ ИЛИ БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ

«Если некая наука находится в стадии становления, то громадная репутация, которой пользуются в обществе ее творцы, желание самому уяснить вопрос, вызвавший огромный интерес, надежда прославиться каким-нибудь открытием, честолюбивое желание снискать тот же титул, что у знаменитых мужей, — привлекают к ней всеобщее внимание. В короткое время ею начинают заниматься громадные массы людей с самыми различными чертами характера...

Но с расширением пределов этой науки уменьшается уважение, которое она вызывает... И толпа энтузиастов рассеивается, идет на убыль тяга колонистов к земле, где удача стала редкою и труднодостижимой вещью».

Дени Дидро. «Мысли об объяснении природы»

Экология — сравнительно молодая наука, и с момента ее зарождения в 1866 году в ней наблюдается известная последовательность исследовательского процесса и накоплено такое количество выводов и закономерностей, что его должно было бы хватить для решения практических, повседневных вопросов жизни. Не отрицая многогранности экологии как науки, я хотел бы обсудить один ее аспект, а именно рассмотреть экологию как науку о биологических сторонах **места обитания**. С учетом эпиграфа из Дидро каждый сам может определиться в этом движении, что будет лучше, если он сначала ответит на основной вопрос экологии: «Почему и каким образом они живут там, где они живут?» Понятно, что мир наш древний, и все виды давно распределили между собой пространство и роли так, что он

существует более или менее стабильно и мог бы существовать дальше, не подкашивая человек эту стабильность своими непродуманными действиями. Отсюда все то, что мы сегодня обозначаем как проблемы экологии, в сущности сводится к экологии и поведению одного вида — homo sapiens. На первый взгляд, принимаемые нами решения должны быть просто великолепными, посудите сами: поведением человека заведует нервная система, различия в поведении определяются качеством перерабатываемой информации, наш мыслительный аппарат нас никогда не подведет, если только центральная нервная система будет давать адекватное представление об окружающем мире; стоит нам осмыслить последствия своего поведения, и та же ЦНС продиктует такую защитную реакцию, чтобы человек

изменил свое поведение и избежал грозящей опасности... Забегая вперед, скажу, что это единственная модель централизации, которая действует в направлении выживания, и вместе с тем **обратная связь** — это самая тяжелая штука, которой всё никак не могут добиться правительства остальных стран в своем механизме управления. А не могут потому, что эта связь работает на уровне организма, на уровне индивидуальностей, но очень сомнительно, чтобы она действовала в механизме, который составляют массы, так сказать, человеческий материал.

То состояние, в котором мы сегодня очутились, чаще всего называют экологическим кризисом и экологической катастрофой. С научных позиций, меня интересуют критерии и границы определения таких кризисов и катастроф. Экологическое движение, призывы и лозунги начинают занимать ведущее место в нашем обществе, нет более надежной опоры в предвыборной кампании: «Голосуйте за сохранение экологического равновесия, разумное использование природных ресурсов, культуру земледелия!» Но если всерьез думать о выполнении своих обещаний, то «зеленым» депутатам вскоре придется подать в отставку, так как выполнить их они не смогут. Очень просто — не смогут и всё, откуда же им знать, как это практически сделать, каково реальное положение вещей, почему оно таково, какими средствами можно достичь провозглашенной цели.

Основную задачу этой статьи я бы сформулировал так: попытаться определить, может ли экологическая ситуация на такой небольшой территории, как Латвия (64,6 тыс. кв. км, 0,3% всей территории СССР), оказывать влияние на глобальную или хотя бы региональную (в Балтийском бассейне) ситуацию; и второе — как мировая эволюция сказывается в Латвии.

ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИЧИНЫ

Латвия — морская республика. Морское побережье протяженностью 475 км, незамерзающие порты на западе, белые песчаные пляжи и сосновые боры за ними, плодородный поверхностный слой почвы давно уже сделали эту территорию обитаемой, во-первых, и лакомым куском для завоевателей, во-вторых. В этом и заключается главная проблема — республика как транзитная территория и одновременно индустриально производящая территория или же республика как жизненное пространство с жизнеобеспечивающими и природовосстановительными процессами? Оба эти пути развития несомнестимы! За последние 40 лет катастрофически преобладал первый путь — расширяющегося промышленного производства и перевалки грузов через наши порты (за последние 40 лет индустрия в Латвии выросла чуть ли не в 60 раз, сельскохозяйственное производство — в полтора раза, транзитный грузооборот составляет 95% общего грузооборота в республике). Чтобы всего этого добиться, нужны были энергия и ресурсы, которых в Латвии сроду не бывало, ведь по своим природным данным это аграрно-независимая территория, то есть такая, которая может полностью себя прокормить (чего нельзя сказать о многих индустриально-независимых районах СССР). Значит, к нынешнему печальному положению мы подошли потому, что территория республики эксплуатировалась как производственная зона. Рижский залив загрязнен неочищенными проточками и стоками сельскохозяйственного происхождения, гидрологический режим крупных рек нарушен и они медленно умирают. Хотим оздоровить залив, реки, всю территорию? Надо ясно отдавать себе отчет в сложившейся ситуации. Такой ясности нет. То есть имеются отдельные, фрагментарные, хотя и достаточно солидные научные исследования, но общей картины они не дают. Сказанное целиком относится и ко всем проводимым в республике экологическим исследованиям. Фрагментарные работы выполнены достаточно профессионально и скрупулезно, но системность отсутствует, ощущения времени тоже нет, откуда же взяться оценке процессов в динамике, прогнозам? Неотложная задача — произвести картирование территории по уровню радиоактивного загрязнения, установить уровень накопления и места концентрации химических и токсичных отходов (включая боевые отравляющие вещества), степень загрязнения подземных вод и ее динамику, транзитный занос загрязнения с соседних территорий. В интересах стран Балтийского региона создать международную группу экспертов, которая проводила бы эти исследования современными и поддающимися сопоставлению методами. В этом плане Латвийский фонд культуры был дальновиднее

ученых — «увидев» Даугаву, взялся за реализацию Даугавской программы. Не считаться с Даугавой, на бассейн которой приходится 40% латвийской территории и чей сток составляет 2/3 общего стока латвийских рек в Балтийское море, с рекой, где на протяжении 370 км в условиях равнинного рельефа построено три ГЭС, непорочно. Не требует доказательств, что Латвия и Рижский залив в экологическом смысле существенно зависят от Даугавы и возможности ее самоочищения. Но тут есть проблема, решение которой могло бы послужить глобальной моделью. На наших ошибках, если их серьезно проанализировать, может учиться мир.

Другой оценочный критерий носит более субъективный и по-человечески понятный характер, он очевиден и без труда воспринимается нашим мозгом. Всё, что запущено и разрушено, мы связываем с экологией. Люди, помнящие, какой ухоженной была довоенная Латвия времен независимости, воспринимают ее сегодня иначе как зону катастрофического бедствия и не могут (разумеется, если приехать в Ригу из Таллинна). В Москве транзитному пассажиру достаточно часа пути от аэропорта до Рижского вокзала, чтобы убедиться в том, что она с собой не справляется, где уж других опекать. Пассажир поезда Москва—Рига приходит уже к гораздо более критическому выводу: «У Латвии только один выбор: границей зоны бедности будет либо ваша восточная, либо западная граница». Поскольку в экологии существует такая ветвь, как экология популяций (народов) с такими понятиями, как миграция, саморегуляция, то не резон от них отворачиваться. Правда, руководящие аппаратчики считают, что уровень науки и производства понижается оттого, что многие ударились в политику. Думаю, политическая ситуация оттого нестабильна, что система не вызывает доверия и не производит впечатления стабильности. В истории человечества игнорирование специфики территории и этнических особенностей всегда приводило к кризисам, поэтому не существует вопросов экологии вообще, они тесно связаны с экономикой и политикой. Вопреки господствующим взглядам экономистов, я полагаю, что экологические вопросы первичны, их правильное (читай: рациональное) разрешение стабилизирует экономическую и политическую ситуацию. Между экологической и военно-политической безопасностью тоже нельзя ставить знак равенства, ибо и здесь экологическая безопасность первична. Ведь армии победителей нужна пригодная для жизни территория — жизненное пространство со всеми его ресурсами, одними отношениями тут не обойтись. До сих пор мы совершенно необоснованно считали человека при социализме едва ли не существом небюрогическим, которому всё материальное чуждо, и ни к чему ему жизненное пространство, ресурсы, а главное для него — взаимоотношения (однако с оговоркой — равноправные, дружественные и интернационалистические). Но ведь дарвиновская теория отбора базируется на таком взаимодействии, которое носит конкурентный характер. Отбор — это стабилизация через конкуренцию, и существование целого возможно лишь путем уравновешивания различных сил, действующих внутри системы, то есть через антагонистические противоречия.

С точки зрения эколога, системно необоснованными являются ссылки на то, сколько, мол, получает Латвия от других советских регионов, — приведите при этом цифры, сколько из Латвии вывозится. На сессиях Верховного Совета Латв.ССР, а также в Москве продолжают бесплодные дискуссии о решении того или иного фрагментарного вопроса не экологии, нет, защиты природы (системы мероприятий). Основной вопрос остается в тени, а он, по-моему, звучит так: «В какой степени уровень развития экологической науки в Латвии мешает оптимальному осуществлению природоохранительных мероприятий?» Ответ вижу единственный: «Мы ошиблись в определении стратегии развития республики как территории, и неблагоприятные последствия этого продолжают нарастать». Независимая Латвия была аграрно-самообеспечивающейся территорией, могла не только себя прокормить, но и экспортировала продовольствие. Независимость мы утратили, индустриальная зависимость от ресурсов и энергии еще более возросла. Такое положение сложилось далеко не стихийно, это результат целенаправленной политики. Российской империи проще всего было завоевать плацдарм для выхода на Запад, к единственному незамерзающему порту Вентспилсу на ближнем северо-западе, с помощью военной силы, но не так просто его удержать. Территорию завоевывали и удерживали пехотинцы, однако эти завоеватели из рода бродяг, они территории не благоустривают, не осваивают и земли не обрабатывают. У каждого народа свой потенциал выживания, одни могут выдержать 700-летний гнет (как, например, латыши), другие исчезают за 300 лет, третьи на огромном пространстве от Балтийского моря до Тихого океана и за 72 года. Запас стойкости народа не имеет строгих временных границ, и не численность народа определяет его бытование, а качество (интеллектуальный потенциал, способность

преодолевать сопротивление среды обитания, потенциал воспроизводства населения). Корни нестабильности уходят в дореволюционную эпоху, они и в самой революции. Одна колониальная империя — царская Россия, которую должна была смести с лица земли революция 1917 года, породила другую империю — точно такую же, по крайней мере с экологической точки зрения. А именно — такую, которая свои проблемы решала за чужой счет. Революцию можно одновременно рассматривать и как освобождение угнетенных народов от колонизаторов, и как создание новой системы (социалистической) для спасения России, на этот раз России советской. По существу, колонизация обширных регионов разорила не только захваченные территории, но и самое Россию, поскольку сковывала развитие ее собственных природных производительных сил. Цель этой политики в Латвии проявилась совершенно отчетливо начиная с 1940 года, когда коренное население стали депортировать в Сибирь в соответствии с задачей его планомерного уничтожения. Та часть жителей, которая успела эмигрировать, обрела достойное человека существование в Западной Европе, Америке и Австралии. Итак, жизненное пространство для России расчищено, выход к портам проложен, но уверенности в триумфе нет — ведь захваченную территорию надо во что бы то ни стало удержать за собой. Как? А вот как: проведением, с самыми гуманными, разумеется, намерениями, политики индустриализации Латвии путем привлечения иммигрантов из восточных и южных областей Союза и создания им более благоприятных условий (работа, жилье), чем у коренного населения, — тем самым индустриально зависимая Латвия превращается в тотально зависимую от СССР. Подобная политика тотальной колонизации под вывеской единой экономики (по существу, культур-империализм) должна была решить задачу тотальной ассимиляции латышей, но здесь именно экологические факторы: деградация окружающей среды, перенаселенность городов (в Риге, занимающей 6% территории республики, живет 34% населения и сосредоточено 54% промышленности), а также «качество» информации и отсутствие обратной связи, централизация и проч. привели к национальному пробуждению и революции. Принадлежащий к данному народу индивид обладает специфическим территориальным поведением. Этим поведением контролируется численность народа на данной территории. В то же время народ под влиянием внешних факторов (нехватка питания) или побуждаемый внутренними факторами (качественные изменения в результате изменения плотности населения) оказывает воздействие на индивидов. Это воздействие в Латвии проявляется как руководство всем народом, предполагающее всеобщую уравниловку во имя равенства индивидов, однако тем самым исключается столь необходимая для народа зависимость от территории его проживания и на ее место подставляется зависимость друг от друга или от руководителя. Утрачивается конкуренция, а без этой способности одни только внешние условия и централизованное руководство тем более не могут обеспечить стабильный уровень организации. Народ вырождается, превращаясь в скопище отдельных индивидов, частота встречаемости различных генотипов становится хаотичной, накапливаются мутации, порождающие деградацию, и все это приводит народ к гибели. Авторам идеи единого советского народа следовало бы знать по крайней мере принцип американского зоолога Эрнста Майра, согласно которому любой вновь явленный народ несет в себе лишь часть той информации, которую несли в себе породившие его народы. Здесь истоки манкуртизма.

В 1915 году в России была образована Комиссия по изучению естественных производительных сил, в ее задачу входило изучение возможностей добычи в России платины и глины, разработки соляных копей, использования ветровой энергии и т. п. Руководил этой комиссией выдающийся геохимик Владимир Вернадский, который был известен широкой публике тем, что в 1911 году вместе с еще 20 профессорами покинул Московский университет в знак протеста против подавления студенческого движения мерами полицейского террора. Это, однако, не помешало Военному министерству выделить комиссии Вернадского на проведение исследований 70 тысяч рублей, а затем 26 тысяч на дальнейшие работы. КЕПС успешно существовала до 1934 года, когда была окончательно «заменена» стахановским движением и безграмотными пятилетними планами. Помните об этой истории необходимо для того, чтобы усвоить — научными методами констатировать застой невозможно, и латвийская наука в той организационной форме, в какой она сегодня у нас существует, движущей силой культурной эволюции быть не может (ведь ни один профессор или академик не подал в отставку ни в годы застоя, ни в противопоставляемую им эпоху пробуждения — следовательно, это либо крайний консерватизм, либо непростительная гибкость).

В контексте Октябрьской революции стоит вспомнить ее

дальнейший ход. 3 марта 1918 года в Брест-Литовске был заключен мирный договор, территориально-экономические последствия которого могут нас интересовать. Американский историк Джордж Вернадский (см. «Военпост» от 4 марта 1988 г., с. 12) оценивает их так: «Россия потеряла 26% своего населения, 27% сельскохозяйственных земель, 33% среднегодового урожая зерновых, 26% железнодорожной сети, 33% парка станков и машиностроительной индустрии и 75% угледобычи». У меня в этой связи только один вопрос — «своего» ли? Ленин говорил, что мирный договор позволил «перевести дух» (за чей счет?) и выиграть время для создания Красной Армии. Сталин был против договора, но аргументы Ленина, что иначе Советская власть подпишет себе смертный приговор и падет в три дня, оказались сильнее. Через 72 года мы видим, что из этого вышло. Не получилось ли так, что отмена смертного приговора одному движению позволила затем вынести этот приговор части человечества? Пришлось вместо развития собственных производительных сил всячески крепить военное могущество и снова идти в поход на Запад, чтобы отвоевать эти свои (?) богатые территории Прибалтики, Украины и др. Сегодня подавление стремлений этих народов к самостоятельности и свободе может затормозить перестройку в России, где она нужна в первую очередь и больше всего. История повторяется дважды: один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Революция тоже повторяется, эта реальность (с теми же причинами, что в октябре 1917-го), и эта реальность далеко не всех радует.

В основе нормального развития лежит правильное использование географического положения и природных ресурсов территории; ошибки в выборе стратегии развития, экологические по содержанию и политические по проявлениям, приводят к революциям, которые носят отнюдь не созидательный, а скорее разрушительный характер. Эволюция человечества — процесс единый, могут быть, конечно, некоторые отклонения во времени и региональные различия, но в целом, если все люди принадлежат к одному виду (а пусть кто-нибудь попытает доказать обратное!), то эволюция вида — это единый процесс. Особенностью нынешней эволюции человеческой культуры и цивилизации является то, что деколонизация вступила в завершающую фазу, затронув и такой ареал распространения человеческого вида, как Советский Союз. Не вожди определяют ход эволюции, а внутренние тенденции развития народа. Народы жаждут свободы и стабильности, неверная экологическая политика даже на такой небольшой территории, как Латвия, может привести к революции. Допускаю, что развитые страны не без оснований усматривают угрозу стабильности в любой революции, в том числе и в Латвии, и всю колонизированную систему рассматривают как ее очаг. Как бы парадоксально это ни звучало, но после XXVII съезда КПСС снова широко анализируются представления о социализме, так как за 72 года на системно-понятийном уровне осмыслить их не удалось. В ходе дискуссии (см. «Фолькштимме» от 20 октября 1989 г.) заново пересматривается идея о двух основных направлениях человеческой истории: 1) азиатский путь развития без частной собственности и 2) уходящий корнями в античность европейский путь развития. В марксистских терминах социализм, вытекающий из азиатского способа производства, идет совершенно иными путями, чем вырастающий из европейских традиций. Проще говоря, 1000 лет централизма дают совсем другие результаты, чем 1000 лет плюрализма. Последний возник на базе частной собственности и достаточно чужд азиатскому способу производства. Вопрос о городе как рынке взамен города как военного и религиозного центра актуален для Советского Союза в его стремлении к плюрализму, а для Риги как европейского города тем более. Это вопросы о возможностях плюрализма в многонациональном государстве без права частной собственности, об индивидуальной свободе вместо утопического равенства. В европейском понимании центром является рынок — и в территориальном плане, и в смысле отношений. Местонахождение рынка определяется географическим положением, Рига в таком случае является центром отношений между Востоком и Западом, как и любой другой порт морского бассейна в иных сделках. Если рыночные отношения не создаются, существующий центр — Москва — является экологически гетеротрофным (его кормят другие) и впредь может действовать только методами диктатора, опираясь на достаточно сильную власть. Запад может бесконечно дискутировать об этих двух корнях культуры (европейском и азиатском), но для Балтии, и в частности Латвии, это не абстракция, а реальность. Здесь, в Латвии, приходится соединять несоединимое, то есть обе эти культуры, не отрицая ни одной из них, поскольку мы находимся на их водоразделе. Принципы рынка и централизма следует реализовывать в территориально замкнутых образованиях — каждый пусть доминирует на своей территории, с тем чтобы индивид имел свободу выбора той или иной модели развития. Значит, сотрудничество и стабильность через

посредство обособления вовне (читай: отделения) и вовнутрь (переустройство внутренней структуры территории в соответствии с ее географическим положением и природными особенностями). На европеизированной территории только конкуренция способна поддерживать стабильность и высокий уровень существования, в свою очередь в основе конкуренции лежит стабильное территориальное поведение.

Несмотря на то, что научно-техническая революция и сложившаяся в ее ходе взаимозависимость носят глобальный характер, по крайней мере по трем пунктам они не всех затрагивают в равной мере. Эти пункты:

- а) взаимно гарантированное уничтожение;
- б) чрезвычайно острая проблема долга развивающихся стран; необходим новый экономический порядок, так как до сих пор расхищение ресурсов было основой вооружения;
- в) достижение критического порога воздействия на природу, варварская эксплуатация ее ресурсов.

Очевидно, что второй и третий пункты самым серьезным образом затрагивают малые и зависимые территории, в том числе Латвию, в то время как по отношению к первому пункту у них вообще нет никаких гарантий, то есть они обречены на роль заложников в случае глобального конфликта или же заключения какого-нибудь договора, подобно Брест-Литовскому.

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

Не вызывает сомнений, что Латвии навязана неподходящая и неправильная модель развития. Сущность ее в том, что в практику насильственно внедряются непродуманные и поверхностные идеи, научно не проработанные теории и системы (коллективизация, централизация, форсированная индустриализация, равенство и др.). Прослышав о тяжелом экологическом положении в Латвии, все горят желанием помочь, но позволить все-таки сделать это нам самим! Мы терпим от недееспособности, скудных возможностей выбора, а не от недостатков материального свойства. Помощь существующей системе там, где она неправильно сконструирована, только продлевает агонию этой системы. Все хотят заниматься всем — и глобально. Выступают на пресс-конференциях для иностранцев и в духе гласности представляются знатоками экологии и экологическими деятелями. Иностранцы надвигаются не могут: это ж сколько у вас народу занимается экологией, а воз ни с места!

Цель наша ясна — экономически и политически независимое государство, средства для достижения этой цели должны быть из разряда признаваемых мировым сообществом, оно должно иметь в виду и разрушительный характер революции (что же созидательного они внесли в общечеловеческую и общекультурную систему ценностей — главным образом насилие, фальшь, кровопролитие, насильственное изгнание и даже уничтожение целых народов). Провозглашая целью всех перемен человека, необходимо иметь в виду, что человек, в отличие от других животных, есть составная часть двух саморегулирующихся систем — биологической, во-первых, и системы культуры, во-вторых. Обе эти системы развиваются по своим внутренним законам соответственно тому, как они воспринимают и перерабатывают специфическую для себя информацию. Для социальной системы важна культурная информация, революция с этим не считается. Индивидуальностями революция манипулирует как массами, человек используется только как материал для достижения утопических целей. Высокомерие, присущее многим идеологам неформальных движений в не меньшей степени, чем революционерам, часто обусловлено поверхностными суждениями и подходами, причем в ход пускается в основном следующий фокус-покус: простые вещи преподносятся настолько усложненно, что у публики создается впечатление, что уж этим людям палец в рот не клади — всё знают и всё понимают.

Я, конечно, не исключаю, что на деле всё гораздо проще — все империи когда-нибудь да распадаются, время свое возьмет. Резонно, что и говорить, если бы не ленинские лозунги о том, что время работает на мир, время работает на коммунизм, — они и сегодня в ходу. И немало людей продолжают верно им служить — мол, давайте еще разок всё как следует обдумаем, примем этот проект за основу и т. д. и т. п. В общем, ничего не решать радикально, ничего не доводить до конца, а выигрывать время.

Первый закон, который заложил бы фундамент для дальнейшей работы, — это закон о собственности. Латвия, не имеющая границ, не более чем декоративная сережка, украшающая большой центр. Дальнейшим экологическим решением было бы возвращение Латвии в Европу, эволюция культуры Латвии (децентрализация, портовые города как центры торговых связей, восстановление самостоятельности малых городов, обеспечение аграрной независимости Латвии). Человек — часть природы, следовательно, биологический вид, и его жизнеспособность характеризуется

численным приростом. Коль скоро аграрно независимая территория не может себя прокормить, какая речь может идти здесь о численном приросте! Человеку много не нужно, вся энергия должна быть израсходована на добывание продовольствия, самозащиту и преодоление сопротивления среды, получение информации и ее передачу дальше. Допустив, что мы себя прокормим, зададимся вопросом, где взять средства для индустриализации. Ответ — их могут обеспечить, благодаря выгодному географическому положению, порты и торговля. Первоначальным капиталом может быть лесное хозяйство. Из Риги надо вывести всю неконкурентоспособную промышленность и другие предприятия, в которых нет необходимости; а те сто миллионов (условно) жителей республики, точнее, рижской агломерации, которые в течение года в ходе маятниковой миграции или на пути с работы домой и из дому на работу проезжают через Ригу, — эти рабочие руки очень пригодятся в аграрном секторе. Когда у нас будет избыток молока и масла, тогда и прикинем, как поменять его на бензин. Если бы руководители Советского Союза поверили самим себе и в то, что независимые республики путем рыночных отношений станут обеспечивать СССР гораздо лучше, чем сейчас, в условиях централизма, отпали бы громадные психологические перегрузки, прежде всего, и можно было бы начать устойчиво работать. А то еще долго нам пребывать во взвешенном состоянии — идеи есть, бензина нету, или же нет молока и хлеба. Дальнейшие вопросы развития независимого государства может решать только сытый народ, чья численность стабильно возрастает. Первое требование реализации инстинкта самосохранения — территориальное размежевание до такой степени, чтобы каждый представлял собой не часть, а целое. Мне непонятно стремление Советского Союза любой ценой удержать под своей властью 0,3% его территории, так поступают люди, лишенные альтернативного мышления, люди, которым отношения частной собственности, свободы и рынка представляются чем-то абсолютно чуждым. Я мог бы оправдать агрессивную инерцию по отношению к иным мыслящим со стороны населения небольших территорий. Ведь это выработанная в ходе культурной эволюции защитная реакция против потенциальных конкурентов — соседей, претендующих на те же самые ресурсы. А когда такая агрессия по инерции исходит от больших территорий, то мне непонятно, где они видят конкуренцию со стороны этих ничтожных 0,3%. Но неизбежно наступит все-таки время, когда агрессивность (она проявляется также и как фанатичная вера в идеалы и столь же тотальное их отрицание) в ходе эволюции сменится ушедшей далеко вперед европейской практикой подвергать идеи сомнению и оценке.

Обреченность, рок, таким образом, существует все же, и он территориально обусловлен. Как будто появляется, как свет в конце туннеля, и свобода выбора, но свобода выбора какого пути — лучшего ли? Сможем ли мы сами обеспечить такое существование этой территории, которое гарантировало бы свободную торговлю через нашу столь притягательную и выгодно расположенную территорию, — или передовеим это другим и так и будем качаться беспрестанно на волнах кризисов и революций? Для мировой стабильности желательнее вариант, при котором Латвия, как и любое государство, гарантировала бы стабильность и гуманность.

Допускаю, что профессиональные политики обнаружат в этой политизации экологии спорные и даже неприемлемые моменты. Что ж, считайте это сочинение свидетельством того, как процитированная в эпиграфе мысль Дени Дидро воплощается в наши дни, вот что получается, когда пироги печет сапожник, а сапоги тачает пирожник. Рассуждать об экологии — это ведь так гуманно, и кто осмелится против этого возражать. Но редко кто начинает догадываться о том, что в годы застоя труды экологического содержания и формы выполняли роль троянского коня, в котором пробуждение проникло в объятую стагнацией крепость. И пора называть вещи своими именами — с экологией как-нибудь справимся, но вот что будет с политикой? Где это видано, чтобы сук пилил дерево, на котором он вырос и соками которого питается? Неужто перестройщики на такое способны все же?! Это ничего, что мы в экологии ни черта не смыслим, говорить о ней очень гуманно, и время выиграно, всё то же работающее в том — не в том направлении время. Хочу призвать специалистов, разочаровавшихся в экологии, воздержаться от искушения потолковать о сердечно-сосудистой хирургии, травматологии, стоматологии и иже с ними, как бы это ни было гуманно. Ничего хорошего от такого гуманизма ждать не приходится.

Сегодня я вижу только один путь развития, пожелал бы его каждому народу, хотя изначально призыв адресован латышам: «Латыш, выше голову — начни с уважения к самому себе!». Поэтому перед тем как поставить точку, я тоже приспосабливаю собственное достоинство и самоуважения и попрошу перечислить гонорар мне.

ВИКТОР ФРАНК ЛЕНИН И РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ*

Примерно восемьдесят последних лет перед революцией 1917 года в русской политической, общественной и этической мысли все больше набирала силу традиция, которую, за неимением лучшего термина, можно назвать радикальной. Эта традиция подчиняла все стороны общественной жизни одной, высшей цели: уничтожению мирными или насильственными средствами самодержавия и связанных с ним зол. Для радикальной традиции типичны также узкоморалистический и утилитарный подход к религии, этике, философии, искусству и литературе, возвеличение «рядового гражданина»; страстная жажда социальной справедливости. Прослойка образованных людей, насаждавших радикальную традицию и воплощавших ее характерные черты, стала с некоторых пор называться интеллигенцией.

Самодержавие в России перестало существовать в феврале 1917 года. А в октябре того же года большевистская партия под руководством Ленина разрушила всю социальную структуру, сложившуюся в царской России. В этом смысле Ленина можно справедливо рассматривать как победоносного наследника трех поколений российских радикалов, а Октябрьскую революцию — как их, радикалов, триумф.

Однако верно и то, что одновременно, сразу после октября 1917 года, интеллигенция в России тоже перестала существовать как единое целое. До революции интеллигенция видела свое призвание — справедливо или ошибочно — в том, чтобы действовать как разум и совесть народа. Под властью большевиков такая позиция стала немислимой. Свободная мысль, суждение, критика прекратили свою естественную циркуляцию, допускавшуюся царским режимом. Теперь все эти категории были монополизированы единственной группой общества — партией. А партии не нужна была еще одна секта единомышленников, не нужен был монашеский орден мирян — такие аналогии на свой счет с гордостью принимала интеллигенция. Партии требовались только подразделения преданных и энергичных приверженцев и прислужников.

Правда, многие тысячи интеллиген-

тов выжили после революции и присоединились к вспомогательному корпусу большевистской партии. Они все еще печально вздыхали по изношенным духовным ценностям и критериям дореволюционных дней — и даже передавали их впоследствии своим детям и ученикам. Но интеллигенция как общественная группа и как особое психологическое явление была после октября 1917 года уничтожена.

С этой точки зрения Ленин предстает палачом той самой интеллигенции, воплощением которой, казалось, должен был быть он сам.

Дуализм ленинских взаимоотношений с воспитавшим его общественным слоем создает трудности для исследователя, занимающегося темой «Ленин и российская интеллигенция». Был ли Ленин высшей точкой интеллектуальной, политической и этической традиции, прослеживаемой от Белинского до Милюкова? Так, во всяком случае, полагают и поклонники и некоторые завистники Ленина. Или, может быть, его духовный облик содержал некие слагаемые, несовместимые с радикальными традициями интеллигенции?

Ленин — интеллигент! Вопрос этот, пусть и законный, несет в себе какую-то фальшивую ноту. Инстинктивно ощущаешь, что само сопоставление этих двух слов отдает дурным вкусом. Почему?

Не будем крепки задним умом. Не станем усматривать всю разницу в том факте, что Ленин поразительно успешно дорвался до победы и власти, а большинство его предшественников были унылыми неудачниками. Логически это было бы очевидно несостоятельно, хотя психологически в таком подходе что-то есть. Ведь отличительным признаком российской интеллигенции были именно постоянные неудачи. Интеллигенция буквально взращивалась на неудачах — подобно Церкви в ранний период. Это была порода наследственных мучеников, упивавшихся жалостью к самим себе. Один из наиболее проницательных историков российской интеллигенции Георгий Федотов указывает, например, что даже в первые годы нынешнего века, отличавшиеся революционным подъемом, наиболее волнующие демонстрации происходили непременно на чьих-либо похоронах. Федотов добавляет, что демонстрации эти были мирными и безоружными, они, как правило, кончались тем, что полиция и казаки избивали беззащит-

ных людей. Единственным политическим выигрышем в подобных демонстрациях была уверенность, что на крови мучеников поднимутся новые бойцы.

Можно пойти даже дальше и сказать, что традиционный образ русского интеллигента был, по самому определению, антитезой успеха. И неудивительно. Вся история интеллигенции — это история безродного изолированного меньшинства, жившего в своем интеллектуальном гетто и окруженного равнодушной или враждебной массой. Это история избранных, владевших необыкновенным тайным знанием, но готовых лишь к преследованиям и мученичеству, за которыми, где-то в невообразимой дали, должен был наступить окончательный апокалиптический триумф. Не случайно, например, большинство традиционных песнопений российской интеллигенции носило погребальный, панихидный характер. То были либо вульгаризованные варианты похоронных маршей Бетховена и Шопена («Вы жертвою пали в борьбе роковой»), либо тюремные песни, меланхоличные по определению, либо, наконец, псевдонародные и неизменно минорные.* А если и были популярные песни в мажоре, то происхождения либо армейского, либо церковного.

Что же касается Ленина, то какие бы конфликты ни тревожили его ум, среди них наверняка не было жалости к себе или мученического удовлетворения от ударов судьбы. Даже в самые, кажется, неудачные и бесплодные годы ссылки, когда все и вся было как будто против него, в сочинениях и высказываниях Ленина отмечаются нетерпение, раздражение, ненависть, иногда отчаяние — но ни следа тоски или упоения горем. Ленинский холерический темперамент был полностью противоположен традиционной пораженческой меланхолии интеллигентов.

1. Интеллигенция — светский монашеский орден

Однако очевидно, что есть более

* Г. П. Федотов, «Трагедия интеллигенции». «Версты», 12, Париж, 1927, перепечатано в его кн. «Новый град», Нью-Йорк, 1952, с. 47.

* «Укажи мне такую обитель» Некрасова стало унылым гимном двух поколений народных, см. также студенческую песню «Быстры как волны дни нашей жизни», «Варшавянку», «Реве тай стогне Днипр широкий» Т. Шевченко и т. д.

* Печ. по книге: Виктор Франк. Избранные статьи. Overseas Publication Interchange.

глубокая причина неудобства, которое мы ощущаем, когда ставим вопрос, был ли Ленин интеллигентом. Чтобы эту причину установить, надо постараться определить понятие «интеллигенция» более точно. Трудности таких попыток достаточно ясны. Ведь если даты существования интеллигенции бесспорны — народилась в середине тридцатых годов XIX в., ликвидирована в 1917 г., — то очертания ее расплывчаты. Действительно, российского интеллигента легче распознать, чем точно определить.

Тем не менее, есть факторы, споров не вызывающие. Один такой фактор — происхождение интеллигенции.² Она сформировалась в первой половине XIX века и возмужала во второй половине, чтобы взять на себя функции носителя культуры и «совести нации», ранее исполнявшиеся землевладельческой аристократией. Петровские реформы предыдущего столетия смогли оплодотворить только остатки старой аристократии и гораздо более многочисленный класс мелких помещиков. Освобождение этих мелкопоместных дворян от обязательной государственной службы в 1762 г. предоставило им достаточно времени для размышлений, для культивирования искусств и для самоанализа. В первой трети XIX века это дворянство полностью созрело — интеллектуально и культурно. Восстание декабристов в 1825 г. было высшей политической точкой его независимого мышления.

Помещичьи особняки — не считая церквей и казарм, единственный тип каменных зданий в стране бревенчатых изб — были тогда рассадниками цивилизации и вообще мысли. Эти оштукатуренные ложно-классические дома, окруженные запущенными парками и позеленевшими прудами, стали для России тем, чем были монастыри в средневековой Европе, дома пресвитерианских священников в Шотландии, ферейны в протестантской Германии, — колыбелями талантов, объектами национальной ностальгии, очагами свободомыслия.

Не успел, однако, этот класс полностью укрепиться, понять свои возможности и осознать ответственность перед обществом, как начался его социально-политический и экономический закат. А отмена в 1861 году крепостного права полностью выбила почву из-под ног у помещиков.

И начала подниматься новая формация. Уже в начале тридцатых годов XIX в. Пушкин провел остаток жизни в безнадежной борьбе против дерзких выскочек, ломившихся в литературные салоны Петербурга и Москвы. Эти новые люди не были праздными дворянами. Они были плебеями, разночинцами — детьми бедных, неот-

санных сельских священников, мелких чиновников, бородатых конноторговцев, лавочников, ремесленников, даже слуг и отпущенных крепостных, составлявших «демографическую подпочву» нации. Рвение этих людей питалось иными источниками, чем раньше. Лучшие из их предшественников-патрициев, — например, декабристы — были движимы своей ответственностью перед обществом; а разночинцы, истые плебеи, говорили о своих правах.

Интеллигенция стала смесью этих двух различных традиций. Эту смесь хорошо отражает и родословная Ленина. Его дед по отцу, калмык Николай, родился крепостным, откупился у помещика и стал мещанином, по профессии портным. Но сын Николай Илья окончил гимназию в Астрахани, затем Казанский университет, стал учителем, затем чиновником по департаменту просвещения. Он дослужился до гражданского чина, эквивалентного генерал-майору в армии, и этот чин автоматически принес ему потомственное дворянство. Его карьера красноречиво свидетельствует о большой социальной подвижности в царской России, обязанной, как многое в стране, реформам Петра Великого. Именно эта гибкость и подвижность общества дала возможность сыну бывшего крепостного — более того, «инородца» — высоко подняться по административной и общественной лестнице и даже передать своим детям потомственное дворянство.

Правда, различие между потомками старинных родов — столбовыми дворянами — и дворянами служилыми продолжало осознаваться и теми и другими. Но это было скорее качественное, нежели количественное различие. Ведь в конце концов подавляющее большинство дворянских родов достигли своего положения службой трону; разница состояла лишь в том, когда было пожаловано дворянство — в восемнадцатом веке или в девятнадцатом.

По материнской линии Ленин происходил из самостоятельно «выбившихся в люди» помещиков. Его дед со стороны матери, доктор Александр Бланк, оставил практику в Петербурге, купил поместье и был зарегистрирован как дворянин-земледелец в Казанской губернии. Таким образом, Ленин сочетал в себе «социальные гены» разночинцев (по отцовской линии) и служилого дворянства (по обеим). Сам он никогда не пытался отрицать своего дворянского происхождения. Напротив, он вспоминал с иронической ностальгией летние месяцы, проведенные в поместье деда по материнской линии, и порой обменивался этими воспоминаниями с другими «помещичьи детьми» в редакции «Искры» — Потресовым, Плехановым и Верой Заулич.

По поводу этих социалистов важно отметить, что они могли позволить себе спокойно говорить о своем дворянском происхождении без риска, что кто-либо усомнится в их принадлежности к революционной интеллигенции. С точки зрения социальной, интеллигенция не была заражена никаким снобизмом — ни обычным, ни извращенным, ибо не представляла собою класса или сословия. Принадлежность к интеллигенции не определялась выполнением тех или иных обязанностей, не определялась профессией человека или его социальным происхождением. Все дело заключалось в Идее — с большой буквы, — которую человек разделял с другими членами группы.

Разумеется, большинство тех, кто причислял себя к интеллигенции, тяготели к свободным профессиям — просвещению, искусствам, правведению, медицине. Но человек мог быть и средней рукой, считаясь в то же время интеллигентом — лишь бы, опять-таки, он был предан «Идее». Некоторые интеллигенты — скажем, учителя или университетские преподаватели — находились на государственной службе; другие — например, адвокаты — были от государства независимы. Они имели солидное состояние; другие еле добывали на пропитание эпизодическими литературными заработками. Было неважно, чем человек занимался, от кого происходил, какое имел образование — постольку поскольку он придерживался «верных» убеждений и оказывал сопротивление «неверным».

Позже, главным образом уже при жизни Ленина, к этой смеси аристократии и разночинства прибавился третий элемент — эмансипированные евреи. Конечно, русское общество и раньше абсорбировало много разных национальных меньшинств, и интеллигенция в особенности могла похвастаться большим числом своих выдающихся деятелей нерусского происхождения — чаще всего немцев, поляков и позднее грузин. Но эти «примеси» были недостаточно сильны, чтобы повлиять на «химический состав» среды, в которой они растворялись. Евреи — иное дело. Те из них, кто утратил религиозность, не имели тяги к другой сильной культуре — в отличие от поляков; а в отличие от балтийских народностей евреи не имели «двойного патриотизма». Номинально российские подданные со времени раздела Польши в конце XVIII века, евреи продолжали вести обособленную жизнь, изолированные от своего ближайшего польского, украинского или балтийского окружения. Потом либеральная политика Александра II дала им возможность въезда в собственно Россию — при строгих цензах, имущественном и образовательном. А так как образованных евреев не принимали как равных

² См. также В. Франк. «Отцы и дети. Традиции русского радикализма» в журн. «Советский сервей» (англ.) № 29, июнь—сентябрь 1959 г., с. 97.

ни в высших слоях общества, ни в народных низах, то единственным духовным убежищем в России оставалась для них радикальная интеллигенция.

Слияние еврейских и радикальных русских традиций проходило удивительно плавно и естественно. Эмансипированные, оторванные от родной среды евреи закономерно восприняли революционное вдохновение своих русских друзей и, в свою очередь, добавили к нему тысячелетний внутренний пыл, унаследованный ими от религиозного прошлого, от ветхозаветных пророков.

Эти три элемента — разорившееся дворянство, разночинцы и эмансипированные евреи — внесли каждый свою лепту в психологический облик российской интеллигенции. Старое дворянство внушило новой образованной элите свой вечный идеал ревностного служения — хотя, конечно, это уже было служение не царю и отечеству, а людям, народу. Разночинцы дали острое сознание вопиющей социальной и экономической несправедливости в русском обществе, горячее стремление это общество излечить. Их разночинное, т. е. пестрое происхождение было также одной из причин отсутствия у интеллигенции классовых, сословных и национальных предрассудков. Интеллигенция стала одной из самых свободных групп в современной ей Европе — свободной в том смысле, в каком свободен монашеский орден: человека принимали как равного вне зависимости от социального происхождения или национальной принадлежности, лишь бы он имел определенный культурный уровень и придерживался догматов веры.

Евреи дополнительно привнесли еще страстную ненависть к государству и традиционно сложившемуся общественному строю. Они ненавидели то и другое как представители угнетенной нации и как революционеры. Кроме того, с евреями пришло к интеллигенции страстное, смутно-религиозное понятие «правого дела».

Ленин, сочетавший в себе первые два элемента интеллигенции, всю свою жизнь был окружен евреями — как друзьями, так и противниками. В этом, как и во многих других отношениях, Ленин был типичным представителем радикальной интеллигенции.

2. «Моральная блевотина»

Весь образ жизни Ленина характерен для российского интеллигента. Полное отсутствие у него инстинкта приобретательства не шло от социалистических убеждений, а было типично для всей интеллигенции в России. Отсюда же — презрение к большинству жизненных удобств и к повседневному комфорту. Когда Ленин и

Крупская обосновались в своей первой наемной квартире в Лондоне, домохозяйка была шокирована двумя обстоятельствами: отсутствием обручального кольца у Крупской и отсутствием занавесей на окнах у супругов. Но любая другая русская супружеская пара из той же среды вела бы себя, вероятно, точно так же и вызвала бы те же подозрения у английской домовладелицы.

И все же, несмотря на его столь полную внешнюю принадлежность к интеллигенции, все сочинения Ленина пронизаны яростной ненавистью к ней, уничтожающим презрением — за бесхребетность и сентиментальность. Выражения вроде «эта интеллигенция», «жулики», «хлюпики» повторяются в публикациях и письмах Ленина вновь и вновь. Еще в 1891—92 гг., в возрасте двадцати одного года, Ленин категорически отказывается сотрудничать с теми представителями образованных классов, которые вызвались помочь властям в борьбе с голодом, охватившим всю Нижнюю Волгу. «Психологически, — сказал тогда Ленин, — все эти разговоры о помощи голодающим есть не что иное, как выражение паточной сентиментальности, столь характерной для нашей интеллигенции». ³ Ту же мысль Ленин высказал в разговоре с Валентиновым — в еще более резком тоне. По его выражению, интеллигенция свойственна «моральная блевотина». ⁴

В таком презрении Ленина к интеллигенции есть два парадоксальных обстоятельства. Прежде всего, его революционная стратегия зависела от того, пойдет ли за ним интеллигенция. По Ленину, сам пролетариат был явно неспособен выработать и развивать в себе революционную сознательность. Эта сознательность должна была прийти к пролетариату извне — от представителей образованного класса. Во-вторых, Ленин, как мы видели, без сомнения сам принадлежал к тому общественному слою, который столь жестоко критиковал и, в общем, только презирал.

Если, однако, присмотреться поближе, то оба эти парадокса теряют свою остроту. Именно — понимание главной роли интеллигенции привело Ленина в раздражение и ярость, когда он замечал, что переменчивые интеллигентские умы впадают в увлечение последними политическими или философскими модами — будь то толстовский пацифизм, анархизм, болезненное «богоискательство» Горького и Богданова либо новый поворот к либерализму. По сути дела, Ленин действовал как ревнивый и требовательный любовник. Объекту его любви не позво-

лялось даже взглянуть на кого-нибудь другого. Кроме того, известно, что ненависть между близкими обычно сильнее всего. Люди редко ненавидят то, что им полностью чуждо. Как правило, сильнее ненавидят тех, в ком усматривают отражение своих собственных недостатков. И не будет слишком смелым предположить, что Ленин ненавидел и презирал интеллигенцию потому, что видел в ней черты, подлежащие, как он думал, искоренению в нем самом, — сентиментальность, склонность к самообману, политическую мягкотелость.

Так рассматривал интеллигенцию Ленин. Позволительно перефразировать его точку зрения несколькими иными образом. В книге «Воспоминания о Ленине» Анжелика Балабанова рассказывает, как впервые узнала о покушении на жизнь Ленина в августе 1918 г. В него стреляла Фанни Каплан — член партии эсеров. Балабанова, в то время выполнявшая партийное поручение в Стокгольме, была глубоко обеспокоена не только физическим состоянием Ленина, но — странное дело — также судьбой террористки. Заграничная печать сообщала, что Каплан казнят, а некоторые журналисты даже писали, что смертный приговор уже приведен в исполнение. Балабанова была потрясена. Разве возможно, чтобы революционное правительство казнило кого-либо, кто действовал с намерением послужить народному делу? Где же уважение к человеческой жизни, за которое революционеры столько боролись и которое провозглашали одним из основных прав при социалистическом режиме?

Вскоре после этого Балабанова возвратилась в Москву и пошла проводить Ленина, выздоравливавшего после ранения. Когда зашла речь о возможной судьбе женщины-террористки, Балабанова обнаружила, что Ленин смущен и даже пристыжен. Он коротко сказал, что решать судьбу стрелявшей — дело ЦК. «Я почувствовала, — писала Балабанова, — что он выражал бы свое мнение свободнее, если бы дело шло не о нем самом. Мысль, что кто-то должен быть наказан за попытку его убить, была болезненно неприятна Ленину». Зато не было никаких сомнений насчет реакции Крупской. Она обняла Балабанову и всхлинула: «Казнить революционерку в революционной стране! Никогда!» ⁵

Здесь перед нами — драматически заостренная ситуация. Анжелика Балабанова олицетворяла лучшие качества русской революционной интеллигенции. Она была абсолютно самоотверженной, преданной бедным и угнетенным, равнодушной к собственному благосостоянию, прямо-таки безбожной святой, если таковая воз-

³ В. Водовозов. «Мое знакомство с Лениным» в журн. «На чужой стороне», № 12, Прага, 1925.

⁴ Н. Валентинов. «Встречи с Лениным». Нью-Йорк, 1953, с. 33.

⁵ Анжелика Балабанова. «Воспоминания о Ленине», Анн-Арбор, Мичиган, 1964, с. 10—11.

можно. Дело «революции» было для нее священо до такой степени, что уважался даже политический противник, покушавшийся на вождя ее партии: ведь убийца «действовала с намерением служить народному делу». Казнь революционера революционным правительством была бы немислимым кощунством. Такой же ужас при мысли о казни ощущала Крупская — преданная жена Ленина и типичная русская интеллигентка.

Подход же самого Ленина был куда менее определенным. Было ощущение, что если бы он был свободен от личных соображений, то требовал бы немедленной казни террористки. Ненавидел ли он себя за эти колебания?

Качество, наиболее ненавидимое Лениным у интеллигенции, — это «моралистический» подход ко всему на свете, склонность рассматривать любые действия как «хорошие» либо «плохие» — пусть даже для большинства интеллигентов эти ярлыки означали «полезно» или «вредно» для дела революции. И Ленин был прав: среди радикальной интеллигенции всегда наблюдалось стремление вводить этическую добавку к революционной страсти. Политическому уму Ленина такой подход представлялся диким.

В воспоминаниях Валентинова, сохранивших один из наиболее ярких литературных портретов Ленина, есть описание Кати Рерих — молодой преданной социал-демократки, приятельницы автора. «Катя, — писал Валентинов, — принадлежала к тем особым русским девушкам, которые пришли в революционное движение как мученики. Один рабочий (в Киеве, где Валентинов и Катя вели пропаганду) говаривал: «Катя — святая... Когда она рассказывает, какая будет жизнь при социализме, ее глаза светятся, и я чувствую себя как в раю». Катя была категорически против любых форм насилия и однажды поссорилась с Валентиновым за то, что он, человек атлетического сложения, избил агента охраны. «Разве социализм не очищает душу человеческую?» — восклицала Катя.⁶

Ленин и Катя Рерих принадлежали, вероятно, к двум разным мирам. Что общего между девушкой, для которой даже избивание презренного агента в целях самозащиты — преступление, и человеком, считающим угрызения совести не более чем «блевотиной»? Однако и тот и другая были членами одной партии, одной общественной группы; оба разделяли одинаковые политические убеждения.

Есть два объяснения этой загадки. Прежде всего, революционный социализм имел две основные движущие силы: с одной стороны, любовь к угнетенным, а с другой — ненависть

к угнетателям, сочетавшуюся с ненавистью ко всему, что стоит на пути борцов против угнетения. Это, несомненно, так. Просто немисливо представить Ленина, повторяющего символ веры Анжелики Балабановой, воспринятый ею у ее итальянского учителя Антонио Лабриола: «Вы учились, вы пришли к выводу, что права большинства ваших сограждан, ныне подавляемые... могут восторжествовать только при радикальном изменении нынешнего общественного строя. Вы поняли, что история избрала рабочих главной силой этого духовного и нравственного перерождения человечества... Идите же к ним, делитесь с ними своими знаниями, распространяйте веру в их историческую миссию... Современное общество разделено на эксплуатируемых и эксплуататоров. Те, кто становится на сторону эксплуатируемых, берут на себя благородную задачу».⁷

Мысли здесь ленинские. Сами рабочие, хотя они и избраны историей положить конец царству несправедливости, не могут выполнить эту задачу; им нужны помощь и руководство профессиональных революционеров. Но вся направленность приведенных строк — полностью антиленинская: в них ведь звучит сострадание, совершенно чуждое Ленину.

Если так, то, может быть, верно следующее предположение. Многие русские революционеры и радикальные интеллигенты, отрицая всякую организованную религию, отрицая всякие мысли о Боге, все же подсознательно действовали из религиозных побуждений — а Ленин пошел гораздо дальше по тому же пути и выкорчевал самые корни тех человеческих традиций, которых придерживались и его предшественники и многие из его соратников. Правомерен ли такой вывод? Что ж, в нем немало истины, но, возможно, это недостаточно глубокий взгляд.

В 1909 году вышел сборник «Вехи». В нем принял участие мой отец философ Семен Людвигович Франк — младший современник Ленина и сам в ранней юности марксист, симпатизировавший социал-демократическому движению. В «Вехах» С. Л. Франк смотрит на традиционную философию интеллигенции с тревогой. Для него главный грех интеллигенции — тот же безрелигиозный морализм, который так беспокоил Ленина. Но Франк и Ленин ополчались на этот морализм с противоположных сторон. Ленин осуждал существование каких бы то ни было моральных норм, ибо, по его мнению, они препятствовали движению по пути к революции; Франк же утверждал, что безрелигиозный морализм интеллигенции есть лишь продолжение ее фундаментального нигилизма и что ведет

он к отказу от всех этических норм. С. Л. Франк писал:

«Отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним... Социалист — не альтруист... Он любит уже не живых людей, а лишь свою идею — именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется принести ей в жертву других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и с другой стороны — виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может... Последних он ненавидит, и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала... Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устроению земного рая становится страстью к разрушению...»

С. Л. Франк продолжал мысль следующим образом:

«... Мы можем определить классического русского интеллигента, как **воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия**... (подчеркнуто автором. — Ред). Он сторонится реальности, бежит от мира, живет вне подлинной исторической бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний и благочестивой веры... Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов объявит миру войну, чтобы насильственно облагодетельствовать его и удовлетворить его земные, материальные нужды».⁸

* * *

При взгляде с таких позиций сложные отношения Ленина с интеллигенцией и противоречия типа «Ленин — Балабанова» во всем радикализме принимают иной характер. Ленин предстает как человек, который довел до конца курс, продолженный его предшественниками — и тем самым пришел к абсурду. Великая любовь, религиозная по происхождению, хотя и внешне безбожная, вдохновлявшая Анжелику Балабанову, Катю Рерих и бесчисленных других «безбожных святых» русской интеллигенции, дегенерировала в Ленине в ненависть и жажду власти ради разрушения. Если принять тезис С. Л. Франка, то ленинская двойная роль в истории русского радикализма уже не выглядит безнадежно противоречивой. Ленин просто довел вероучение интеллигенции до его логического конца. И, уничтожая ненавистный старый порядок, Ленин уничтожил — как часть этого старого порядка — также и русскую интеллигенцию.

Перевод с английского
Л. В. ФИНКЕЛЬШТЕЙНА

⁶ Валентинов. «Встречи с Лениным», с. 28.

⁷ Анжелика Балабанова. «Воспоминания о Ленине», с. 21.

⁸ С. Л. Франк. «Этика нигилизма», в сб. «Вехи», 1909.

ГОРЕ НАШЕ СЕКСУАЛЬНОЕ, ИЛИ ОПЫТ ОДИОЗНОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ



«Теоретик начал и кончил...»

«... И вообще, у нас в стране нет никакого секса...»
Реплика участницы телемоста СССР — США (1987)

«Вы уже всему научили нашу молодежь... Теперь порядочным девушкам житья нет, проститутки им все дороги перекрыли с вашей помощью. Я этот журнал спрятала, а детям сказала, что его не было...»
Из письма в редакцию молодежного журнала (1989)¹

Доступная на сей день нашему массовому сознанию наука о литературе пользуется двумя основными методами: сравнительно-историческим и формально-аналитическим, нередко механически комбинируя их в различных пропорциях. Приверженцы первого метода обычно стремятся включить творчество того или иного писателя или группы писателей либо ряд однотипных текстов в максимально широкий социальный и исторический (даже не обязательно культурный) контекст, подробно отвечая на вопросы: когда, в связи с чем и о чем написаны произведения, но зачастую полностью обходя то, как они «сделаны» — и почему именно так, а не иначе. Другой метод, будучи применен столь же изолированно, дает противоположный результат. Образно выражаясь, либо из-за деревьев не видно леса, либо весь лес разглядывается как бы с вертолета, так что в лучшем случае можно определить, какие породы в нем преобладают.

Есть и производный метод, отсылающий исследователя ассоциативных и мотивных структур в большей мере к личности автора. У нас он по традиции воспринимается с недоверием, подкрепленным «табу» безусловных авторитетов. Так, в вульгарной разновидности этой методики «самым обычным является черпать биографический материал из произведений и, обратно, объяснять биографией данное произведение, причем совершенно достаточными представляются чисто фактические оправдания, то есть попросту совпадение фактов жизни героя и автора, производятся выборки, претендующие иметь какой-то смысл, целое героя и целое автора при этом автором совершенно игнорируются» (М. М. Бахтин)².

Но, коль скоро по нашим понятиям метод мотивного психоанализа, мягко говоря, избыточен в отношении реальных лиц — художника, а в иных трактовках и исторического персонажа, — то что дурного в его применении к вымышленным героям, раз мы не признаем их тождественными автору?..

Это один — суховатый и мрачноватый вариант зачина предлагаемых заметок, а вот исключительно непринужденный, замешанный.

«На рассвете... Степанов перетасил Гангута через лестничную площадку в его квартиру, положил на тахту, вытер даже извержения.

Некоторое время он сидел рядом с бесчувственным телом, пытаясь перевернуть его с живота на спину или хотя бы пролезть рукой под живот. Все было тщетно — глыба русской плоти только сопела и ничего не чувствовала. Олег Степанов, отчаявшись, сел в кресло к письменному столу, полез в свои собственные штаны и взялся. Перед ним стояла фотография — двое голых парней и одна голая девушка на фоне морского прибора. Глядя на эту фотографию и сдержанно рыча, теоретик начал и кончил. Потом аккуратно все вытер и удалился, оставив на письменном столе номер телефона» (В. Аксенов, «Остров Крым»).³

Предупреждаю заранее: заметки выдержаны целиком в духе подобных смешений: тяжеловесный академизм в них на равных соседствует со скабрзным фельетоном, так что строгие редакторы и взыскательные критики могут отложить их не читая. Однако, нравятся это кому или нет, такой подход задан не только темой, а и самим качеством языкового материала: в этой сфере родной словесности между «высоким штилем» (сугубо медицинским) и «низким» — площадным раешником — зияет пустота.

Побудительный мотив к написанию текста об эротике в определенной части русской прозы возник в тот момент, когда автор, листая несущественный в выражениях тамиздат, задумался над характерным приемом Аксенова: теоретика русского духа Олега Степанова и его закордонного собрата с двойной фамилией Игнатъев-Игнатъев при внешнем несходстве параллельно роднят национальные пристрастия и сексуальная извращенность.⁴

Импозантный Степанов совершает странное действие над усталым собутыльником, затем приходит в неодолимое возбуждение от собственного черносотенного спича, произнесенного в элитарной сауне перед старческим срамом державных мужей. Похожий на тощего мерина Игнатъев-дубль, деятель крымской Волчьей Сотни (наследницы охотнорядцев) всю жизнь преследует Лучникова, вообразив себя в мечтах «его женщиной», воспламеняется слюнявым пылом, когда подручные в стороне насилуют Татьяну, а потом садистски убивают Кристину.

Другая, по-своему не менее примечательная коллекция аксеновских образов предстает в романе «Ожог»: действующие и отставные сталинские «опера», полные

звериной витальности праотцев — страсть к нимфеткам и тяга к инцесту... («Глядя вслед уходящей за дневником дочке — ох, попка кругленькая! — полковник думал не без удовольствия, что кровь у него молодая, так и бьет вот сейчас, так и толкает в главную жилу! Не сводя глаз с подходящей уже дочки, — и грудки, и животик, все на месте! — полковник уже растегивал офицерский пояс. Все равно у ленивцы обнаружится промашка — по образу Печорина, что ли, или по дарвинизму окаянному, и тогда будет несколько сладостных моментов: завалка на койку, задиране юбочки, несколько отцовских поучений по розовым выпуклостям. Не нужен нам — раз! берег турецкий — два! И Африка нам — три! Не нужна, не нужна, не нужна!!!»)⁵

Казалось бы, ну что здесь интересного: еще один диссидент без роду-племени злобно оплевал трагедию нашей истории, вволю поглумился над святым народным чувством, облекая его в формы уродливой похабщины... Но как тогда, — возвращаясь от фантастической географии «Острова Крыма» и прихотливых построений «Ожога» к здешним литературным ристалищам между «разрушителями» и «позитивными художниками» (термин кинорежиссера Н. Бурляева), — как оценить, скажем, перипетии интимной жизни героев В. Белова в романе «Всё впереди» (на них мы подробно остановимся ниже)? Или главную житейскую проблему персонажей откровенно скопировавшей его повесть А. Астраханцева «Развилка», у которых «все интересы опускаются ниже пояса, в какое-то первобытное состояние», — только отрицательные дают им выход, а положительный предпочитает роль до самозабвения увлеченного наблюдателя?

И как отнестись к тому, что в новом произведении В. Крупина с архипретенциозным подзаголовком «роман-завещание» один из героев вдруг оставляет Веру, с которой прижил двоих детей, ради чисто духовного сожительства с Идеей Ивановой, «и не женой и не любовницей». Аллегория говорящих имен может осмысливаться по-разному, но что думать о таком своеобразном разделении функций? Вспоминается и цикл лирических миниатюр этого автора с притчей о девушке, которая предпочла остаться в горячей бане, но не появляться голой в глазах сбежавших на пожар односельчан. Те будто бы восхитились ее поступком, и

после чудесного избавления от опасности героиня нашла себе мужа раньше, чем подружки, позабывшие девичий стыд ради спасения жизни.

Бестселлеру «Дети Арбата» критики предъявляли самый пестрый набор претензий, от обоснованных до совершенно абсурдных. Но и в таком многоголосом хоре сумела задать тон абсолютной тенденциозности заявка В. Распутина, который одно время буквально на манер Катона Старшего с его Карфагеном везде и всюду отстаивал честь крестьянок Сибири, якобы огульно оклеветанных А. Рыбаковым (хотя в романе рассуждения о свободных нравах некоего села заняли от силы страницы полторы и проиллюстрированы, да и то очень умозрительно, одним-единственным эпизодом).

Немало любопытного сыщется и во «втором эшелоне» прозы этого направления. Вот рассказ Л. Фролова «Украденная невеста»: молодая женщина приехала из города в село на свадьбу племянницы. По ходу всего действия она не устает сокрушаться, что родная деревня уже во многом не та, изменились привычные с детства нравы и обряды, да и сама свадьба — банальное подтверждение давней и полной близости молодых. Впору удивиться: где же прожила героиня все эти годы, из какого прекрасного далека возвращается к истокам прежнего лада? Жених, чернявый парень нерусского вида (этому моменту в рассказе посвящено чрезвычайное внимание), временами кажется гостем даже симпатичным. Но наутро, собравшись проститься, она застаёт нового родственника не в постели молодой жены, а с ее подружкой. (Вот уж называется — не нашел другого времени и места. Но чего только не дано совершать литературным персонажам ради любезной Идеи Ивановны!). Воспаленно-красной нитью проходит через весь текст мысль поистине катастрофического накала: не та нынче молодежь! Не так живут... А как надо? Наверное, так, как бывало в девичьи годы героини.

«Вера Васильевна вспомнила... одну историю, стоившую ей большой нервной. Она заканчивала тогда школу, готовилась к экзаменам за десятый класс. Как раз входил в моду загар. А уж тут времени для этого вволюшку: бери учебник, беги в луга или в огород и подставляй бока солнышку... Много их, девчонок, было, и мальчишки, конечно, с ними. Разделись, обмотали головы полотенцами... Вера Васильевна и сейчас содрогнулась, вспомнила, как тогда, почувствовав на себе тяжелый взгляд, она подняла голову. Мария Томилова, уперев руки в бока, смотрела на нее и ехидно шурилась.

— Ну-ну... — сказала она и побежала в гору к деревне.

Не прошло и десяти минут, как с криком с горы скатилась Веркина мать. За ней семенила Мария Томилова...

Мария стояла будто прокурор и смотрела, как собирают манатки остальные загоравшие... А Вера до отъезда в институт стыдилась из дому выйти, знакомым парням глаза показать: так Мария Томилова преподавала уроки нравственности...» (выделено мной. Господи, — думаешь, — да что ж такое могли они снять с себя под той горой, какие неприличности подставить солнышку? — М. Г.). Впрочем, «строжайших на Раменье» баб как раз можно и понять, и посочувствовать им. Согласиться со смысловыми акцентами автора отчего-то гораздо трудней. И относится это не к одному Л. Фролову...

Облик врага

Я боюсь, что настоящей литературы у нас не будет, пока не перестанут смотреть на демос российский, как на ребенка, невинность которого надо оберегать.

Е. Замятин. Я боюсь

Уроки нравственности, преподаваемые Беловым, Распутиным, Крупиним и другими писателями их круга, имеют одну отличительную черту: они в последние годы стали демонстрировать постоянную, неодолимую нужду в «объединении через размежевание», в каком-нибудь зачатом недруге, без которого их патриотизм, кажется, и не способен «знать себя» в полном.

Самые пронизательные в этом кругу все чаще — и все глубже по сравнению с манифестами двадцатилетней давности — обращаются к идее такого недруга в образе чуждого, как уверяют, русскому духу нищешанствующего революционизма, увлеченного лямкой «до основания» ради сиюминутного успеха. То есть, если договаривать до конца, они настойчиво (хоть и крайне непоследовательно, по методу «шаг вперед, два назад») ищут бреши между человеческими умом, честью и совестью и... «умом, честью и совестью нашей эпохи»; в конечном счете, задумываются над реальной ценностью всего того, что принято называть историческими завоеваниями Октября. Так нарождается парадокс первый: в одном абзаце их «охранительных» текстов на поверку больше подсознательного революционизма, чем в целой годовой подшивке «Огонька» или «Московских новостей». И все же мысли этих людей не суждено освободиться полностью, преодолев назначенный ими самими рубеж в поисках истины. Почему так — надеюсь показать в дальнейшем.

Пока же в их умах господствует позыв к соборности, перетолкованной самым дурным из всех мыслимых способов: в пользу незыблемой иерархии авторитетов, слепого почтения к освященным государством преданиям; в культ **духосоуподобности**, свихнувшейся в попытках объять необъятное⁹. Именно так, как лет восемь назад написал Ст. Куняев: «Не будет воли. Будет жизнь / в кольце чужих племен, / и потому вождей держись / и не порочь имен».¹⁰

Но уже назван по имени враг номер один. Сегодня соавтор «письма одиннадцати» С. Викулов обличает с трибуны пленума правления СП РСФСР не размывание неких идеологических рубежей или абстрактную неприязнь к «мужиковствующим», а «руссофобию, выражающуюся в сосредоточении огня на русском народе как главной опоре многонационального государства», — и с гордостью за свое окончательно созревшее детище констатирует: «Первенство в обсуждении всех этих проблем уже давно занял главный российский журнал «Наш современник».¹¹ Редактору¹² плубокомысленно вторит его «заединщик», член редколлегии Аполлон Кузьмин: «... наконец, пора сказать прямо, что руссофобия — это не просто антисоветизм. Это одна из наиболее агрессивных форм фашизма».¹³ А уж публикатором поменьше, вроде читательский рапорт ох этим начальникам на того или другого из печатающих сограждан, кто якобы мечтает о «судьбе североамериканских индейцев» для русского народа, просто не честь.

Что ж, фобии по природе своей иррациональны и не требуют резонанса. Но вряд ли что останется от идеи тотальной ненависти, если всерьез разбираться, кого именно и за что не любят и опасаются «наиболее агрессивные фашисты» всех стран и народов. Есть, впрочем, парадоксальная разновидность фобии, упоминаемая еще Гоголем: мучительное желание «плюнуть на Россию», которое периодически испытывает тот или иной русский человек при чтении сочащихся квасным солодом духосоуподобных трактатов... разумнее было бы говорить о не переваренном по сей день моральном наследии империи, в которой русские монополично представляли державную идею. Однако дух, точнее, антидух «первичного размежевания» неистребим по причине своего универсального удобства.

В романе Е. Туинова «Человек бегущий» «дикий необузданный» патриот Цуканов, что «будто родился... справедливым и правым», схватывается в дискуссии с вальжанным писателем. Тот имел неосторожность заметить:

«— Ваша ненависть, сдается мне, просто ненависть и всё... Вы не храмы, не памятники свои любите, вы их любите, потому что так называемых разрушителей ненавидите... этакого, как раньше говорили, врага народа... А надо-то ненавидеть любя...»

— Ну да, ну да... — как будто согласился даже Цуканов. — Однако, милейший, это ведь от любви до ненависти только шаг. В обратном направлении, то есть от ненависти до любви, если не пропасть лежит, то уж, пожалуй, путь будет подлиннее. Да и не ходили еще, кажется, до вас в обратном-то направлении... вы первый! Ненавижу, потому, значит, и люблю?»¹⁴

Парадокс второй: как ни старались охранители «корневых начал», уйти от взвешенного в плоть революционизма им не удастся. Неважно, что набор ключевых слов подволен примерно на треть; молодой Е. Туинов прилежно усвоил уроки классиков Идеи Ивановны (особенно подвизавшихся в жанре «политического» романа). Не напомним ли программу соборного братства и всеотзывчивой любви на шаг от ненависти не одному вконец «забитому» оппоненту давно знакомое: вот победим всех врагов народа, а после наступит настоящая светлая жизнь для всего (милолюбиво оставленного в живых) народа? А иные русские писатели, увлекшись очередной чрезвычайной миссией, вновь забывают о самом важном: отчего-то несравненно более интересными и талантливыми они оказываются тогда, когда с любовью пишут о родном, а не о чужом — с отвращением и злобой. Может, в этом одна из тайн национального характера?¹⁵

... «Необузданность и дикость» — юношеский максимализм в стремлении переделать «несправедливый» мир; подозрительность, тревожность и ранимость, тягостные сомнения в своих возможностях, а в результате порыв к непомерной самоощущению, к агрессивному самоутверждению в общности (будь как все и «за всех»); навязчивые размышления о чистоте и грехопадении, связанные с инициацией, метания между аскетическими проповедями и разнузданным фантазированием; маниакальная ревность к кому-то, постоянно захватывающему то, что должно «по праву» принадлежать мне... Верный портрет Андриуши — Арлекино из фильма о молодежи и одновременно — творчества целой плеяды литераторов.

Да ведь самое большее, на что этот Андриуса способен, — расквашить носы двум-трем «деловым», парочку зубов вышибить, на худой конец сломать ребро или руку. И то, когда неизбежно объявились парни покрупнее и «сломали» его самого, тренированные бiceps тут же безвольно обмякают: здесь требовалось иное, а ему как раз не достало сил сопротивляться.

У патристической словесности великого народа размах притязаний иной: «Вы нам СОВИ на голову? Вы нас лазером на сто частей?.. А не хотите где-нибудь на Чукотке, на разломе коры — ядерный заряд в миллиард мегатонн? И себя взорвем, и ваш континент! Всю цивилизацию, и свою, и вашу (будто речь о соперничестве дворовых команд, каких-нибудь «центровых» и «вагонки»! — М. Г.), в пар, в белый дым, в огонь небесный! Ни нас, ни вас не останется. Не хотите?» (А. Проханов, «Шестьсот лет после битвы») ¹⁶.

Конечно, выкрикивает эти захлебывающиеся угрозы не сам автор, а один из персонажей, и никому не придет в голову отождествлять их напрямую. Только фигура эта, «киной раз» безоглядно убежденная в своем дворовом праве, явно дорожит писателем и духовно ближе, чем ее романтический антипод, этакий скользкий сибарит-критикан, не столь кровожадный, но с намеками на «фобию».

С. Чупринин, процитировав соответствующее место романа, обозначил это умонастроение как «что-то столь уж болезненно-бесовское, что впору глаза отводить» ¹⁷. Замечено, по моему мнению, чересчур деликатно; на долю художественного воображения достался здесь минимальный труд. «... Если поставить передо мной дилемму: Армагеддон либо капитуляция Родины — да погибнет мир!.. Принцип русский (!) со времен битвы на Куликовом поле — лучше смерть, чем капитуляция, даже если это смерть всей Земли. Вот такой я, обыкновенный сторонник мира», — вполне буднично пишет В. Иванов из Одессы («Век XX и мир» № 8, 1988, с. 4). Тут не отворачиваться впору, а ласть на колени с воплем: смилуйся, Боже, спаси мир от таких «сторонников», счет которым в нашей цивилизации идет уж, верно, не на тысячи, а на миллионы! А нам всё твердят: агрессивная, мол, русофобия...

Парадокс третий: откуда эта ярость и этот страх, если даже беззастытная маленькая Дания, как следует из интервью ее премьер-министра («Огонек» № 6, 1989), ничуть не опасается раствориться в потоке чужих влияний? Для чего тогда наследникам тысячелетней культуры державной нации стремиться, вопреки реальностям нынешнего мира, вспять — к психологии истоков «в кольце чужих племен» — и вкладывать талант, порой немалый, в воссоздание коллективного портрета «застенчивого прыщавого дровича», — выражаясь хулиганским языком В. Аксенова? Ведь никакой нуждой спасать Отечество эту потребность не объяснить до конца.

А дело, видно, в том, что мера «взрослости» общества в целом есть личностная (не равная «персональной») ответственность индивида, его возможность принимать решения, не вынужденные «в кольце» враждебных обстоятельств. Авторитарная, особенно тоталитарная структура, основанная на дефиците всех жизненных благ, принудительно равенстве нищеты и отсутствия выбора, — неважно, как долго длится ее история, — какие пережиты духовные взлеты и сколь велик «простор,

где оборону ставить» ¹⁸ — не только требует от каждого своего члена, но и подсознательно вызывает у каждого детские стереотипы поведения.

Вряд ли детское сознание до глубины ужаснется возможности взрыва в миллиард мегатонн. Гораздо реальнее и ближе для него страх «загрязнений», влекущих за собой либо отцовские розги, либо презрение дворового братства — осиротевшей орды — к нарушителю табу; борются в нем всегда лишь эти два авторитета.

Все лишнее абсолюта необходимости, любые «причуды» отсекаются от человеческого зрса средневековым методом «бритвы Оккама», оставляя голую функцию наподобие лягушечья совоккуплений. Любая тоталитарная (неустойчивая по определению) структура стремится первым делом сковать сексуальные побуждения молодежи, чтобы весь заряд юношеской энергии направить в русло «нетривиальной духовности», питающей агрессивное «оборонное сознание». Зрелые общества и культуры, напротив, предоставляют этой энергии максимально широкий выход, желая еще больше стабилизировать свою основу.

... Корреспонденту из Вашингтона Дэвиду Ремнику, посетившему в Петропавловске незабываемую Н. А. Андрееву (см. перепечатку в «Огоньке» № 33, 1989), принадлежит одно феноменальное наблюдение, которое, по моему убеждению, мог сделать гвоздем репортажа только не советский или, во всяком случае, нерусский журналист. Пока разговор шел о социальных и исторических материях, собеседница выражалась либо «бессвязно и сумбурно», либо стерто-ритуально, демонстрируя всем своим видом самое большее **холодную** ярость к врагам. Но две темы преобразовали ее, как лакмусовую бумажку, пробуждая подлинную страсть и безудержный гнев; бесцветная речь преподавательницы химии обретала в эти минуты то громовые интонации ветхозаветных пророков, то звенящий пафос романтической поэзии. Евреи-сионисты и...

И Нина Андреева, и литературные «заединчики» при всем несходстве личных позиций, — будь они представителями истеблишмента или фрондирующими неформалами, апологетами «Краткого курса» или уваровской триады, простодушными рыцарями пещерного невежества или лукавыми гвардейцами эрудированного цинизма (по классификации кинокритика А. Тимофеевского), — все солидарны в одном: в стремлении выдать за особый путь народа (что бы в конечном счете ни понималось под особостью и под народностью) дух тоталитарной несвободы в любых его приложениях. Именно это сплотило на переломе истории столь разных людей; разногласия отодвинуты на второй план ради борьбы с общим врагом — демократическим сознанием «отдельного человека» в гражданском обществе.

Эксплуатируя старую, как мир, пропагандистскую уловку, они перекладывают тоталитарные грехи на «космополитических либералов», противопоставивших себя некоему исконному «народному мировоззрению». Правда, еще ни один теоретик нетривиальной судьбы, начинавший подобные рассуждения, не сподобился кончить их выяснением вопроса: отчего всюду там, где идеи такой «элиты» имели мало-мальский успех, сам народ чувствует себя не в пример лучше? Но надо ожидать, с неизбежным превращением дистанции меж-

ду нашим и «ихним» благополучием в непреодолимую — в обозримое время — пропасть, найдется и для этого какое-нибудь вполне нетривиальное объяснение...

В жизни каждой нации наступает предел, дальше которого затраты на поддержание своей «самости» привычными методами конфронтации теряют смысл. Так и наш вымечтанный особый путь, от его вековой давности вершин социальной теории до музыкальных и хореографических абсолютов, сегодня оказался иллюзией. Либо будет воля к **полной** демократизации по «исконно чуждым» образцам как единственный шанс хоть когда-нибудь поправить положение — либо окончательное замораживание страны в исторической роли этой «Верхней Волты» на пол-Евразии, нашпигованной ядерными боеголовками. Для второго выбора человеконенавистнический бред ура-патриотов — вероятно, наиболее реально будущее.

Прорыв в сугубое искусство

... За четыре стены от меня Парасюхин сидит на своей роскошной постели со шлюхой, которую он привел с «пешки». Я не слышу его слов, однако знаю откуда-то, что рассказывает он ей о преимуществах настоящего арийского и в особенности — славяноарийского полового аппарата в сравнении с таковым же любого унтерменша, будь то косоглазый азиат или (в особенности) какой-нибудь пархатый семит. Шлюха, немолодая, утомленная, курит длинную шведскую сигарету и слушает его вполуха. О половых аппаратах она знает все.

А. и Б. Стругацкие. Отягощенные злом, или Сорок лет спустя ²⁰

Его можно увидеть воочию на территории любой нашей воинской части. На каждом шагу «ненаглядная агитация» демонстрирует трафаретный образ воина-суперсамца с застывшими зрачками, каменными скулами и, опять-таки, непременно с парочкой ракет (палубных надстроек, реактивных истребителей-перехватчиков и т. п., в зависимости от рода войск), мощной вертикально устремленных в небо из-за разворота плеч, так что от частоты фаллических конструкций на плакатах начинает рябить в глазах... Популярная песенка про истоки национальной гордости технолога Петухова при всей напористости угодила на онтологическую левую точку: **зато** мы делаем ракеты!

Газета «Московский литератор» опубликовала (16 декабря 1988) любопытный документ — программное обращение созданного в столице «Товарищества русских художников». В разделе «Армия и народ» говорится: «Программа ставит и решает задачи военно-патриотического воспитания молодежи — прививает уважительное отношение к традициям народного и воинского братства... Основная цель — воспитание народа в духе уважения к русской истории и традициям воинского долга (тем самым не сползает ли исподволь идея народного братства к общевоинскому уставу; история России — к ее далеко не однозначным военным традициям? — М. Г.). Программа обеспечивает также участие во всех пропагандистских и **воспитательных акциях** (!!! — выделено мной. — М. Г.), проводимых Главпуrom СА и ВМФ»...

Примечательно то, что самый вдохновенный из трубадуров межконтинентальной баллистической Прекрасной Дамы,

воспевший ее упоительные формы с сравненно большей фантазией и страстью, чем дам из плоти и крови, — Александр Проханов, — до последнего времени оставаясь, несмотря на весь свой пыл, как бы на обочине этих комбинаций. (Среди его книжных публикаций, которых с начала 70-х годов наберется вместе с переизданиями не меньше двух десятков, лишь одна принадлежит Воениздату.) Видно, мелодии «соловья Генштаба» казались возлюбленной розе чересчур «интеллектуальными» и стилистически замысловатыми на фоне традиционного потока воениздатских книг и армейской периодики. Сегодня журналистское чутье подталкивает призванного технократа в стан «экологов духа». Возможно, этот альянс окажется более плодотворным и частные расхождения будут позабыты на почве торжествующего элитизма в духе «Обращения». Пока же Проханов объявляет вершинным образцом новой литературы полную манихейской мистики прозу В. Личутина, а в сказочно-фантастическом эпизоде его уже упоминавшегося романа на среднерусскую равнину времен Дмитрия Донского опускается из темной бездны космический корабль в форме семисвечника, разящий Христово воинство лазерными импульсами...

Но поколение сорокалетних мальчишек все уверенней подхватывает знамя борьбы с буржуазной «сатанинщиной» и «западщиной» из рук утомленных отцов и зарплатовавшихся с прежней и новой амбивалентностью старших братьев.

Писатель из Орджоникидзе Ю. Сергеев пока публиковал в «Нашем современном» лишь первую книгу историко-приключенческого эпоса «Становой хребет». Но если и выйдет из этого «русский роман-река» (или, по-заграничному, русан, как почему-то особенно полюбили выражаться в последнее время иные патриоты), то, надо сказать, река весьма порожистая, скорее с «кавказской тесьмой», по высокохудожественной метафоре из поэмы А. Софронова. В перспективе молодой автор, горный поклонник «Влесовой книги», обещает всеми доступными ему художественными средствами доказать существование дохристианской русской письменности. В свое время я мучительно пытался понять, что же должен представлять собою, по Ю. Сергееву, этот алфавит, — если герой романа, не окончивший даже «станичную гимназию», ухитрился сразу разобраться в нем без подсказки? И пришлось сделать вывод, что после такой заявки мало-мальски достоверный ход у автора остается один: «художественно» объявить Кирилла и Мефодия авантюристами, которые сперва выдумали чуждую гордым россам каббалу глаголицы, а затем присвоили на века чужой труд... Это, впрочем, к слову, — и вовсе не исключено, что Ю. Сергеев не только не подозревает о наличии двух вариантов старославянской азбуки, но попросту не намерен и впредь размениваться на такие — презренные на взгляд отечестволюбивых мужей — мелочи, как логика.

Однако попробуем и здесь выделить из нагромождения героико-патриотических художеств любовную линию.

Геолог-золотоискатель и «солдат без погон», контрразведчик на общественных, что называется, началах Егор Быков — типичный победитель, особенно блистательный после всех литературных встреч с его приунывшими собратьями по духу. Чего стоит хотя бы эпопея в японской разведшколе, когда он не только пере-

хитрил врагов, овладев их секретом боевого искусства и тайным архивом, но и увлек за собой красавицу-гейшу Марико, приставленную к нему коварным самураем. Правда, успехи героя в карата, как и все его любовные похождения, начисто лишены не то что поэтического целомудрия, но намека на духовность, похоже, совсем не типичны для данной системы ценностей. Вот после гибели Марико (на самом деле она просто заблудилась в лесу и обязательно отыщется в следующем томе, но их судьбы уже не соединятся, потому что... впрочем, не смею долее нарушать тайны творчества) Быков удостоил вниманием белокурую женосоветчицу и без долгих предисловий «положил тяжелую руку на ее плечо... — Погоди. Мне хорошо с тобой, — и прижался губами к ее сжатым губам.

Тоня сильным рывком хотела освободиться, но почувствовала свою беспомощность и затихла. Закрывает глаза...

Встревоженно перемигивались мерклые звезды. Тоня отрешенно глядела на них. Переполнена до краев ее душа утешением и покоем. Она и не подозревала в себе таившейся до этой ночи буйной страстности, вдруг смявшей ее страхи. Едва внятно прошептала:

— Что же мне теперь делать, дурак ты эдакий, а, как я теперь людям в глаза гляну... не шалава ли?

— Тоня, я ить не со злым умыслом. Давай поженимся. Кроме тебя мне никто не нужен»²¹.

Даже новоиспеченный шафер, выдавший виды старатель Парфенов, «увидев в ее волосах отжившую хвоинку стланика, покачал головой: «Ай да казак, ну чисто я в молодости... все галопом»²².

Да, не так здесь все нелепо и случайно, как может показаться беглому взгляду: блиц-роман на таежном пленере явно и направляется в один стилистический ряд с похожей сценой в «Канунах» В. Белова (конечно, с «переменной знаков» героя — и в меру объективных возможностей автора), и в чем-то переключается с давним сюжетом одного из истинных родоначальников всей «народно-патриотической перестройки», незаслуженно полузабытого Валентина Иванова: «Ветка, привитая к щедруму соком стволу, — так бывший ромей Малх прижился на Руси... Уже в своем доме ждал он ребенка от молодой жены, с которой жил он разумно (выделено мной. — М. Г.), забыв лукавые утехи Теплых морей» («Русь изначальная»).²³ У Быкова жизненные соки не только по-окамовски разумны, но и щедры решительно во всем — жена разродилась сразу двойней под высокосимволическим аккомпанементом: «За стеной избы сатанел петух на возбудителей спокойствия в своих не в меру огромных владениях». ²⁴ Извините, так в журнале напечатано!

Бывают, однако, случаи, когда и приемы карата бессильны помочь. Страшней дальневосточных узкоглазых демонов, которых все же можно одолевать их оружием, оказались бесы родом с другого конца Азии. «Попала шлея под хвост Тоне, как норвистийской кобыле... видать, возомнила себя исключительной особой»,²⁵ забросила она хозяйство, детишек и изменяет мужу с неким Витольдом Львовичем из столицы (ясно же, чем увлек гордую красавицу прохвост «с кучерявыми и побитыми седinou волосами, с безразлично отвисшей нижней губой и тяжелыми глазами с поволокой»²⁶ — пакостными штучками современных ромеев после простых, как мычанье, и вряд ли более содержательных

богатырских объятий на ложе из хвойного мусора). Но постельная диверсия лишь тактическое средство: негодяй покушается на самое святое — таблички с тайнами столетней истории языческой Руси, которые автор романа своею просвещенной волей депонировал в раскольничьем ските, заодно безобразно перепутав православный мир с «никонианами». Да, наш герой не сдастся так запросто сатанинским силам.

«Витольд Львович напоролся на установленный кем-то самострел. Только Егор заметил, что огромный лук... насторожен совсем недавно. Он подозрительно посмотрел на безучастные лица проводников и покачал головой. Они же убедительно твердили, что тетива самострела... натянута еще раскольником... Труп оказался нетронутым, даже медведь, видимо, побрезговал им»²⁷.

Двухаршинная стрела, сразившая Витольда Львовича, — не что иное, как древнейший прообраз баллистической ракеты. И мораль ясна: в борьбе за «кистину духа нашева», а также за нравственность наших не в меру эмасципировавшихся жен любые средства хороши. Пусть сегодня такую в Москву на слет активистов — а завтра подавай ей разврат? да кому нужны эти львовичи-разложеньцы, которых и медведь-то не ест!

Месть подсознания

Говорим со Шкловским о «Зоо». Вспоминаю его фразу о человеке, которого обидела женщина, который вкладывает обиду в книгу. И книга мстит.

Шкловский: А как это тяжело, когда женщина обижает.

Я: Все равно каждого человека кто-нибудь обижает. Одних обидела женщина, других бог обидел. К сожалению, последние тоже вкладывают свою обиду в книги.

Л. Я. Гинзбург. Выбор темы²⁸

Кажется, вся путаница фрейдистских комплексов и суженных, подобно фимозу, пристрастий «патриотической» словесности в их взаимосвязи разрешилась для автора заметок совершенно неожиданно — в простеньком анекдоте, рассказанном сценаристом Н. Рязанцевой на страницах «Искусства кино»: «Почему у вас в Советском Союзе нет феминизма?» Отвечаю: «А вы знаете, почему в Англии нет антисемитизма? Потому что англичане никогда не думали, что евреи умнее их»²⁹.

Все же образ чужака-инородца, «человека» (как известно, одна из внешних персонификаций фрейдовского id³⁰) — сексуального агрессора, маньяка-«загрязнителя» и опасного своей настойчивостью соперника не воплощен в нашей литературе, даже у певцов животного витализма, так полно, как, например, в лубке голливудского вестерна. Причина, думается, не в здешной «божественной вертикали» и тамашней «бездуховщине», которые и вообще-то далеко не так однозначны и безусловны, как хотелось бы поварам национальной окрошки из монастырских нравов пополам с «исконными» гармоникой и самоваром. Напротив, в первые десятилетия триумфа школы Фрейда ее семена были щедро разбросаны в открытом мире искусства России.

«Таинственной славянской душе», основанному на интуиции «правополушарному» интеллекту³¹ не могло не импортировать обращение к подсознательному; но, вероятно, должен был и отталкивать сухой рационализм теории, в которой все загадки психики имеют логическое объяс-

нение. Можно лишь гадать, как принялся бы психоанализ на этом своеобразном субстрате и какие мог принести плоды: посевы вмял в почву паровой каток «самого передового художественного метода», и они опустились на дно, в неясность истоков. У допущенного же к столу творчества было, как недавно выразился кто-то из критиков, **ампутировано подсознание**: в нем надолго воцарилось набившее оскомину своей ханжеской непогрешимостью Super-ego.

И вершины и пропасти секса, и комплексы этнического происхождения были попросту вынесены за неширокие идеологические скобки разрешенной действительности. Ситуация сложилась парадоксальная, возвращавшая общество к нравам ордена иезуитов: за расписными ширмами «новой, высшей морали» не только процветал тупой и скучный, чисто по-пуригански, разврат, но и творились шовинистские акции именем классового интернационализма.

В конечном счете комплексы обратились на те самые два фронта, что всюю громыхают в «русане» Ю. Сергеева: против «периферийных» — как бы государственно выморочных инородцев, поставляемых диаспорой в России сразу двумя окраинами азиатского континента, историческим Средиземноморьем и берегами Тихого океана.

Оба «противостояния» складывались порезанному. О природе первого исчерпывающе высказался — на столетие вперед — В. С. Соловьев: «... славянофильская идея никем не представляется и не развивается, если только не считать ее развитием тех взглядов и тенденций, которые мы находим в нынешней «патриотической» печати. При всем различии своих тенденций от крепостнической до народнической и от скрежещущего мракобесия до бесшабашного зубоскальства органы этой печати держатся одного общего начала — стихийного и безыдейного национализма, который они принимают или выдают за истинный русский патриотизм; все они сходятся также и в наиболее ярком применении этого псевдонационального начала — в антисемитизме» («Национальный вопрос в России»).³²

Мифы охотничьего язычества об алчных «загрязнителях» вызвали в добропорядочном сознании весьма своеобразное противодействие — прямою «антимифологию», которую порой подерживали на словах сами евреи. Так, И. Бабель упоминал в числе достоинств своего героя Бени Крика уникальную (очевидно, отличавшую его от большинства соплеменников) способность удовлетворять русских женщин...

Другая линия имеет не в пример более почтенную, можно сказать классическую историю и не подвергалась принудительным «ампутациям». Припомним хотя бы одну известную параллель из последних лет свободного развития российской литературы.

В романе К. Паустовского «Блистающая облака» появляется китаец с «немигающими дряхлыми глазами» и «узкой страшной спиной», о котором мы узнаём, что он измучил похотливыми пристрастиями свою беременную сожительницу — русскую; этот персонаж также преследует одну из героинь и убивает ее. Нелепая гибель разрушила возможность хэппи-энда — встречи Вали с ее верным рыцарем, подчеркнута некрасивым и беспомощным, но благородным Бергом, которого она когда-то оттолкнула от себя за недостаток

внешней мужественности: «да потому, что вы — цыпленок, еврей!». (Здесь интеллигентный взгляд привычно перелагает мифологему на язык не менее расхожего антимифа.)

В пьесе М. Булгакова «Зойкина квартира» люмпен-китаец, такой же зловетый и комичный одновременно, домогается русской субретки, потом убивает нэпмана Бориса Семеновича Гуся и бежит в «теплый Санхай», прихватив вместе с червонцами перепуганную девушку. Он единственный, кто вышел из разрома модного притона с таким прибытком, — а для жертвы оказалась роковой минута слабости после любовного краха. Последняя линия, впрочем, не так сползает в опереточный антимиф, как восходит под пером гения к высокому трагизму архетипа.

Десятилетия спустя сразу в нескольких произведениях А. Кима, тоже ни в чем как будто не соизмеримых с мутным потоком «народно-патриотической» прозы, встречаются образы корейцев, которые до глубокой старости сохранили мощь либидо, но вынуждены удовлетворяться противостественными способами: один регулярно насилует парализованную старуху, свою русскую жену, двое других развращают юную воспитанницу... (Затрудняюсь судить, насколько «живые» определена идея в данном случае: Ким — писатель русский, но приходилось слышать компетентное мнение, что «мыслит он, как настоящий кореец»).

Любопытно, однако, что эти предания получили неожиданную поддержку в литературном лагере новых либертинов и «стихийных» интернационалистов. Героиня киноповести В. Кунина «Интердевочка», опытная валютная проститутка, находит единственного достойного партнера по сексу в японском бизнесмене, заставившем ее непритворностонать от наслаждения, тогда как ее шведский супруг при всех своих плюсах банален в постели, а ностальгическая любовь к шоферу-ленинградцу до того романтична и невинна, что скатывается прямиком к приторной мелодраме. Как видим, и здесь ролевые актеры Востока, Запада и России размещены весьма характерно — и многозначительно...

То, что происходит сегодня в нашем искусстве, есть по сути мощнейший выброс подсознания, слишком долго сублимированного самыми варварскими — **нетворческими** методами; запоздалый и оттого еще более разнуданный реванш id. Это касается не только показа «темных» областей психики, но во многом и самой концепции творчества: именно такими вышли на свет из застойного андерграунда молодые поэзия и живопись с их структурами, во многом пародирующими мир по Фрейдю — внеразумный «базис» и строго упорядоченная, даже онаученная «надстройка». Вполне понятно, что с другой стороны баррикад, размежевавших и сорокалетнюю молодежь, и пожилых мэтров, этим поискам стремятся противопоставить столь же крайние выплески Superego — бесконечные вариации на тему «босоногого детства», рифмованные этактистские лозунги и максимы доморощенной философии во вкусе Козьмы Пруtkова.

Политически сплоченную артель «заединщиков» четко разделяют роль и принципы осмысления эроса в конкретном художественном мире, и это деление, парадоксально, но вряд ли случайно совпавшее с некоторыми частными идейными и вкусовыми расхождениями, воспроизво-

дит в конечном счете те же группы аксеновских персонажей — «виталистов» и «ретардантов». В числе первых, помимо пресловутого Егора Быкова, — многие сюжеты М. Алексеева и его молодого однофамильца С. Алексеева, П. Проскурина и Ан. Иванова. Последний, заметим для полноты, — единственный представитель «русана», запечатлевший в живописных подробностях сцену инцеста («Вечный зов»). Во второй группе — большинство новейших замыслов В. Белова, В. Крупина и эпигонов, а также «мир отраженный» всей критической obsługi «Нашего современника»; в этом направлении заметно продвинулись Ю. Бондарев и В. Распутин.

... Два филолога, написавшие эссе о национальном вопросе,³⁴ вряд ли даже думали о «корреляции Аксенова», однако вот какие уровни национального самосознания вывели они в своей работе.

Этническая индифферентность — когда «не делают выводов» из национальности (своей и близкого окружения), принимая ее как данность. Такой тип сознания, свойственный части интеллигентов старой формации и поколениям, воспитанным в духе первой модели пролетарского интернационализма, ныне изжил себя практически повсеместно. Затем — этническая озабоченность, легко переходящая в этническое отчаяние; эта угрюмая парочка, похоже, начинает господствовать на всем пространстве от Амура до Немана. И наконец, высший тип, соединяющий в себе признаки всех предыдущих и одновременно диалектически отрицающий их, — космополитическое сознание. Его главная черта — смена массово-ориентированных этнических ценностей индивидуально-личными.

И этот ход мысли, в сущности, опять-таки поразительно напоминает онтогенетическую линию человеческой сексуальности: эволюцию от безмятежного детства к тревожному отрочеству и к юности, чье безумство «родового» отчаяния рано или поздно разрешается в гармонии полнокровных межличностных отношений. Или же — не разрешается вовсе, вырождаясь в безнадежный аутизм взрослых мужчин — «мечтателей» и женщин — «нарциссов»...

Бумеранг, посланный на заре гласности ревнителям уникального русского целомудрия, вернулся к их героям хмурым утром — и безошибочно угодил в то самое место, которое осмеливаются называть печатно одни «отщепенцы» вроде Аксенова.

Безутешный миф и клинические реалии

Бокал... бросил фельдкурата в сети дьявола, который раскрывал ему свои объятия в каждой бутылке, стоявшей на столе, во взглядах и улыбках веселых дам, которые положили ноги на стол, так что из кружек на него глядел Вельзевул.

Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.³⁵

Врач-нарколог Иванов однажды поступил в духе нынешнего сумбурного времени: разошелся с женой. Небанальным оказалось другое. «Они жили на разных квартирах, но у обоих, кроме друг друга, не было. Оба, не подозревая того, были верны друг другу». Что бы ни хотел сказать летописец в столь туманных выражениях, — положение для нормальных людей в расцвете сил, согласитесь, достаточно двусмысленное. Как обходи-

лась с ним женщина, история деликатно умалчивает. О поведении мужчины сохранились довольно подробные сведения...

Если вчитаться в начальные главы романа В. Белова «Все впереди», отвлекаясь от моральных оценок, послуживших главным камнем преткновения для всей прежней критики, то обнаружится немало интересного с точки зрения выбранного нами метода (при том, конечно, что такой «ключ», — как, впрочем, и всякий другой, — далеко не исчерпывает смысла произведения).

В туристической поездке по Франции нарколог приметил в своей группе жену давнего знакомого, но та не узнала его. «Иногда Иванов тайком, коротко смотрел в сторону Любови Викторовны Медведевой». Постепенно краткие взгляды, продолжая хранить таинственность, превращаются в слежку по всей форме частного сыска: Иванов маниакально подозревает Любу в намерении, вырвавшись на свободу, похерить супружескую верность. «Итак, они уже вдвоем и на «ты»... «Что же это? — спросил он себя. — Нарколог... Ты нарколог? Нарколог, а пьешь. Да еще один... Я обо всем расскажу Медведеву, — сказал он мысленно. — Обо всем. И пусть он гонит от себя эту продажную тварь».

Он почувствовал, как родился, отвердел тяжелый и горький ком горловой спазмы.

Добровольно взятые на себя обязанности не мешают Иванову исправно посещать культурные учреждения: «... в нижнем зале, рядом с превосходным женским портретом висела незаконченная картина Тулуз-Лотрека. Художник изобразил на ней женщину в отвратительной, совершенно дичинной позе. Зачем? Для чего было помещать эту картину здесь, рядом с этим портретом? Непонятной, издевательской показалась Иванову и одна из скульптур в музее Родена: там женщина изображена была в позе лягушки...»

Вернувшись в родные пенаты, нарколог увиделся со своей замужней сестрой. «Она не слышит вопроса, она опытными глазами стреляет в шашлычников. Все представления о женской верности снова трещат по швам. Иванову просто хочется взвизгивать. Он ждет от сестры не подтверждения собственных мыслей, а опровержения... Он хочет заказать коньяку...»

Иванов неожиданно для себя сунул руку под стол и сильно дернул за сестрин подол.

— Ты что? — она округлила от удивления глаза. — Рехнулся в своем Париже?

... — Очень прошу прощенья! — дурашливо произнес он и почему-то снова вспомнил картину Тулуз-Лотрека. — Но ответь мне на один вопрос...

— Опять какая-нибудь пошлость?

— Почему женщина все время хочется... это самое... обнажаться? Растележиваться, как говорят. Демонстрировать, так сказать...

— У тебя всё? Так вот, дорогой! Каждый судит в меру своей испорченности!

Однако бесстыдный образ «маленькой разницы» буквально преследует нарколога по пятам. Стоило ему однажды в гостях зайти в ванную помыть руки, как тут же «услышал за спиной голос Натальи».

— Не помешаю? Так некогда, так некогда!

Она, видимо, стригла ногти. Иванов повернулся и на долю секунды замер, стараясь никуда не глядеть. Закинув халат,

Наталья как раз поставила ногу на табурет. Под халатом... ничего больше и не было. Иванов поспешно ушел из ванны (так во всех изданиях романа. — М. Г.). Но глазная сетчатка успела-таки запечатлеть толстую Натальину ляжку, волосы и кожную складку в области паха... Он в смятении уселся в кресло, жар тотчас отхлынул от его лица... Иванов действительно тогда испугался.

А вот герой занимается интеллектуальной гимнастикой, сначала во Франции: «С помощью латыни Иванов управился с переводом без переводчиков: «Молодость минус революция равняется национализму». Итак: М — Р = Н. А чему же будет равна молодость? Н + Р, что ли? Что-то в этом уравнении было не то. Иванов хотел поделиться своими сомнениями...» Потом в Москве: «Иванову вспомнилась почему-то давнишняя школьная загадка: «Два отца и два сына несли три апельсина. По сколько нес каждый?» Она давно устарела, эта загадка, думал Иванов. Ее бы надо переиначить. Наверное, она бы звучала теперь по-другому. Ну, например, так: «Две мамы и две дочки тащили три огуречных бочки...» И так далее. Не возникай!»

Подглядыванье с сопутствующим фантазированием на околоспортивные темы, отчего субъекту вдобавок «хочется взвизгивать в безысходной тоске. Едва уловив под столом краешек юбки, невинно заголивший коленки родной сестры, взгляд уже не в силах оторваться от запретной (заветной?) непристойности, и любая мысль неудержимо сползает к этому. Что Иванов посмотрел в музеях Парижа, мы почти не узнали, — а вот что он запомнил из всей сокровищницы мирового искусства! Полуобморочное сердцебиение при виде известных «областей» женщины, которая минуту назад, одетой, была совершенно безразлична. С постоянством маятника мелкие грешки сменяются покаянными внутренними монологами — и снова... Протуберанцы разбушевавшейся эндокринной системы, краска на щеках и беспричинный раж; венцом же всему навязчивая вербализация потока подсознания «со смыслом» — и поиски особого смысла во всем подряд... То ли перед нами классическая картина пубертатных терзаний очень впечатлительного подростка, то ли клиническая — угасания очень развращенного маразматика?

Однако в этом еще не весь Иванов. Вторая половинка болезненной тайны — в разглагольствовании нарколога о здоровье и нравах родной нации. И ряд соответствующих поступков «жаждущего справедливости», как с языколомной нескладностью будто бы прозвали героя школьные друзья. Плюс не слишком умелая, но старательная сублимация сатанинских страстей высокоградусными напитками, извечный модуль всех пуританских культур от Угрюм-реки до Типперери.

Еще несколько небезразличных автору персонажей: Дима Медведев и Слава Зуев, один — преуспевающий ученый в номерной «конторе», другой — браваый флотский офицер, а с ними помощник Медведева Женя Грузь — записной остряк, вечный юноша от науки с хрупкими плечами и асимметричной челюстью.

Медведев выбирал жену не по прихоти, а исходя из того, что «всегда и во всех женщинах улавливал в первую очередь свойства своей матери. Остальные свойства он замечал тоже (!?), но всегда с запозданием и с некоторым недоумением...» Когда же через годы обнаружил некоторые различия, то, надо думать, от

недоумения последовал примеру друга. Любовь Викторова в эмансипированности далеко опередила Тоню Быкову: во-первых, побывала одна (муж — невыездной) в развратном Париже, где, как известно, весьма крутат порнофильмы. (Для кандидата наук с его отточенной логикой, как и для скромного врача с латынью, связь между этими фактами очевидна: «Нереализованная возможность женской неверности была, по его мнению, равносильна самой неверности.») Во-вторых, решив ограничиться одним ребенком, собралась делать аборт. Медведев разом обрушил семейный лад: сбежал из дома, напился и прогулял работу — только что глаз себе не выколол, все это будто даже с каким-то извращенным облегчением: вот оно, стряслось-таки наконец!

... Несколькими годами раньше он на вопрос Грузья: кто, по-твоему, самые плохие люди? — раздумчиво ответил: лесорубы с лесбиянками, потому что губят национальные богатства. И, совсем как Иванов в разговоре с сестрой, не то хотнул, не то хмыкнул смущенно: шутка, так сказать. Примерно тогда же Грузь на вопрос Медведева о первой любви ответил: была, но я как-то целый вечер продефилировал перед ней в оплошно расстегнутых брюках, и все кончилось. «В том возрасте это было равносильно тому, что разлюбили тебя. Да и сейчас так же...» (выделено мной. — М. Г.)

Но впереди у обоих настоящая трагедия. Во время загула шефа молодой экспериментатор, самолично вытязнувшийся в лауреаты уже не одного старпера-академика, полез без присмотра в нутро нового электронного устройства и что-то не то в нем замкнул...

Зуев, супруг той беспутной Натальи, что напугала Иванову своим интимным оперением, как раз имеет основания для развода, но вместо этого погружается в желчный романтизм и созерцает внутренним взором апокалиптические картины. Когда же нетрезвый по обыкновению нарколог в томительной жажде справедливости делится с Зуевым парижскими тайнами, тот со знакомой боеготовностью уязвлен в самое сердце: как, и Люба, его идеал с мальчишеских лет?! Потом он садится за руль и начинает заигрывать со смертью, добро бы с собственной, но в машине были и Иванов, и обе женщины. Впереди у Зуева — новая, удачная попытка, сделавшая его инвалидом до конца дней.

В итоге первой книги романа — один покойник, второй осужден на длительный срок и лишился семьи, третий стал беспомощным калекой. Во второй книге рассуждения о некоей мировой силе, стремящейся погубить Россию (отчего-то непременно ее, а не Индию, скажем, или Китай!) равномерно чередуются с образами и представлениями, связанными с половой потенцией — назойливыми, как у перевозбужденного подростка или удрученного старца. Помните «корреляцию Гусейнова — Драгунского»? Озабоченность этноцентризма!

Маются, пропадают ни за понюх табачу братья-ретарданты, обманутые худшей — подозрительной и потенциально опасной в самом своем естестве — половиной романного общества. Лишь один отыскал к финалу все призы: и престижное место под солнцем, и что гораздо важнее, Любу Медведеву, о которой он много лет мечтал так же неотступно, как Зуев, — и в Париже, когда, как заправский искуситель, предложил попутчику за бутылку испытать ее, и после... Даже сын, рожденный от

Медведева, зовет этого человека папой. Имя победительного разлучника — Михаил Бриш. Он не любит Родину и намеревается покинуть ее пределы по маршруту Колпачный переулочек — штат Арканзас, захватив жену и пасынков, что неминуемо должно искалечить их судьбы.¹⁷

Заверения в том, что совпадение романного амплуа с национальностью здесь, как, впрочем, всегда и всюду чисто вероятностное, сделались уже исхоженным местом у апологетов «позитивного художества». Но помилуйте, Венька Фомина в «Печальном детективе» В. Астафьева тоже негодяй жуткий, а ему какая сила позволит «за пределы», из каких переулочков? Да попробуй скажи такому Веньке в насквозь прогнивших обмоченных штанах: «ты, гад, Россию не любишь», — враз завоет от злости и привычно схватится за навозные вилы!

Остается добавить, что практически полная параллель этих коллизий заложена в сказочный «роман-завещание» — «Спасенье погибших» В. Крупина. Там литературный мэтр-злодей придумал фантастическую комбинацию с мнимым уходом из жизни и уничтожением всего своего имущества единственно ради того, чтобы безнаказанно отравить собрата (см. у Пушкина), безгрешного сожителя русской Идеи, присвоить его наследие (судя по врезкам в текст рассказчика, вполне заурядную прозу) и скрыться с любовницей. Когда на поминках в писательском собрании кто-то вспоминает, что покойный подписывал свои произведения **вымыс-**

ленными фамилией и отчеством, коллеги, дабы замаять бестактность, пускаются в рассуждения о литературных династиях и псевдонимах. Однако для посвященных в тонкую игру «Идеи» вопрос уж ясен: пусть фамилии разные, а отчество (отчество?) еще зачем менять?

Подводя итог: если иные российские сюжеты слишком демонстративно «не идут к Зигмунду», — в том лишь доказательство известной правоты... догадок последнего.

И не удивляйтесь: произведения, о которых шла речь, я оцениваю — в определенном смысле — достаточно высоко. Вопреки распространенной максиме, отрицательный результат важен не только для фундаментальных и прикладных наук.

До недавних пор в «позитивной» русской прозе бытовали два отдельных, никак не соприкасавшихся художественных мира. В одном, зная свою правду, мыкали горе старуха Дарья и Иван Африканович с домочадцами, бесконечно далекие от проблем «сатанинщины». В другом скромные герои профессионально давали уроки нравственности, посрамляя полчища тонконогих стилиг на папиных машинах, выводя на чистую воду лощенных интриганов, покушавшихся на завоевания нашего духа, а при случае и заморских вдохновителей, разных стюартов и дитцев. Герои первого рода, даже высказываясь о насущных вещах, не поучали с высоты котурнов, им бы в голову такое не пришло. Вторые, по очевидным условиям писательской задачи, самой судьбою обрекались на триумфальное шествие.

Трудно сказать, в какой момент течения стали сворачивать в общее русло. Сегодняшние носители зла — и орды юных рокоманов, обязательно жестоких, нечистоплотных и бесполо-похотливых, и изощренные растлители с ненашими фамилиями и заемными отчествами — суть прямые потомки тех простодушных узкобрюшников с саксофонами и незадачливых нигилистов, кого еще как-то не принято было поверять пятым пунктом. Их одинаково порождает «способ — создать анти-я и наполнить этот образ своими — худшими и неотреликтивированными — чертами».¹⁸ Но вот нынешний их антагонист, «я прямое» этого периферийного — двуединого и «заединого» хронотопа...

За одним из предтеч, умудренным страдальцем, прочно оставалось последнее слово лишь внутренней правоты. Другой торжествовал, обращая вовне зубодобительные удары всеобщих истин. Сойдись воедино, оба качества теряют себя: гиперморализм, заместивший «привычное дело», лишен обаяния внутренней цельности, победительность утратила привычный абсолютизм. «А упало, Б пропало...»

Что осталось в активе этой прозы? Быть может, парадоксальная самооценка душевных симпатий «заединщины» и духовного потенциала «нового консенсуса», их беспомощный диагноз и трезвый прогноз? Это покажет будущее литературы; но зависит оно — при нашем неповторимом историческом своеобразии — в основном не от писателей.

¹ «Смена» № 1, 1988, с. 7.

² Автор и герой в эстетической действительности. — В его кн.: Эстетика словесного творчества. — М., 1979, с. 11—12.

³ Анн Арбор: Ардис, 1981, с. 98.

⁴ Сюжет «романа-предупреждения» вообще выстроен на параллелизме героев: «прогрессист» из аппарата Брежневского ЦК Кузенков, который в финале от безнадёжности бросается в «Основополагающую» — штормовую волну, и либеральный политик Лучников, принесший малую родину (вымышленное подобие Тайваня — независимый «остров Крым») на алтарь фаталистической «Идеи Общей Судьбы»; его подруги Татьяна и Кристина; коллеги по контрразведке, полковники из Москвы и Симферополя; наконец, здешние и тамошние «национал-радикалы».

⁵ Анн Арбор: Ардис, 1980, с. 205—206.

⁶ «Наш современник» № 12, 1986, с. 79.

⁷ Любопытно, подозревал ли неприятель сексуальной педагогики в наших школах о том, что в его «Были» об убийственном целомудрии русских женщин почти в точности воспроизведена сюжетная коллизия руссоистской идиллии Ж. Бернадена де Сен-Пьера («Поль и Виргиния»), над которой в позапрошлом и прошлом веках пролили немало слез пансионерки по всей Европе?

⁸ «Октябрь» № 6, 1988, с. 154.

⁹ Самое проникновенное на сей день выражение этой идеи применительно к узкой теме заметок принадлежит не писателям, а молодому А. Широпаеву, обратившемуся в редакцию «Нашего современника» с уже не первым письмом по поводу «утверждающегося ныне духа, точнее — антидуха, сущность которого выражается в двух словах: распутство и Ирония. Да, разрушительная Ирония, о которой хорошо писал Блок, — упасть на колени перед

Недотыкомкой, соблазнить Беатриче». К апостолам антидуха он относит в первую очередь сексолога И. Кона со всей его наукой и художницу Симу Васильеву с картинкой, «на которой русская баня представлена как притон группового разврата». («Наш современник» № 1, 1989, с. 183.) Но вот что интересно: этот теоретик никогда не читывал, в отличие от его радужных публикаторов, вполне «народных» произведений с подобными сценами — или намеренно забывает о них? По какому признаку определить, кому можно, кому нельзя? И кто возьмется растолковать озабоченному эрудиту, что сексология ровно столько общего имеет с иронией (да еще с большой буквы), сколько Беатриче — с русской банькой...

¹⁰ Избранные произведения в 2-х тт., т. 2. — М.: Худ. лит.-ра, 1988, с. 300.

¹¹ «Лит. Россия» № 48, 1988.

¹² Пока писались эти заметки, С. Викулов удалился на покой, передав редакцию в надежные руки Ст. Куняева.

¹³ «Наш современник» № 1, 1989, с. 192.

¹⁴ «Звезда» № 9, 1988, с. 84.

¹⁵ Критик Т. Москвина проделала интересный анализ: ни в одной настоящей народной песне нет ни возвеличивания родины, ни настойчивых заверений в исключительной любви к ней («Искусство кино» № 6, 1988). Если взять тему «Образ неприятеля в русском фольклоре», выводы будут, в общем, похожими: ни тени той пристальной истовости, какой стала на каждом шагу подхлестывать себя «совесть России».

¹⁶ «Октябрь» № 9, 1988, с. 36.

¹⁷ Предвестие. — «Знамя» № 1, 1989, с. 220.

¹⁸ Ст. Куняев. Мать сыра земля. — М.: Сов. писатель, 1988, с. 210.

¹⁹ Подробно об этом можно прочесть в замечательной книге: Bruno Bettelheim, The Informed Heart. — New York, 1960. (Она, к сожалению, переведена на все основные языки, кроме русского; пересказ основных идей опубликован М. Максимовым в журнале «Знание — сила» № 3, 1988). Хорошо на эту тему писала и Л. Я. Гинзбург в эссе «О старости и инфантильности» («Нева» № 3, 1986).

²⁰ «Юность» № 7, 1988, с. 45.

²¹ «Наш современник» № 2, 1987, с. 56.

²² Там же, с. 57—58.

²³ М.: Современник, 1979, т. 2, с. 92.

²⁴ «Наш современник» № 2, 1987, с. 61.

²⁵ Там же, с. 85.

²⁶ Там же.

²⁷ Там же, с. 88.

²⁸ «Нева» № 12, 1988, с. 131.

²⁹ «Искусство кино» № 12, 1988, с. 11.

³⁰ Вспомним, что в общей теории психоанализа З. Фрейда личность разделяется на три структурных уровня: на низшем обычно подвляемое id («оно») — примитивно-эгоистическое подсознание, запечатлевшее табуированные этапы праистории человечества, полные садистской агрессивности и кровосмешения, что находит неконтролируемое выражение в снах и опосредованное — в имманентных комплексах (Эдипа и др.); на высшем Superego (идеальное «сверх-я»); между ними уравновешенное его (повседневное «я» человека). Многие отклонения в психике объясняются нарушением равновесия между уровнями данной триады.

³¹ См. гипотезу Вяч. Вс. Иванова, например, в его статье «О выборе веры в Восточной Европе» («Природа» № 12, 1988).

³² Собр. соч. в X тт. — СПб. 1911—1913, т. V, с. 386—387.

³³ Под ретардацией сексуальной понимают впечатление в поведении взрослого человека незрелых или вообще неадекватных стереотипов. Сравним для примера сюжет В. Белова в книге «Лад»: после того, как «модельная» чета крестьян исполняла природный и общественный долг, произведя потомство в необходимом количестве, «супруги... уже не стремились к брачному ложу... К ним как бы понемногу возвращалось юношеское целомудрие» (М.: Сов. писатель, 1982, с. 120). (Кто же более реален — семья из «Привычного дела» или эти гиперборейские пейзажи?) Или поведение Княжко в «Береге» Ю. Бондарева: с точки зрения литературного Суперэго — образец достоинства и чистоты; медицинская психология, вероятно, заподозрила бы здесь обратную сторону — так называемую гиперкомпенсацию юношеских сомнений в своей привлекательности и сексуальных возможностях.

³⁴ Г. Ч. Гусейнов, Д. В. Драгунский. Национальный вопрос: попытка ответа. — «Вопросы философии» № 6, 1989.

³⁵ Собр. соч. в 4-х тт., т. 4. — М.: Правда, 1985, с. 253.

³⁶ М.: Сов. писатель, 1987, с. 29.

³⁷ Там же, с. 15.

³⁸ Там же, с. 25. Заметьте: и у Иванова экономный принцип «бритвы Оккама», реально преобладавший в патриархальных нравах, так же окрашивается глубоко болезненной личной заинтересованностью, как у преподавательницы ленинградского вуза или у той героини рассказа Л. Фролова, что играла «тяжелым взглядом», «ехидно шурилась», «стояла, будто прокурор» и не шла, а бежала восстанавливать закон и порядок.

³⁹ Там же, с. 24.

⁴⁰ Там же, с. 31—32.

⁴¹ Там же, с. 39.

⁴² Там же, с. 15.

⁴³ Там же, с. 29.

⁴⁴ Там же, с. 16.

⁴⁵ Там же, с. 93.

⁴⁶ Там же, с. 66.

⁴⁷ В свое время не один критик романа указывал, что образ Бриша вопреки всем обвинениям вышел если не более «положительным», то объективно более человеческим, чем тот же Иванов. Писательская техника в рисовке пороков этого персонажа живо напоминает маскарадные картонные носы и накладные бороды (как, впрочем, повсюду, где только над правдой таланта берет верх «правота» тенденции, воплощенной в омертвевших знаках-указателях).

И еще: буквально все писавшие о романе, увлекшись в парижских сценах чадным тлением «справедливости» нарколога, начисто проглядели подлинную драму страстей, глубокий смысл пошлейшего по видимости пари. Свое романтическое постоянство (в меру странное для циника, запрограммированного на комфорт) Бриш сознательно подверг крайнему испытанию: святыня либо утвердится на своей высоте, либо рухнет, жестоко опалив, но и высвободив очарованную душу... Пока «примерные мальчики» упражнялись в языческих имитациях морали, хныкали над рюмашкой и швырялись походя надоевшими жизнями, — «плохиш» по своему, пусть и очень несовершенному счету распорядился судьбой и вышел победителем.

Вот один из моментов писательского чувствования не «по Эдипу» и не «по Заратустре»; в конечном итоге — Белова-таланта против Белова-тенденции.

⁴⁸ Д. Шушарин. Культура посада: перед зеркалом, как перед иконой. — «Декоративное искусство» № 4, 1989, с. 34.



ПЕТР БЕЛКИН

ВЫСТРЕЛ

I

Мы стояли в местечке**, неподалеку от границы. Жизнь офицера известна. Утром развод, муштровка бойцов, обед в части или в единственной городской забегаловке, громкий титул коей нимало не отражался на ассортименте; вечером — попойка и карты. В ** не было почти ни одного интеллигентного дома, большинство девиц успешно развлекаться с нашими предшественниками, новые не подросли, а те, что остались, — были уже не единожды, безо всякой, впрочем, к тому душевной склонности; мы собирались друг у друга, где кроме своих кителей и телевизора не видали ничего.

Один только человек принадлежал к нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная замкнутость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые мозги наши. Какая-то двусмысленность окружала его: он казался татаринном, а носил русское имя. Ходил он в гражданском; тем не менее, сомнения в его причастности уставной службе не возникали ни у кого; казался он человеком не без связей и не чужой всем жителям **; никто не мог сказать, какие обстоятельства вынудили его поселиться в заштатном местечке, где жил он вместе бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в пропыленном сером костюме, а регулярно принимал у себя чуть ли не всех офицеров нашей части. Правда, обед его состоял из горячего и закуски, изготовляемых его хозяйкой, но самогон выставлялся в трехлитровых банках. У него водились книги, большей частью какие-то странные, да газеты. Газеты желтели нечитанными, книгами он не дорожил и, верно, охотно бы давал их спросившему, кабы таковые среди нас отыскались. Главное же его упраж-

нение заключалось в стрельбе из пистолета и воздушки: стены его комнаты были сплошь источены пулями последней. Из макара он стрелял редко, когда удавалось разжиться патронами у кого-либо из нас. Откуда у него пистолет — сказать не могу; держал он себя как человек, вполне располагающий правом на ношение оружия, распросы потому не возникали; тем менее к ним могли побудить его внешность и язвительность. Обыкновенно он упражнялся из монтекристо, весьма старого, но содержащегося в старательном порядке, притом усовершенствованного: приклад пукалки был переоборудован на манер рукоятки револьверов, используемых спортсменами (стрелял он из винтовки с одной руки). Однажды я даже рассмотрел рукоятку изнутри: ложе было устроено столь пригнанно, что на том имели место не только выступы, соответствующие пальцевым сгибам, но и выемки, в кои должны были попадать бугорки на ладони, а также, что совершенно поразило меня, на рукоятке были жилки утолщений, в которые следовало вкладываться хиромантическим линиям ладони. Тем же манером, но уже из красного дерева, была исполнена рукоятка макара. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, ему впору было бы выступать в цирке, и, ежели бы он вызвался сбить огонь с сигареты, то никто, думаю, не усумнился бы подставить ему подбородок.

Разговор между нами часто касался поединков. Сильвио (так назову его) никогда в них участия не принимал. На вопрос, случалось ли ему стрелять в человека, отвечал сухо, что приходилось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые разговоры ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-либо похожее на робость. Есть люди, одна наружность которых удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина пометать нам банк. Тот отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец достал карты, кинул на стол несколько бумажек и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил, не приговаривал, не объяснялся. Играл он обычно на патроны: в случае выигрыша получая их с неудачника, штука шла в рубль. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать, но между нами находился прапор, недавно к нам переведенный. . . . Произошло объяснение. Прапор, разгоряченный вином, игрою и насмешками сослуживцев, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола пустую консервную банку, служившую ему пепельницей, пустил ее в Сильвио, который едва успел отклониться. Мы смутились. Сильвио встал, отряхнул пиджак от пепла и со сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях. Прапор вышел вон, сказав, что с господином банкометом они еще перекинутся словечком. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, размышляя о грядущем.

На другой день в части мы спрашивали уже, жив ли еще бедный прапор, как он сам явился между нами, имея вид совершенно свежий; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он никаких известий, а сам на него клал с прибором. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, где он плющил пулю о пулю в середку пикового туза, прикрепленного к дощатой двери сортиру. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким извинением, они раздавили бомбу и помирились.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток храбрости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Будучи интеллигентом от рождения и пребывая в армии человеком временным, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, чуждому службе почти в той же мере, что и я. Он любил меня, по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах без оттенков иронии и горького цинизма. Но после несчастного вечера мысль, что честь не только его, но и всей интеллигенции замарана и не омыта по его вине, эта мысль не покидала меня и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно находиться в сношениях с непротивленцем. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил в нем раза два желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор я видался с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Замотанные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям поселков городского типа или райцентров, например об ожидании дня завоза: лавки в продавленном железном коробе, на коем начертано «автолавка» либо не написано ничего, а сам короб выкрашен в тяжело-зеленый, отколупывающийся уже цвет. Переминаясь на краю лужи перед сельсоветом и раймагом, мы рассуждали обыкновенно о том, что завезут — красненького бы для разнообразия или пивка. . . . В те же дни и на том же транспорте в местечко доставляли и телеграммы. Сильвио выходил к луже вместе с нами; однажды почтарь передал ему телеграмму, которую он развернул с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Остальные, занятые своими делами, ничего не заметили. «Господа, — сказал им Сильвио, — обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия, еду утренним рейсом; надеюсь, вы не откажетесь отужинать у меня в последний раз. Я жду и вас, — продолжал он, обратившись ко мне, — жду непременно». С сим словом поспешно ушел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти всех офицеров нашей части. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и веселость его сделалась общей; бескозырки срывались то и дело, стаканы звякали, сдвигаясь беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже далеко за полночь. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, подошел ко мне и как бы остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Останьтесь, старлей», — сказал он в мою сторону, не меняя радушного лица хозяина. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие из-под низких бровей глаза, пышные усы и густой дым, выходящий сквозь них, придавали ему вид.

«Возможно, как вы кончаете служить, мы с вами не увидимся больше, — сказал он мне. — Перед разлукой я хотел бы с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но вас я люблю и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление».

Он остановился, аккуратно соскабливая краем пепельницы пепел с сигареты. Я молчал, потупя глаза.

«Вам было странно, — продолжал он, — и досадно, что я

не отдал бедолагу прапора. Вы согласитесь, проблем бы у меня не было: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но я не хочу ля-ля. Мне это — я о прапоре — и не интересно и не нужно, разбираться с ним — значило бы исполнить докучливую обязанность, к чему я не имею ни малейшей склонности. Кроме того, я давно уже понял, что любое подобное происшествие помешает мне впоследствии исполнить свой основной долг».

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Такое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.

«Вы, верно, догадываетесь, что я служу в ***. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но при службе моей это было весьма затруднительно: общественное мнение о движении моей карьеры быть осведомленным, разумеется, не могло. К счастью, в наше время буйство еще было в моде: я стал первым буйном в своем, весьма высокопоставленном, кругу. Мы хвастались пьянством, я перепил даже Ч., чья судьба впоследствии попала на страницы многих газет и журналов. Разборы происходили каждодневно, во всех их я бывал самым деятельным участником. Хозяева превращаемых в вертелы квартир мирились со мной как с необходимым злом, впрочем, полагая, чувствуя себя польщенными за нанесенный им ущерб — без моего участия никакая попойка не могла быть сочтена удавшейся. Товарищи меня обожали.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как вошел в наш круг молодой человек богатой и знатной фамилии (не стану называть его). Отроду не встречал счастливицу столь блистательного! Вообразите себе молодость, громкое имя, воспитание с самого детства, привилегированное питание и положение в обществе, очевидная карьера впереди — притом по линии, удачно совмещавшей ее выгоды с возможностью предстать в обществе во всем блеске! Деньги у него не переводились, о последствиях самых диких своих выходов он мог позволить себе задумываться в степени еще меньшей, нежели я. Первенство мое поколебалось. Оболенный моей славой и, видимо, слухами о моей служебной принадлежности, он стал было искать моего дружба; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в обществе и среди женщин приводили меня в совершенное отчаяние.

Однажды мы собирались у Н., дочери известного М., бывшей со мною в связи и отношения с которой в ближайшем будущем я намеревался перевести в русло самых серьезных намерений. До появления Ц. препятствий к тому не возникало, с его же появлением стало наблюдаться некоторое ее охлаждение по отношению к вашему покорному слуге. Я делал вид, что не происходит ничего, и выжидал, полагая ее поведение вполне прощательным для особы столь высокого положения и столь юных лет. Но однажды, запоздав, по служебным надобностям, к началу вечеринки, я был встречен в дверях компаньонкой хозяйки, которая, к моему немалому изумлению и ярости, внутрь меня не пропустила, облачив отказ в форму какой-то нелепицы. Все было ясно, настаивать я не стал.

В холодной ярости я провел ночь у подъезда, поджидая Ц. Вечеринка окончилась в 3.46, гости разошлись. Ц., однако, не вышел. Начинало светать, как неожиданно увидел я двух своих младших сослуживцев, явно по делу спешащих в направлении дома, возле которого я провел томительные часы бесплодного ночного ожидания. Я вышел им навстречу. Мы дружески приветствовали друг друга, на их вопрос о моем времяпрепровождении я ответил нечто объективное, они же поведали мне, что вызваны сюда в целях предотвратить нападение на некое высокопоставленное лицо. Все было ясно. Я, насилию сдерживаясь, дружески распрощался с коллегами и пошел своей дорогой. Солнце взшло, и жар уже наспевал.

Трогать Ц. в ближайшее время было, разумеется, слишком рискованно. Да и то: добраться до него было вовсе не просто — ни в дневное время, когда находился он среди сослуживцев, ни, тем более, в ночное — памятуя о его

предусмотрительности, столь явно выказавшей себя той роковой ночью. Тогда я, к некоторому удивлению коллег, воспользовался случаем и переехал в сей городок, где и стал дожидаться удобного случая встретиться с Ц. через время, достаточное для того, чтобы произошедшее между нами изгладилось бы из его памяти. К счастью, в столицах об отсутствующих забывают быстро.

Итак, я переехал в этот городок. С тех пор не прошло ни дня, чтобы я не думал о мщении. Ныне мой час настал . . . »

Сильвио вынул из кармана полученную телеграмму и дал мне ее читать. Корявыми буквами на бумаге было изображено следующее: «*Бабушку* отправили в К-ий пансионат».

«Вы догадываетесь, — вскричал Сильвио — кто эта *бабушка*! Посмотрим, так ли трудно будет добраться до него в этом, столь хорошо известном мне дачном поселке с отдельными коттеджами, как в Москве!»

При этих словах Сильвио встал, бросил об пол свою шляпу и стал мягко ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоречивые чувства волновали меня.

Зазвенел будильник, пора было на автобус, утренним рейсом доставлявший жителей городка к станции. Сильвио крепко сжал мне руку, обнял, шепнул на ухо: «Я позабочусь о вас», мы поцеловались. Он залез в автобус со своими двумя чемоданами, один с пистолетом и воздушкой, другой — с пожитками. Мы простились еще раз, и автобус тронулся.

II

Прошло несколько лет, и некоторые обстоятельства принудили меня поселиться в небольшом районном городке Н-ской области. Занимаясь делами моей службы, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и наполненной жизни. Всего труднее было проводить осенние и зимние воскресенья в почти полном уединении. До обеда я еще как-то дотягивал время возле телевизора или отправляясь на прогулку; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деться. Малое число книг и газетные подшивки, найденные мною на шкафе в конторе, меня не заинтересовали. Все местные истории, кои мне мог рассказать сосед-пенсиян Кузьмич, были мне пересказаны, репертуар единственного кинотеатра навел тоску. Принялся я было за ликеры, но от них болела у меня голова; да, признаться, боялся я сделаться *пьяницей с горя*, то есть самым *горьким пьяницей*, чему примеров множество видел я в нашем городке. Знакомых у меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большей частью в икоте и вздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от центра города находилась весьма крупная фабрика по производству . . . директора коей я несколько раз видел на различных райкомовских мероприятиях; по своей осанке и высокомерию казался он человеком нездешним, держал себя надменно, ни с кем в сношения не вступая; однако ж, слово за слово, и мы с ним познакомились . . . Придась, видимо, ему по душе, я был приглашен к нему отобедать — жил он в служебном домишке неподалеку от фабрики.

В первое воскресенье я отправился к директору в гости. Мне открыла и проводила в дом его жена — мною овладело смущение: она была точно красавица, с лицом злым и пристальным и, казалось, знавала лучшие времена. Я захотел показаться развязным, но чем более старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловко. Она же, противореча своему облику, заговорила со мной как с добрым соседом и без церемоний. Мы вошли в дом, она оставила меня в гостиной и пошла уведомить обо мне мужа. Обширная комната была убрана с почти роскошью: вдоль стен стояли шкафы с книгами, обширное зеркало, модный, хотя и несколько побитый — что выдавало его транспортировку — импортный гарнитур; паркет-

ный, усталый, усталый пол. Отвыкнув от роскоши в служебном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я несколько оробел и, признаваясь, ждал появления директора с каким-то, право же, трепетом, как какой-нибудь проситель из провинции ждет выхода замминистра. Дверь открылась, вошел директор. Ему было около сорока одного, держал он себя по-столичному, вот только разговор его — нервный и запинаящийся — несколько настораживал и озадачил меня; впрочем, я вскоре понял, что хозяин был с крутого похмелья.

Через некоторое время нестройной беседы, минуты которой тянулись мучительно, он как-то вскользь предложил выпить. Я, отчасти из вежливости и по необходимости разрядить обстановку, согласился. Тут же была извлечена из шкафа бутылка, на столе появились рюмки, и, не дожидаясь закуски, которую, верно, готовила жена, мы выпили по первой, тут же повторив. Хозяин заметно оживился, на лице его проступил румянец, разговор, впрочем, не завязался. Появились закуски, жена взяла рюмку и тоже выпила, сидя в кресле чуть поодаль и настроенно жуя.

Между тем, от выпитого и духоты помещения мне стало жарко и, с позволения хозяйки, я расстегнул пиджак; когда же я попытался подхватить рюмку, сметенную со стола неловким движением захмелевшего хозяина, борт его отошел, обнаружив под левой подмышкой мой служебный пистолет; это не укрылось от глаз хозяина.

«А хорошо вы стреляете?» — спросил он невпопад.

«Изядно, — отвечал я, обрадовавшись, что разговор, наконец, затеялся, — в тридцати шагах в карту промаху не дам, разумеется, из своего».

«Право? — сказала хозяйка с видом большой внимательности. — А ты, мой друг, попадешь ли в карту, хоть с десяти шагов?»

«Это ее ирония, — отвечал хозяин в мою сторону. — В свое время я стрелял за сборную М-го университета; но вот уже пятнадцать лет я не брал пистолета в руки».

«О, — заметил я, — в таком случае бьюсь об заклад, что вы не попадете в карту и с пяти шагов: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в училище я считался одним из лучших стрелков. Однажды в отпуске случилось мне целый месяц не брать в руки пистолета; что бы вы думали? В первый же раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти метрах. У нас был капитан, остряк, забавник; он тут и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не поднимается на бутылку. Нет, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки».

Хозяйка была рада, что я разговорился.

«А какво стрелял он?» — спросил меня хозяин.

«Да вот как, директор: бывало, увидит он, села на стенку муха — вы смеетесь, хозяйюшка? Ей-богу, увидит муху и кричит: вот я тебе задам! Тут же за винтовку, хлоп! — и вдавит муху в стену!»

«Это уд-дивительно, — сказал, опрокидывая рюмку, хозяин. — А как звали его?»

«Странное имя, Сильвио».

«Сильвио? — переспросил хозяин. — Он что, еврей?»

«Да нет, — отвечал я, — скорее, мегрел».

Разговор, казалось, затеявшийся, затух. Хозяин вновь потянулся к бутылке (мы пили уже не первую), он казался совсем уже потерявшим контроль. Жена его построила быструю гримасу, поднялась и пошла к дверям, остановившись в которых, выразительно обернулась на меня.

«Вот вы о стрельбе заговорили, — сказал неожиданно совсем уже заплетавшимся языком хозяин. — Таковую историю могу рассказать вам и я».

Я, искавший уже повода оставить хозяина наедине с его времяпрепровождением, вынужден был снова размякнуть в креслах.

«Три года тому жизнь моя, — приступил к рассказу хозяин с видом чрезвычайно расстроенным, — текла чрезвычайно блестяще. Я служил в столице, занимал серьезный пост в одном из министерств, был регулярно поощряем, обладал массой знакомств и связей в самых влиятельных кругах, регулярно выезжал за рубеж как в составе делегаций, так и в личном порядке, карьера моя продвигалась прекрасно, несчастный случай расстроил все. Тогда, вместе с женой, мы отправились провести часть очередного отпуска в К-ий санаторий. Там, ежели вам ведомо, устроен небольшой поселочек из отдельных благоустроенных коттеджей. Нравы в поселке при этом были, разумеется, самые столичные. Мы проводили день за днем, наслаждаясь заслуженным отдыхом, обществом и природой, как вдруг однажды вечером я обнаружил в своем кабинете неизвестное мне лицо».

Казалось, силы оставляют хозяина, речь его замедлилась и затруднилась, руки, нервничая, ломали одну спичку за другой. Я, в надежде выслушать столь начавшуюся занимать меня историю, дал ему прикурить от своей зажигалки.

«Сей неизвестный, — собравшись с силами, продолжил директор, — под дулом направленного на меня пистолета потребовал исполнения ряда условий, в число коих входила выдача ему моего партбилета вкупе с письменным заявлением о выключении меня из членов партии как человека, не разделяющего ее теперешний курс. Что мне было делать? Жена в тот вечер как раз ушла к подруге, намереваясь вернуться поздно, в доме никого, мне оставалось лишь нажать секретную кнопку и вызвать на помощь патруль; что я и исполнил, в ожидании принявшись тянуть время. Но тщетно я пытался разговаривать неустановленное лицо предложениями иных вариантов нашего сотрудничества — он только смеялся мне в лицо. Время, между тем, шло, приближая счастливую развязку, как вдруг он внезапно сказал: «Шо, гражданин замминистра ждет подмоги? Тщетно, сигнализация отключена». Я был сражен».

Что было мне делать? Я исполнил его условия, и он скрылся. Единственная надежда моя состояла в том, что неизвестный не сумеет воспользоваться бумагами с возможным эффектом; впрочем, я лелеял мысль, что произошедшее было лишь шуткой каких-либо санаторских весельчаков. Но тщетно! Документы были переданы прямо на Старую площадь, притом по адресу, исключавшему возможность замаять скандал. Разумеется, я писал объяснительные, держал ответ на различных комиссиях, мои слова, к счастью, были приняты во внимание, я был сохранен в партии, пришлось лишь распрощаться с надеждами на карьеру. Теперь, верно, судьба моя навсегда связана с жалкими фабричками в podobных захолустьях. Впрочем, как говорится, надежда умирает последней».

«Но каким образом неизвестному удалось отключить внешнюю сигнализацию, не проникнув на территорию?» — осведомился я, хорошо зная проводимые в подобных случаях мероприятия.

«Вот в том и дело! — с последним воодушевлением вскинул голову хозяин. — Посредством наружного осмотра, произведенного при моем участии на следующее утро, было установлено, что центральный провод сигнализации был перебит выстрелом из какого-то, предположительно бесшумного, ружья. Одной только пулей на расстоянии в тридцать метров. Непостижимо!»

Силы вовсе оставили его, он обрушился лицом на столешницу и уснул. Я, отчасти мучимый состраданием к нему, поднялся и перенес его на диван и вышел из комнаты, отправившись на розыски хозяйки, искать которую, впрочем, пришлось мне недолго.

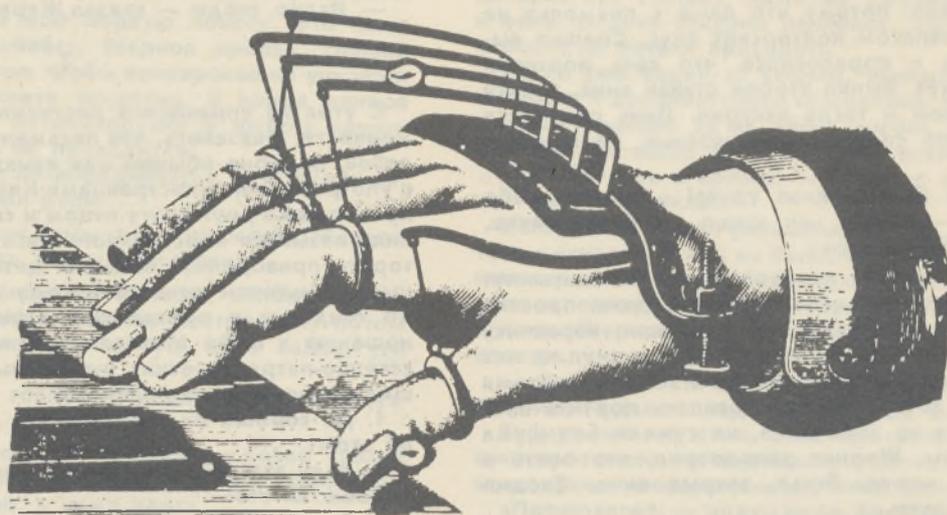
Таким образом узнал я конец повести, коей начало так поразило меня. С тех пор я покинул уже гостеприимный городок Н. и регулярно вижу с Сильвио, когда тот возвращается в Управление после очередной заграничной командировки; мы всегда тепло и с воодушевлением вспоминаем события бывших дней и общих знакомых.

БОРИС ДЫШЛЕНКО

ИЗ ЦИКЛА «ЖЕРНОВ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ»

В. Беломлинской

ЖЕРНОВ И БАОБАБЫ



1

Опять приближался праздник. Жернов не любил праздников, хотя и понимал, что праздники сами по себе, а жизнь идет своим чередом и все производится. Что-то убывало с течением времени. Еще на днях уборщица обратила его внимание на то, что за текущее десятилетие вкусовые качества значительно снизились. И сам предполагал такую возможность, соотнеся хотя бы с процентом сахаристости.

Стоял у окна, глядя на серый в зимний период небосклон. Где-то далеко за крышами флигелей и еще дальше, над домами, бледнел и расплывался тусклый, сиреневатый актуального содержания лозунг.

Вообще-то, ему было безразлично, какие продукты питания потреблять. Знал, правда, во всяком случае, про портвейн, что и десятилетие назад ему казалось то же самое, что и по прошествии, так что подумал, что положение о повышенном проценте существовало всегда, а может быть, всегда только так кажется, потому что, если он и в самом деле неуклонно повышается, то даже невозможно себе представить, какой был сто лет тому назад. «Может быть, не всегда повышался!» — подумал Жернов, однако уборщицу тогда резко осек на тему, а уж с конторскими кроме дисциплины и разговаривать бы не стал.

Стоял, курил, используя холодный воздух из окна. Знал, что старые слова заменялись новыми, а потом еще добавлялись дополнительные слова, и то же происходило с товарами потребления, так что, глядишь, за десять лет все полностью обновлялось — и терминология, и уровень жизни, и лично вроде бы становился другим.

«Вот и теперь, контакты, — с привычным неудоволь-

ствием отмечал про себя Жернов. — То уполномоченные, потом участники, и вот — контакты.

Это все для конторских, — думал Жернов, — пусть они задумываются. Мы-то знаем, что к чему».

Правда, усиление было и раньше — оно было всегда. Так же было, как и повышение процента. Это отчасти успокаивало Жернова ввиду того, что такие медленные изменения, хотя ничего положительного с собой и не несли, все же были постепенными и создавали впечатление определенной стабильности или хотя бы перманентного развития по спирали, так что всегда успеваешь привыкнуть.

Жернов бросил окурочек в окно и только тогда услышал шаги двух, а может быть, и нескольких человек внизу. Все же надеялся, что никому из конторских не попал на голову. Хотя и не одобрял их, но таких шуток никогда себе не позволял, как и вообще не позволял никаких шуток. Закрыв окно, сел за стол и еще успел раскрыть папку до того, как двое конторских вошли. Конторские ничего не сказали, хотя это могло происходить и от чувства неуверенности. Жернов понадеялся, что все-таки не попал. Сидел, терпел присутствие конторских, которые пока еще не успели расшуметься.

Позвонили по телефону из управления. Жернов снял трубку, внимательно слушал, что говорили. Никак не комментировал. С неудовольствием подумал, что в свете развития контактов теперь придется проявлять повышенную бдительность и чувство такта. Вообще имел об иностранцах отрицательное мнение.

«Кормят вас всех, — думал он про них. — Если б не кормили всю эту ораву, вот так бы жили».

Два дня пил дома и, кажется, вчера по свободе и незанятости перебрал. Сейчас отрывисто вздохнул, взялся за сердце. Билось, и нехорошо билось. Однако постарался отвлечься от этого, и почти удалось. Без ненависти посмотрел на конторских, которые сегодня хоть вели себя тихо.

Сегодня случилось неудачно. Совсем забыл про первый понедельник каждого месяца. Когда увидел табличку, даже выругался с досады, чего обычно на улице не делал. Пришлось идти на угол, невзирая на то, что там всегда собиралась большая очередь народу, а сегодня ввиду санитарного положения в гастрономе — тем более. Все же из-за безвыходности положения пришлось отстоять очередь, и когда вернулся, с сожалением подумал, что до прихода конторских не успеет подействовать и не придется в расслаблении покурить. Поколебался, но все-таки открыл окно, потому что даже с похмелья не хотелось портить запахом конторских вкус. Спешно выцедил стакан вина и порадовался, что хоть портвейн попался, а не вермут. Выпил второй стакан вина, уселся поудобнее за столом и тогда закурил. День получался так на так: не было сплошного невезенья, но и удачи полной не было.

«А какая может быть полная удача! — в ответ себе подумал Жернов. — Жизнь как жизнь, и удачи такие, что назавтра и не вспомнишь».

Подумал, что хорошо бы, конторские все скопом минут на десять-тринадцать опоздали. Пожалуй, даже простил бы им это. Однако, как назло, не опоздали: ворвались возбужденные и сразу целой толпой. Прикрикнул на них исключительно для авторитета, так как в это самое время портвейн начинал доходить и не хотелось портить впечатление. Несмотря на замечание, не сумели без шума рассестись за столы. Жернов заподозрил, что опять в газете что-нибудь нашли. Встал, закрыл окно. Сходил в туалет — вымыл руки.

Портвейн уже распространился в крови и привел в нужное состояние бодрости. Жернов только пожалел, что пришлось пить так быстро. В связи с процентом сахаристости опять вспомнил о снижении вкусовых качеств.

«Ничего, — подумал Жернов, — правильно, что запретил ей говорить. А чего говорить! — спросил он себя. — Вон «Генеральная газета» только и делает, что говорит. А толку!.. Разве с конторскими добьешься чего-нибудь!» Критически посмотрел на конторских. Про себя отметил, что, несмотря на разгильдяйство конторских, в целом все-таки возрастает. Не приписывал себе этой заслуги. Просто не думал об этом.

Из управления опять позвонили. Ничего конкретного пока не сообщили. Сказали только, что официальное разъяснение о письменности поступит завтра.

Конторские вдруг о чем-то зашептались, и Жернов услышал отдельно взятые слова. Он поднял голову и увидел, что некоторые из них, подняв лица, сидят с прикрытыми глазами, а губами шепчут, как будто запоминают.

— Эй! Вы что там опять придумали! — крикнул им удивленный Жернов.

Конторские опомнились, будто очнулись, но ничего не ответили ему, впрочем, Жернова это и не интересовало. Приведя конторских в порядок, он перевернул страницу отчета и на некоторое время перестал думать.

Уже сидел за стаканом, когда пришла уборщица. Сначала ничего не говорила, только, убираясь, все поглядывала на Жернова, как будто что-то знала или думала, что он знает. Жернов заметил эту странность, но не обращал внимания, пил. Когда убралась, все не хотела уходить, жалась и вела себя таинственно. Видно было, что неймется что-то рассказать, но празднует, хочет, чтоб Жернов спросил.

— Ну, что там! Говори, — сказал Жернов. Терпеть не мог этих ее ужимок.

Выяснилось, что «Генеральная газета» во всех подробностях напечатала про поимку опасно больного и про

то, как он убил взрослого сына уборщицы и как ему камнем голову размозжил. Уборщица торжествовала:

— Родина признала! — она всхлипывала, сморкалась. Жернов задумался.

«Значит, взяла, — подумал он. — Ну что ж, теперь залечат — не выпустят». Он подумал, что его знакомого, может, скоро выпишут из сумасшедшего дома: ведь культурный человек, не какой-нибудь гуманоид... Сомневался в этом.

— Налил бы по случаю, — неожиданно попросила уборщица и уставилась на Жернова маленькими голубыми глазами.

Жернов отказал.

Уборщица нехотя взяла свою вещь со стола. Мясась в нерешительности, не уходила. Все надеялась, что Жернов, может быть, нальет.

— Ладно, сходи, — сказал Жернов. Послал ее за вином.

2

С утра из управления поступило разъяснение о письменности. Оказалось, что письменность не возникла сама собой, подобно обычаю или языку, но была предложена к употреблению иностранцами Кифой и Мокием, которые приходились друг другу отцом и сыном. В качестве источника называли иностранного писателя, из сочинения которого приводились большие цитаты. Жернов с особым вниманием отнесся к тому месту, где доводилось до сведения о проявлении у Мокия Кифовича по отношению к Кифе Мокиевичу, а также к обществу, родственно-патриотических чувств, выразившихся в следующих вопросительных тезисах:

1. Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом!

2. Ведь это все, что ни написано здесь, это все наше, хорошо ли это!

3. А что скажут иностранцы!.

4. Разве весело слушать дурное мнение о себе!

5. Думаают, разве это не больно!

6. Думаешь, разве мы не патриоты!

«Может, и правда, понизится теперь процент сахаристости!» — подумал Жернов, но в целом пожал плечами.

Однажды пил старый портвейн какого-то года. Правда, процент был невысокий. Однако и портвейн был дорогой.

«А чего! — подумал тогда Жернов. — Делай поменьше сахаристости и продавай за старый». «Теперь подумал, что, может, так оно тогда и было».

Конторские чего-то вдруг засуетились. Жернов хотел заметить им, чтоб перестали, но в это время позвонил телефон. Из управления дополнительно рекомендовали читать передовицу в «Генеральной газете» и отнестись со всей серьезностью.

«Что еще там!» — подумал Жернов.

Подумал, не взять ли ему газету у конторских — ведь наверняка имеют, — но не стал по двум причинам: во-первых, чтобы не подрывать авторитет, а во-вторых, из-за дисциплины.

«Нечего потакать, — подумал он, — а то совсем разболтаются, решат, что все можно. В обед почитаю».

Сходил — вымыл руки.

Дина вчера пришла в джинсах. Пошевеливая обтянутыми мясистыми ягодицами, ходила.

— Ну что, хорошо! — спрашивала она Жернова.

— Что ж хорошего! — отвечал строго Жернов. — По улице б так ходила, а сюда зачем!

Дина застеснялась, не хотела, чтобы Жернов при уборщице намекал.

— «Вранглер», — говорила она. — Самая лучшая фирма. Дорого заплатила.

В обед давали «Любительский» портвейн. Жернов порадовался этому. Вынужден был признать, что все-таки от контактов есть какая-то польза.

«Может быть, вообще повысятся вкусовые качества! —

подумал он. — Чтобы лицом в грязь не ударить... А то, и в самом деле, стыдно сказать». Все же не очень в это верил.

На обратном пути в киоске купил «Генеральную газету». Предварительно осмотрелся, — нет ли кого из конторских поблизости, и только тогда занял очередь лично за последним. Жернов удивился очереди: думал, «Генералку» никто, кроме конторских, не читает. Предположил, что может быть, это чьи-то другие конторские! С подозрением посмотрел на впереди находящиеся, однако отстоял. Вернувшись, положил газету на стол и первым делом открыл окно. Сходил — вымыл руки. Но прежде чем читать, достал из портфеля бутылку «Любительского», вынул из ящика вымытый уборщицей стакан, налил полный. Длинным, медленным глотком выпил и даже крикнул от удовольствия. Подумал, что «Любительский», может быть, и случайность, но сегодня хотелось верить в лучшее.

Передовица занимала всю первую полосу. Это была обширная статья о баобабах. Жернов прочел, сложил газету и спрятал ее в стол, чтобы конторские не увидели. Обдумывал статью в свете усиления. В конце концов пришел к выводу, что от конторских в любом случае ничего хорошего ждать не приходится.

«Только лишний повод посвободничать», — подумал он. Сходил в туалет — вымыл руки.

После обеда конторские стали несносно потеть. Жернов строго посмотрел на них, и они перестали.

Вчера отчитал уборщицу за глупость. Вспомнил, как она, прибравшись, отнесла в чулан инструмент, потом положила свою вещь на стол и чуть не в самое ухо Жернова прошептала:

— Кто газету читал, говорят, скоро контакты будут. Что будем делать!

— Газету тоже с умом читать надо, — резко сказал Жернов, а про себя подумал: «Спихватилась тоже! Еще на той неделе ясно было, к чему идет».

Ей же сказал:

— Ты не рыпайся — без тебя решат.

Все же потом посочувствовал ей по поводу убитого когда-то сына.

Сейчас подумал, что в магазине сегодня какие-то посторонние толкались среди покупателей и распускали слух, что в сигареты теперь будут добавлять наркотик по лицензии, а также марихуану. Очень радовался. Не особенно в это верил. Посмотрел на конторских, но те сидели тихо и делали вид, что занимаются делом.

Возвращаясь домой, застал на лестнице безобразную картину. Было бы нормально, если бы только пили, но эти, иностранцы, расположились здесь как у себя дома и еще хуже. Сначала Жернов увидел одного, который сидел на подоконнике в конце первого марша. Рядом с тем стояла полупустая бутылка портвейна и нечистый стакан, а на мягкой развернутой бумажке были какие-то куски и огрызки. Трезвыми еще глазами иностранец беззастенчиво смотрел вниз на Жернова, как будто Жернов был пустым местом и никем больше. Жернов не придавал этому большого значения, если бы, уже ступив на лестницу, не заметил сперва, за перилами, второго, совсем цинично мочившегося в сторону находившегося подвала. Там растеклась уже большая лужа, и сильно воняло. Жернов, повернув через каракулевый воротник направо рязое лицо, сквозь стиснутые зубы сказал:

— Что ж ты, скотина, делаешь! Здесь же люди живут...

Иностранец ничего не ответил, продолжал мочиться, как будто его не касалось. Жернов хотел тряхнуть его за грудки, но передумал, потому что так струя могла бы попасть на собственное пальто. Не стал этого делать. Взошел по лестнице до окна, где другой сидел. Ему сказал:

— Пить — пей: все пьют. Но зачем же вести себя, как гуманоид! — Тот не ответил — может быть, притворился, что не понимает, — но когда Жернов поднялся еще на пролет, сказал:

— Фу-ты, ну-ты!

А нижний снизу добавил:

— У нас в стране таких душат.

Но Жернов не знал иностранного языка, а то б все-таки спустился и набил ему морду.

3

Французская «Генеральная газета» перепечатала полный текст статьи о баобабах. Сегодня она широко распространялась во всех киосках.

Жернов с осторожностью потянул носом воздух: пахло, но не очень сильно. Снял пальто, повесил на вбитый в стенку шкафа толстый гвоздь, повесил сверху кашне. Открыл окно и стал, обняв себя руками и глядя на зимний неоновый лозунг вдалеке. Постепенно развиднелось.

Подошел к столу, выдвинул ящик, услышал стук покотившегося стакана, даже не взглянул туда. Вернулся к окну. Нехотя закурил папиросу. Так стоял, пока конторские не начали приходить.

Когда уже сидел за столом, вспомнил вечерних иностранцев и дополнительно помрачнел. И раньше не одобрял иностранцев за их образ жизни, хотя и ставил их, в общем-то, выше конторских, но после вчерашнего...

«Вас бы всех в армию, — подумал сейчас Жернов, — там бы вас научили».

Конторские что-то разошлись вовсю. Даже окрика хватало минут на десять, не больше. По рукам ходил словарь, некоторые особо важные слова были отмечены. Конторские исподтишка зубрили, проверяли друг друга, сильно потели. Жернов, хмурый, подошел к конторским, взял словарь.

— Письменность не для вас изобрели, — строго сказал Жернов, — делом надо заниматься, а не свободничать.

Вернувшись за стол, стал смотреть на букву У. Его заинтересовало, что подчеркнуто слово «уборная». Вернул конторским словарь, сказал, чтоб больше не смотрели.

«Пронюхали», — подумал он. Вообще подумал, что завтра будет трудно контролировать контакты.

Опять вспомнил вчерашних иностранцев. Задумался об общественных процессах, которые иногда приводят к таким неожиданным результатам.

Сегодня портвейн опять был «Любительский». Несмотря на это, подумал, что все-таки не стоит переоценивать значение.

После обеда конторские уже не могли удержаться: с напряжением зубрили. Прикрикнул на них и занялся насущными проблемами.

Дина опять пришла вчера в джинсах, хоть накануне и выразил ей неудовольствие по этому поводу. Не стал при уборщице повторять, потому что, и правда, могла принять это за намек. Дал Дине деньги и мелочь, послал за портвейном. Дина сбегала быстро, за пятнадцать минут обернулась.

— Ну, ты, Дина, прямо как метеорка! — восхищалась уборщица. — Вон какая у меня племянница! — гордилась она перед Жерновым.

Он ничего не сказал, угостил их «Любительским».

— Этот не такой сладкий, — вздыхала уборщица. Качала головой.

Уже потом, когда ушла и все было, Дина, натянув на мясистые ягодицы обратно джинсы, сказала:

— Что естественно, то не безобразно.

Жернов против этого ничего не мог возразить.

Когда сидел при открытом окне — пил портвейн, пришла уборщица. Сказал ей, чтоб не мыла сегодня пол, потому что все равно завтра наляпают.

— А чего? — спросила уборщица.

— Американские маляры, — коротко ответил Жернов.

Оставшись один, постоял немного у окна. С удовольствием дышал, глядя на засветившийся в потемневшем небе далеко над крышами неоновый лозунг. Отсюда была видна не вся надпись. И так знал, что в целом написано:

ДРУЖБА НАЦИЙ — ЧЕРЕЗ ИХ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Вспомнил про дополнительное разъяснение, в котором

говорилось, что, несмотря на развитие контактов, усиление все же будет продолжаться и нужно трезво оценивать происходящие события.

4

Утром пришли четыре американца белить помещение. Жернов, заранее имея договоренность с управлением о побелке, хоть и предупредил на свой страх и риск конторских, чтоб не приходили с утра, так как боялся, что наташат всякого барахла, все равно уже толкались у дверей, когда он пришел.

— Ну чего вам! — сдерживая ярость, сказал Жернов. — Ведь говорил же вам — после обеда. Ладно, — сказал он (понял, что бесполезно спорить), — все равно будете сидеть, как школьники. Знаете же, что не дам свободничать.

Конторские жались, смущенно хихикали, ничего не говорили. Жадно смотрели на дверь (как Жернов открывает ее), как будто там их уже ждали американские маляры. «И проветрить сегодня не успею, — подумал Жернов, — с самого утра навяноют».

Понадеялся, впрочем, что запах известки, может быть, заглушит немного тот, другой запах, от конторских, и немного отлегло, но сердце ухало с похмелья, и стало совсем обидно, когда обнаружил в ящике полный «Любительского» стакан. Даже расплескал немного по дну пустого ящика, когда неосторожно выдвинул его. Еще больше разозлился на конторских за полноту стакана, который нельзя выпить — при них же не станешь, а при американцах — тем более. Подошел к окну, раскрыл его настежь.

«Не проветрю, так хоть померзнете у меня», — со злостью подумал он.

Американцы пришли очень довольные, с ведрами и кистями. Объяснил им через переводчика, которого они с собой, видимо из Америки, привезли, чтобы начинали с коридора — там конторские не смогут им помешать, — а конторским сказал после обеда накрыть газетами столы.

Вчера Дина рассказала ему, что была в коктейль-баре. — В джинсах ходила, — похвалялась она. — Так, проходила себе мимо. Дай, думаю, вылью стакан коктейля. Жернову стало противно. Он однажды пил коктейль. Ему не понравилось, что надо, как дураку, через соломинку сосать. Оглянулся тогда по сторонам, чтоб не осмеяли, вынул соломинку и бабахнул весь коктейль в два глотка.

«Нет, невкусно, — подумал тогда Жернов, — в розлив бы лучше зашел: два стакана за те же деньги». Но и в розлив уже давно не заходил — предпочитал пить дома или здесь, когда нет конторских, разумеется. Сейчас заранее строго посмотрел на них, чтоб не рыпались, — не хотелось их одергивать при американцах.

В связи с этим вспомнил про Кифу и Мокия.

«А то, и правда, что скажут иностранцы!» — подумал он. Не зря же хотел дать им сегодня льготу до обеда.

Американцы оперативно закончили коридор, чулан и туалет и теперь перекуривали в ожидании, когда можно будет белить помещение.

Конторские зашелестели изо всех сил, но тут Жернов ничего не мог сделать: в конце концов, сам велел им накрыть газетами столы. Если до обеда еще как-то удавалось с ними сладить, то теперь, в законный перерыв, не мог официально запретить им общаться. Вмиг облепили американцев, как мухи, хотели от них что-нибудь получить. Но американцы ничего не дали: были в своих белых от извести комбинезонах и при себе предметов не имели.

— Моя твоя не понимай, — отвечали они на все просьбы конторских чем-нибудь поделиться.

А один, подняв вверх указательный палец одной из рук, с чужеродным акцентом удовлетворенно сказал:

— Покой! Весна! Работа! Приятно всех на свете!

Конторские ушли очень грустные, а Жернов порадо-

вался, что американцы оказались умней. Через переводчика отправил их обедать, а сам сначала выпил имевшийся в наличии портвейн, а уже потом пошел в гастроном. Теперь был уже твердо уверен, что сегодня опять завоз «Любительского».

Уже возвращаясь, вспомнил, что американцев называют янками, но не знал за что. На всякий случай решил не называть их так.

После обеда маляры угостили Жернова американским портвейном. Портвейн был какой-то горьковатый, не похожий на настоящий портвейн. Правда, нужно было с удовлетворением отметить, что имел невысокий процент. Все-таки запах был немного странным.

«Черт его знает, — думал Жернов, — что они туда подмешивают!»

Слышал от посторонних в гастрономе, что там все сигареты с наркотиком, чтоб скорей привыкали и не курили других. Сам никогда таких не пробовал и не хотел. Но про портвейн не знал и не был уверен. Сейчас удивился, как американцы пьют — отпивали понемногу прямо из горлышка.

«Как какие-нибудь ханурики, — подумал Жернов, — вот только что по чуть-чуть...»

В порядке ответной любезности налил им стакан «Любительского». Вежливо пробовали — тоже по глоточку, — через переводчика очень хвалили портвейн.

«Может, не так переводит!» — сомневался Жернов, прислушиваясь к американской речи, чтобы разобрать знакомое ему слово «портвейн», но не услышал и допустил, что на их языке портвейн может называться по-другому.

«Не врут ли! — подумал он. — Сейчас хвалят, а приедут домой, такого через свои газеты напечатают, чтоб все думали, будто мы дикари».

Знал такие случаи и не доверял иностранцам.

Вечером вместо уборщицы пришла Дина.

— А уборщица вчера заболела, — оправдывалась она (все не называла уборщицу теткой), — дома лежит по закону. К ней там родственники приехали: брат и сестра, и так. Сидят все, отдыхают, а я вот пришла.

— Что ж она! Болеет или так? — спросил Жернов. Понял теперь, почему стакан не был выпит.

— Нет, она по закону, — сказала Дина. — Да ты не думай — я и уберусь, и все.

Жернов пожал плечами, смотрел, как Дина, закатав джинсы, ловко моет залитый известкой пол. Когда вымыла, подозвал, налил ей стакан. Дина где-то научилась пить по-новому, может быть, по-иностранному или по-американски — Жернов не знал. Отпивала маленький глоточек и ставила стакан на стол. Жернов критически смотрел на эту ее новую манеру. Поторопил ее. Дина побегала быстрыми глазами по помещению и спросила:

— Говорят, сегодня евромаляры приходили белить! — и стала смотреть на Жернова.

— Американцы, — поправил Жернов. — Ты пей, не задумывайся.

— Да нет, — сказала, поводя плечами, Дина, — я говорю, хорошо побелили. Сразу видно, не наша работа. «Ну и девка, — осуждающе подумал Жернов, — вся в тетку».

Дина не захотела ложиться на влажный после уборки пол.

— Давай там, — показала она в сторону конторских столов.

— Не надо, — сказал Жернов, — уж лучше на моем личном.

«Еще наберешься чего-нибудь от них», — подумал он. Сходил вымыл руки, пока Дина снимала джинсы.

Когда возвращался домой, уже на подходе к своему переулку приостановился, чтобы прочесть новый натянутый через улицу на высоте третьего этажа на красном полотнище лозунг:

ТРАГИЧНА СУДЬБА ВЫДАЮЩЕГОСЯ НЕМЕЦКОГО ХУДОЖНИКА ЭМИЛЯ НОЛЬДЕ

С утра, хоть Жернов и предполагал, что будут отговариваться, конторские ничего не возражали, просто держались вызывающе и нагло, как будто они и не прогуляли вчера остальные полдня. Когда стал им выговаривать — был, правда, доволен, что отсутствовали и потому не нарушилось правильное развитие контактов, — отмалчивались и только раз или два сослались на утреннюю «Генералку».

— Дело вчера было, — сказал Жернов, — а «Генеральная газета» сегодня. Нечего вилать.

Однако задумался: что там!

«Может быть, в свете сегодняшней «Генгазеты» излишне обоюдно проходил контакт? — подумал он. — Может, и не стоило обмениваться портвейнами!»

Конторские стояли, перешептывались, не садились за столы, пока Жернов не пригрозил им. Только тогда сели, но уняться все не могли. Пользуясь видимой задумчивостью Жернова, продолжали шептаться о баобабах.

«Трагична судьба выдающегося немецкого художника Эмиля Нольде», — вспомнил Жернов, но разъяснения по этому поводу не поступало.

Ему показалось, что это не случайно, а может быть, связано с усилием или еще с чем-нибудь, а может, об этом есть что-нибудь в «Генеральной газете». «Может, как раз в утреннем номере, — подумал Жернов, — потому что, похоже, конторские опять что-то придумали». Закурил, сидел, думал. Конторские притихли, больше не шептались.

Позвонили из управления, сказали приехать после обеда для соответствующего разъяснения.

Выдвинул ящик и даже обрадовался, увидев чистый стакан, потому что опасался, что уборщица и правда заболела, но, видно, просто поленилась вчера отмывать от извести пол или с родней праздновала и вместо себя Дину прислала.

«Эта хоть на контакты не напрашивается», — подумал Жернов.

Конторские исподтишка достали газету, стали передавать по рукам, перемигивались. Жернов хотел запретить им, но передумал до разъяснения. Плюнул под стол.

Трагична судьба выдающегося немецкого художника Эмиля Нольде.

После обеда, наказав конторским соблюдать дисциплину, поехал на трамвае в управление. Жалел, что из-за этого нельзя было выпить в обед портвейна. Лица пассажира в трамвае были значительны и полны решимости.

В управлении провели закрытое разъяснение. Усиление продолжалось, но некоторые детали, в частности о пись-

менности, предлагалось рассматривать в свете статьи о баобабах. Также обратили внимание на то, что отдельные личности за последнее время совершали действия и поступки, недостойные лица.

На обратном пути Жернов зашел в гастроном и наполнился желчью, увидев, что вместо «Любительского» дают красный вермут. Отстоял очередь, а когда уже подходил к своему флигелю, услышал глухо из-за закрытых окон помещения как бы хорovou песню.

«Что они там еще затеяли!» — озабоченно подумал Жернов. Уже понимал, что в «Генеральной газете», очевидно, было напечатано дополнение.

Поднявшись по лестнице, осторожно открыл ободранную дерматиновую дверь и по коридору, заглушаемый пением, прошел. Остановился у входа в помещение, пораженный стоял. Конторские, потные и расстегнутые, сидели по одному, по двое за столами и, обратившись к какому-то центру, отчаянно пели:

— О, баобабы! О, баобабы!

Ревет негритянский джаз.

О, баобабы! О, баобабы!

Нет, не забыть мне вас.

Раскрасневшиеся, потные лица были полны чувств. У некоторых на глазах стояли слезы.

— Там, где расцветают баобабы...

— Баобабы... — высокими голосами отзывались другие.

— Мирно живут негритянки...

— Тя-а-анки...

— Родина бедного Джима,

Тебя покорили всю янки.

С горечью и разочарованием все конторские подхватили:

— Часто они веселятся

В кругу своих белых жен,

Негру нельзя и смеяться

смехом, похожим на стон.

Никогда еще Жернов не видел их в такой наглой свободе и беспределности. Он осторожно попятился в коридор под их остервенелый припев:

— О, баобабы! О, баобабы!

Ревет негритянский джаз.

О, баобабы! О, баобабы!

Нет, не забыть мне вас.

Выйдя на площадку, даже не закрыл за собой дверь. Потрясенный сбежал по лестнице и быстрым шагом припустил мимо флигеля скорей отсюда.

«Генеральная газета» сообщала о благополучном завершении контактов и переходе в следующую фазу.

О, баобабы! О, баобабы!



АНЕКДОТЫ О ПОРУЧИКЕ РЖЕВСКОМ*

Поручик Ржевский — герой пьесы А. Гладкова о войне 1812 года «Давным-давно» (1940, премьера — 1941 г.). Спектакль по ней был необычайно популярен во время и после войны, а в 1962 г. режиссер Э. Рязанов поставил по пьесе фильм «Гусарская баллада», также ставший популярным, чему способствовали игравшие в нем замечательные актеры — Л. Голубкина и исполнитель роли Ржевского Ю. Яковлев; кстати, героев фильма, о которых рассказываются анекдоты, как правило, играют хорошие актеры: Б. Бабочкин (Чапаев), В. Тихонов (Штирлиц), В. Ливанов (Холмс), В. Высоцкий (Жеглов).

Часто поручик Ржевский выступает в анекдотах не один, а с партнерами — героями фильма С. Бондарчука «Война и мир» (1966—1967) Пьером Безуховым и Наташей Ростовой. Как представляется, они стали героями анекдотов именно после фильма. С поручиком Ржевским они современники, и их совмещение в анекдотах не выглядит искусственным.

У каждого героя в анекдоте определенная роль, свое амплуа, которое практически не меняется на протяжении всех известных нам анекдотов (всего их записано 44).

Поручик Ржевский — герой-любовник, армейский пошляк и похабник, не лишенный, впрочем, элегантности и ума. (Похожим он предстает и в фильме.) Фатальность амплуа Ржевского ярко видна в анекдоте № 17.

Наташа Ростова — возвышенная девица, постоянно краснеющая при общении с поручиком. Ее основная задача в анекдоте — нечаянно спровоцировать Ржевского на двусмысленность, пошлость. Иногда вместо Наташи в анекдоте — просто безымянная девица.

Пьер Безухов — кавалер Наташи, безвольный джентльмен-интеллигент, явно не соперник поручику.

Корнет — молодой, неопытный в любовных делах. Поручик ему покровительствует и учит жизни и обращению с женщинами.

Мадам — старшая приятельница (иногда мать) девушки (Наташи), блюдет ее нравственность; иногда — жена полковника.

Это основные герои со своими достаточно яркими характерами, сложившимися взаимоотношениями. Кроме них, в анекдотах этого цикла встречаются и другие герои — Капитан, князь Голицын, поручик Домбровский, женщины...

В отличие от анекдотов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, которые возникли как реакция на фильм, анекдоты о поручике Ржевском имеют более старое происхождение. Например, несколько анекдотов о поручике Ржевском почти дословно повторяют анекдоты про улана и армейского офицера из рукописного сборника анекдотов 1857 года.

Известны и анекдоты, сюжетно совпадающие с анекдотами о поручике Ржевском, но имен не имеющие. Это говорит о том, что популярные фильмы «Гусарская баллада» и «Война и мир» лишь дали старым анекдотам новых героев — тем самым подарив им новую жизнь. Количество анекдотов этой серии говорит о существующей в них потребности. Из всех записанных возможно привести лишь некоторую часть.

№ 1. Поручик спрашивает у девушки на балу:

— Мадемуазель, почему у вас на перчатке вырез?

— Чтобы мужчины могли поцеловать мне руку...

— А, — сказал поручик, — теперь мне ясно, для чего у меня на шнели шлица!

№ 4. Поручик Ржевский был на светском рауте и разговаривал на нем с Наташей Ростовской. Внезапно он встал, извинился и вышел во двор. Возвращается весь мокрый. Наташа его спрашивает:

— Что, дождь?

— Нет, ветер!

№ 3. Поручик танцует с Наташей Ростовской. Она говорит:

— Поручик, от вас пахнет. У вас, вероятно, грязные носки. Сходите и снимите их.

— Хорошо, — отвечает поручик. Вскоре он вернулся и снова стал танцевать с Наташей.

— Поручик, от вас опять пахнет! Вы что, не сняли?..

— Снял-с! — говорит поручик, элегантно жестом вынимая носки из-под мундира.

№ 4. Поручик Ржевский узнал, что для знакомства с девушкой надо подойти, непринужденно поговорить о погоде и после этого представиться. На одной из прогулок он повстречал гуляющую с болонкой девушку. Подходит к ней и ударяет собаку так, что та далеко летит, и говорит девушке:

— Низко летит. К дождю, наверно. Кстати, разрешите представиться: поручик Ржевский!

№ 5. Поручик Ржевский привел своих друзей по полку на светский раут. Перед этим он их предупредил, чтобы они не выражались. Вот пришли они, сидят в зале. Входит хозяйка со свечой и говорит:

— Не хватает подсвечников, не знаю, куда одиннадцатую свечку вставить...

Поручик вскакивает с дивана и кричит:

— Всем молчать!!!

№ 6. Поручик Ржевский пришел в незнакомую компанию. Люди сидят и говорят друг другу:

— Пятнадцатый!

Все смеются.

— А двадцатый-то, двадцатый!

Еще сильнее хохочут.

— Триста пятьдесят шестой!

Опять смех. Поручик спрашивает:

— Что это вы делаете?

— А мы анекдоты рассказываем. Но так как все мы их давно друг другу пересказали и наизусть выучили, то для экономии времени мы их пронумеровали.

— Интересно, — говорит поручик. — Сто семнадцатый!

Тут мужчины смущенно ухмыляются, а одна дама подходит к поручику и дает ему пощечину. Ржевскому объясняют:

— Мы при дамах неприличных анекдотов не рассказываем.

№ 7. Поручика Ржевского одна дама пригласила прийти к ней вечером попозже. Дама просила его в доме снять сапоги — чтобы не шуметь, не разбудить престарелую тетушку. Вот наступил урочный час, поручик вошел в дом. И слышит его дама сердца кошмарные звуки: шкряб-шкряб, шкряб-шкряб. Наконец Ржевский входит в спальню к даме, и та его спрашивает:

— Поручик, я же просила вас снять сапоги. Какие ужасные звуки вы издавали!

— А я снял сапоги, — заявляет поручик Ржевский.

— Что же тогда шкрябало по паркету? — спрашивает дама.

— Вероятно, когти-с!

№ 8. Едет поручик Ржевский в поезде, лежит на верхней полке. Слышит, внизу дама говорит:

— Милочка, запомните, никогда не кладите яйца на серебро, оно от этого тускнеет.

— Век живи, век учись, — сказал поручик Ржевский и переложил свой серебряный портсигар из кармана брюк в пиджак.

№ 9. В поезде поручик снял носки и на сеточку их повесил. Его спрашивают:

— Поручик, вы носки меняете?

— На водку!

№ 10. Молодой корнет спросил у поручика, как тот с девушками знакомится:

— Ну, как... Поговоришь о погоде, музыке, и пойдет дело.

На следующий день корнет встречает девушку, подходит к ней, бьет сапогом ее болонку, та с визгом улетает.

— Низко летит, к хорошей погоде. И барабан у меня есть, пойдем, а?

№ 11. Поручика попросили сыграть Отелло. Он отказывался, но ему дали шаргалку, по которой говорить роль. Бумажку эту приспособил на внутреннюю сторону пиджака и пошел на сцену.

— Дездемона! Зараза, сука, сволочь! (Смотрит на бумажку) Молчи, пауза, три ха-ха!

№ 12. Князя Голицына старый слуга после пьянки домой притащил. Утром говорит, как тот очнулся:

— И не стыдно вам, ваше сиятельство, в штаны наложили...

— Да это мне поручик Ржевский, — говорит князь...

№ 13. К поручику подходит безусый корнет и говорит:

— У вас такой успех у женщин... А меня вот никакого внимания они не обращают... Как вы с ними там, поручик?

— Очень просто, корнет. Подходишь к даме и говоришь: «Мадам (или там мадемуазель), нельзя ли вам впередилить?»

— Но, поручик, так можно и пощечину получить!

— Можно! А можно и впередилить.

№ 14. Однажды в ресторане поручик Ржевский встретился с полковником. Полковник говорит:

— Поручик, вы, я вижу, частенько в ресторан ходите — чуть не каждый день. А у меня вот на такие дела денег не хватает.

— А вы, — поручик спрашивает, — что с жалованьем делаете, как лучше? Как вы с ним поступаете?

— Да все жене отдаю, а там — что она мне выдаст, то и мое.

— Э-э, — говорит поручик, — вы с женщинами не умеете обращаться. Подойдите к ней, в шею поцелуйте, за плечико возьмите, попросите — она вам и даст денежек-то.

Приходит полковник домой — и все как поручик сказал, так и сделал. Подошел к жене сзади, целует в шею, она и говорит:

— Что, поручик, опять деньги кончились?

№ 15. Однажды поручик рассказал полковнику каламбур:

— Плыет по реке клипер, на клипере шкипер, а у шкипера триппер. Приходит полковник к своим гусарам и говорит:

— Господа, мне тут поручик Ржевский такой смешной каламбур рассказал! Плыет по реке баржа, народу на ней тыща, и у всех сифилис!

№ 16. Поручик и Наташа гуляют по Летнему саду. Наташа говорит:

— Поручик, вы хотели бы быть лебедем?

— Голым задом в мокрую воду? Нет уж! Увольте-с!

№ 17. Прекрасное раннее утро. Поляна цветов. Восходит солнце. Поют птицы. Белая палатка, из нее выходит в белоснежном белье поручик Ржевский. Он смотрит вокруг, вздыхает вверх руки и говорит:

— Господи, как же я раньше жил, не замечая этой красоты!

— Мать, мать, мать, — привычно отозвалось эхо...

№ 18. «... твою мать», — сказал поручик Ржевский и грязно и вичурно выругался.

* Текст является фрагментом статьи В. Ф. Лурье «Материалы по современному ленинградскому фольклору» в сборнике «Учебный материал по теории литературы». Жанры словесного текста. Анекдот. Сост.: А. Ф. Белоусов, Таллинский Педагогический институт им. Э. Вильде, 1989, тираж 299.



ИЗ ЦЫКЛА ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ.

50 коп.

Индекс 77110

РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

